

# ГРАНИ

GRANI

155

1990

---

Verlagsort: Frankfurt / M, Januar-März

## ”ГРАНИ”

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической жизни. Проза, поэзия, очерки современности, философия, публицистика, литературная критика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; способствовать публикации произведений, которые не могут быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в ”Граних” были опубликованы произведения:

А. Ахматовой, Л. Бородина, М. Булгакова,  
И. Бунина, Г. Владимова, В. Войновича,  
З. Гиппиус, В. Гроссмана, Ю. Домбровского,  
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,  
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,  
С. Левицкого, Н. Лосского, В. Максимова,  
О. Мандельштама, В. Набокова, В. Некрасова,  
Б. Окуджавы, Б. Пастернака, К. Паустовского,  
А. Платонова, Г. Подъяпольского,  
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,  
А. Солженицына, В. Солоухина, М. Цветаевой,  
И. Шмелева, В. Шульгина...



Журнал основан в 1946 году  
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947 – 1952 Е. Р. Романов

1952 – 1955 Л. Д. Ржевский

1955 – 1961 Е. Р. Романов

1962 – 1982 Н. Б. Тарасова

1982 – 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984 – 1986 Г. Н. Владимов

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

---

Год XLIV

№ 155

1990

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Леонид БОРОДИН

Женщина и море. Повесть 5

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

Стихи 122

Лия ВЛАДИМИРОВА

Встреча-прощание. Стихи 127

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Марина ЦВЕТАЕВА

Неопубликованные письма 1940 года  
(Публ. и предисл. И. ШЕНФЕЛЬДА) 134

Илья РЕПИН

Два неопубликованных письма  
(Публ. и предисл. В. СИНКЕВИЧ) 151

### ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

Владимир ЗАПЕЦКИЙ

Колпашевский яр 160

## ИСТОРИЯ

Карл ГЕЛЬФЕРИХ

**Моя московская миссия**  
(Публ. и предисл. Ю. ФЕЛЬШТИНСКОГО) 251

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В. Голицын

**Генерал Власов, каким он был**  
(Catherine Andreyev "Vlassov and  
the Russian Liberation Movement") 304

Вячеслав Завалишин

**Пушкин и гравюры Ильи Шенкера**  
("Итак, я жил тогда в Одессе...") 318

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

325

*Обложка работы художника Н. Мишаткина*

Леонид БОРОДИН

## Женщина и море\*

Море действует на меня атеистически, и с этим ничего не поделаешь. Мне не нравится такое воздействие, мне бы хотелось обратного, мне бы хотелось, чтобы в душе рождался восторг – источник возвышенных чувств, или на худший случай – ужас, так тоже душа бывает ближе к божественному вдохновению, но ничего подобного, в душе моей тоска, близкая к цинизму, самому бесплодному состоянию чувств, и я в отчаянии от безуспешности настроить себя хотя бы на романтический лад, в том был бы прок... но нет прока от моего добросовестного созерцания моря, и я холодно говорю себе, что вот ее сколько, этой мертвой стихии, из которой по моему воображению никак не может родиться Афродита, а тридцать три богатыря и триста богатырей могут утонуть, исчезнуть в ней, но никак не возникнуть из нее.

Чудовище, задушившее Лаокоона с сыновьями, – вот это уже ближе к моему воображению. Из этой, тупо хлещущей о берег материи

---

\* Одновременно печатается в ж. "Юность" (Москва 1990 г.).

может возникнуть, явиться какой-нибудь ихтиозавр, циклоп, наконец, или гидроподобная инструкция агропрома, то есть непременно нечто чудовищное по форме и нелепое по содержанию, поскольку нелепо само существование столь огромной однородной массы материи, имитирующей бытие, а в действительности имеющей быть всего лишь средой обитания для кого-то, кто мог бы при других условиях быть чем-то иным, возможно лучшим...

При всем том, — странно! — я не боюсь моря, я его совершенно не боюсь. Увы, я очень не молод, если не сказать печальнее, да, я не молод, и у меня нет ни сил, ни времени на искушения, коими полны мои чувства, когда смотрю на море. Слишком поздно свела меня судьба с морем, даже не свела, а так, провела около...

С пирса я кидаюсь в волны, плыву под водой, выныриваю, выплевываю горько-соленую воду, раскидываю руки и лежу на воде, а волны что-то проделывают со мной: голова-ноги, голова-ноги, но я не могу утонуть, я не верю, что могу утонуть; пусть не омулеваю бочку, пусть что-нибудь посущественнее, и я пошел бы от берега в самое сердце, в самое нутро, в безграничную бессмыслицу этого неземного бытия, чтобы вокруг меня был круг, а я в центре круга, и пусть бы оно убивало меня, оно, море, убивало бы, а я не умирал...

Я боюсь змей и вздрагиваю от паука на подушке, но чем выше волны, тем наглее я чувствую себя по отношению к морю, этому вековому, профессиональному убийце, а наглость моя, я же понимаю, это нечто ответное на вызов стихии, и вдруг понимаю я всех моряков и морепроходцев и догадываюсь, что кроме жажды



новых земель и прочих реальных оснований руководило ими еще и чувство дерзости, которая от гордости и совершенно без Бога. Это потом опытно постигается страх, и как всякий страх перед смертью, морской страх справедливо апеллирует к Богу, и тогда, лишь тогда запускается в глубины Посейдон...

Вот оно плещется у моих ног, пенится, вздыбливается, расплзается, но все это лишь имитация бытия. Море столь же безынициативно, как и скала, как камень, как самый ничтожный камешек на дне. Ветер, перемещение воздуха треплют водную стихию, как хотят или как могут, в сущности, это все равно, что пинать ногами дохлую кошку... Но отчего же печаль, когда пытаешься считать волны, сравнивать их, или берешь в руки обкатанный волнами камень и представляешь ту глыбу времени, что понадобилась для его обкатки?

Я, говорящий это, пишуший это, вот таким образом думающий, сопоставляющий себя, искорку ничтожную, с вечностью этой колыхающей мертвечины, разве могу я не оскорбиться несправедливостью, что хлещет меня по глазам, иглой вонзается в сердце, обесценивая самое ценное во мне — мою мысль!

Море действует на меня атеистически, а я хочу сопротивляться его воздействию, я говорю, что время — это только мне присущая категория, я говорю, что время — это способ существования мысли, только мысли, но не материи, у материи вообще нет существования, ибо материя не субстанция, а функция, как, к примеру, движение моей руки не существует само по себе, это лишь функция руки... Продолжая думать таким образом, я готов стать объек-

тивным идеалистом, субъективным идеалистом, гегельянцем, берклианцем, самым последним солипсистом, пусть даже обзовут меня еще страшнее и непонятнее, я на все готов, лишь бы не унижаться перед мертвечиной, которая переживет и меня, и мою мысль, и мысли всех мыслящих и мысливших, если признать за материей существование. Не признаю! Да здравствует мир как комплекс моих ощущений! Да здравствует вторичность материи и первичность меня!

Раскаленный шар опускается в воду, но возмущения стихий не происходит; красный от накала шар касается моря и затем начинает медленно погружаться в него, и я знаю, догадываюсь, шар не бесчувствен к погружению...

В нескольких шагах от меня в воду входит женщина, в закатных отблесках она почти красная, а медная, это уж точно. Вот ее ноги коснулись воды, и губы чуть дрогнули: каждый мужчина знает это движение женских губ, оно — пробуждение... Вода чуть выше колен, сладострастная улыбка рождается на лице женщины, она играет с соблазном в поддавки... Вода выше, все тело ее сладко напрягается, мне стыдно и неприятно смотреть на нее, но совсем невозможно отвернуться, я присутствую при извращении — живое совокупляется с мертвым... На лице женщины блаженство, для нее сейчас в мире только она и море, даже я, всего лишь в нескольких метрах болтающийся на воде и подсматривающий ее страсть, я для нее не существую, как живой, я для нее не свидетель. Вода коснулась груди, взметнулись руки, упали за голову, глаза закрыты, на лице истома...

Кошка! Это я кричу-шепчу в злобе и ныряю

в воду, глубоко, к самому дну, и, запрокинув голову, вижу проплывающей надо мной ту, что только что отдалась морю... Обычные плавательные движения рук и ног со дна кажутся продолжением ее чувств, что были мной подсмотрены, они непристойны... Мне бы испугать ее, дернуть за ногу... Не забывайте, гражданка, ведите себя прилично в общественном месте! Но мне не двадцать, и за то, что она напомнила мне о моих недвадцати, я ненавижу ее, я всплываю и уплываю, не оборачиваясь.

Раскаленный шар еще не исчез над водой, но уже исчезает, раскатывая в той стороне воистину итальянское небо. В России такого не бывает. Я видел подобное в зарубежных фильмах и не верил в подлинность. Теперь верю. Но это не наше небо, хоть оно и прекрасно, потому что всегда жить под таким небом невозможно, под таким небом можно отдыхать, но можно ли работать, когда над тобой ослепительная и изнурительная голубизна да еще с сотнями оттенков?

Шар почти погружен, лишь кусок каленой оболочки еще держится на поверхности моря, мгновение, и я уже не вижу его, но не вижу и женщины. Она только что была рядом, впрочем, рядом был я, а она была в море, там я и ищу ее и, наконец, нахожу. Она далеко. Она вызывающе далеко. Я вижу ее головку, и эта головка удаляется от меня и от берега. Никаких плавательных движений, море само несет ее куда-то, куда ему нужно, нужно морю и ей. Они в греховном сговоре. В конце концов, это их личное дело. Но я встревожен, ведь она уже за бум, а это вызов, мне же и в голову не пришло плыть так далеко. Женщина бросает вы-

зов мне, еще в эпоху культа личности переплывшего Ангару, во времена волюнтаризма перемахнувшего через Лену в районе Усть-Кута... Правда, в годы застоя рек я не переплывал. Я, в основном, переезжал их в вагонах без окон, когда по изменившему эху колесного перестука догадываешься, что поезд идет по мосту, и пытаешься представить... Впрочем, речь не об этом, а о том, что, хотя мне уже далеко не двадцать, но все же я не могу позволить какой-то греховоднице переплунуть меня в смелости, и таким образом, я плыву, сначала довольно быстро, затем медленнее, потом совсем медленно, но все же заметно приближаясь к косматой головке, качающейся на волнах уже не зеленовато-голубых, как час назад, но серых и будто бы даже хмурых. Здесь, на юге, темнота наступает мгновенно, и я догадываюсь, что женщина надеется вернуться на берег потемну, чтобы никто ее не осудил, ведь берег опустеет к тому времени. Мне противно быть свидетелем, и все же я настигаю ее, она уже в десятке метров и не видит меня, не подозревает о моем существовании так близко... Вот она скидывает руки, нервнo и сладострастно, и погружается в воду полностью, даже руки исчезают. Ее нет долго, так долго, словно ее вообще не было. Как ни хочется проделать то же самое, воздерживаюсь, потому что устал, а она не устала, ее все еще нет. И вдруг она выныривает совсем рядом, я ведь не стоял на месте, я плыл. Она не выныривает, а выпрыгивает чуть ли не по грудь, колотит по воде руками и хрипит дико и неприлично, и погружается снова, и снова выбрасывается на волну, кашляя и захлебываясь. Изумленный, но еще не потря-

сенный, я констатирую, что она, эта женщина всего-навсего... тонет... Только этого мне не хватало, шепчу. Я попал в ловушку, спасти ее я не смогу, я не умею, она утопит меня, истеричка. Но и не спасать я не могу, я же рядом, совсем рядом, в двух взмахих рук, не спасти утопающего в такой близости от него равносильно убийству. Ее голова уже не курчавая, волосы прилипли к голове, теперь эта голова не похожа на женскую, и все мои надежды на то, что волосы ее густы и крепки. Волна подбрасывает меня вверх, ее швыряет вниз, с высоты волны я протягиваю руку, хватаю или хватаюсь за мокрые волосы и в секунду этого действия успеваю с удовлетворением отметить, что волосы хороши, их даже можно на пол-оборота намотать на руку. Что-то происходит с нашими телами, рука моя странно выворачивается, и лицо женщины в сантиметрах от моего. Она кашляет мне в глаза, и отчетливый запах винного перегара приводит меня в короткий шок. Так она просто пьяна! Судя по густоте перегара, по степени его омерзительности, она заглотнула канистру коньяка или самогона с золотым корнем.

"Козел!" – кричит она мне в лицо, бьет меня по лицу, точнее, по лбу так сильно, что я сам на мгновение погружаюсь и успеваю нахлебаться морской соли, притом, конечно же, выпускаю из рук ее волосы. Я выныриваю, она погружается. Ее ноги в судорогах погружения стучаются о мои, я брезгливо отталкиваюсь, но волна накидывает меня, и я ощущаю, что теперь сам почти топчусь на ней, тут же нога моя оказывается в хватке, я успеваю нырнуть сам и всплыть вместе с ней, уже утратившей

разум, уже полуутопленницей. Но истерика или агония ее сознания продолжается, и она снова отталкивается от меня, только я теперь умнее, я же все понял, она – самоубийца. Волосы на затылке прочно в моей руке, рука вытянута, я выворачиваю ей голову подбородком к небу и, слава Богу, держусь сам на плаву. Такое возможно только на море, в пресной воде нам обоим уже был бы конец... Она молотит руками по воде, хрипит, кажется, что горло ее вот-вот разорвется от дикого хрипа-кашля.

”Что дальше?” – пытаюсь сообразить. До берега метров триста. Я недавно на море, но уже заметил это совершенно необъяснимое явление – к берегу плыть всегда труднее. С ней мне не доплыть, мне с ней даже на плаву долго не продержаться. Я, конечно, не утону, я отпущу ее, прежде чем начну тонуть, я предчувствую, что поступлю так в определенный момент, когда мой личный инстинкт самосохранения заявит о себе. Становится тошно.

”Пьяная шлюха!” – кричу несколько раз и, кажется, даже матерюсь.

Отчаяния, однако же, испытать не успеваю. Я вижу моторку, шлепающую днищем по волнам, стремительно приближающуюся, слишком стремительно. Боясь быть раздавленным, отпускаю женщину и подаюсь в сторону...

В лодке на меня нападает дрожь, стучу зубами, трясусь и стараюсь не смотреть, как два здоровенных парня мнут грудь утопленницы-самоубийцы, как она хрипит и плюется, стараюсь не смотреть, но вижу, потому что не могу отвернуться, все мое тело в судорожной тряске. О чем-то меня спрашивают, что-то

отвечаю, но как только лодка втыкается в прибрежную гальку, выпрыгиваю и бегу к своей одежде. Не хватало, чтоб ее украли. Но, слава Богу, одежда на месте...

Я знаю, что если сейчас пойду в санаторий, в свою палату, то обязательно расскажу кому-нибудь о случившемся, но я же знаю, рассказывать нельзя, потому что рассказ непременно окажется враньем, ведь невозможно передать в обыкновенном трепе все, что испыталось мной за этот час.

Я согреваюсь резкими движениями. Я остаюсь у моря, уже почти невидимого, темнота сползла с гор и растворила в себе побережье, фонари бессильны против тьмы, их свет уныл, словно они понимают мизерность своих возможностей, лишь отблески их мечутся по хребтам волн, но сами волны теперь только в звуке, а сам звук отчетлив и требователен.

Невидимое море умело имитирует существование. В сознание просятся штампы, дескать, некое чудище, ухающее и ахающее в темноте... но банальности только просятся на язык, к реализации же я их не допускаю и упрямо говорю себе, что и в темноте можно пинать дохлую кошку, а кому-то постороннему померещится нечто живое и мечущееся. Мертвечина, повторяю. Эта мертвечина недавно едва не убила меня и женщину, о которой я поначалу подумал совсем неверно. Юридически море не виновато, что какая-то психопатка надумала утопиться, и убийцей назвать его было бы несправедливо, но орудие убийства — это точно, точно еще и потому, что только мертвое бывает орудием...

А женщина, кажется, красива. Не могу вспомнить лица, помню лишь судороги и гри-

масы, а все же думается почему-то, что она красива, но красота эта должна быть порочной, существует же такое – штамп порочности на идеальной форме. Он, этот штамп или след, иногда неуловим, неопределим, но никакой косметикой его не скрыть... А впрочем, ну ее! Она осложнила мое и без того сложное отношение к морю, а только оно интересует меня сегодня, я должен определиться, я должен успокоиться, мне не нравится, что море меня волнует, ведь я заранее сказал себе, что не удивлюсь ему, потому что удивляться морю – банально. Ему все удивляются, а истины не бывает у всех, – таким вот образом моя гордыня сражается за мою индивидуальность, при этом проигрывая много чаще, чем выигрывая.

И вообще, я раздражен. Причина раздражения – женщина в море. Невозможно перечеркнуть тот факт, что она собиралась умереть, а из неперечеркнутого факта следует, что в море я столкнулся с драмой, что больше всех моих собственных драм, а жизнь мне их подкидывала изрядно, но ни одна из них не поставила меня на грань жизни и смерти, и если иногда и подумывал о том, чтобы уйти, то уход этот мыслился лишь неким театральным действием, и потому не мог служить побуждением к действию.

Всякий человек пуще прочего уважает свои трагедии, от них ведет отсчет жизненного опыта, ими возвышается над окружением, которое видится через призму беды более благополучным и, соответственно, достойным панибратского снисхождения.

Но сознательный выбор смерти – против этого не попрешь, но споткнешься в растерянно-



сти и снимешь шляпу в благоговении и почти-тельности.

А решиться умереть в море, вот так, как она, медленно войти в него и отдаться ему, и раствориться в нем, и в тот момент, когда над головой расплывается итальянское небо, когда багровый диск солнца, как в колыбель, опускается в море, когда оно, море, почти в истоме, когда только и можно понять его, как нечто живое и доброе, — и вот именно тогда решиться на уход, — это ведь не просто необычно, это чрезвычайно. А то, что женщина была пьяна, — несущественно, даже если она хроническая алкоголичка, — и тогда несущественно, ведь она уплыла за буи, то есть за пределы социального, она решила исчезнуть без обнаружения, ведь случайность, что там же болтался и я, что нас заметили с проходящей лодки, если бы не эти случайности, она бы исчезла для людей и не была бы найдена. Хотя, кажется, море имеет обыкновение избавляться от утопленников, выбрасывая их на берег...

Нет, теперь мне ясно, что если я не увижу этой женщины, это значит, перешагну через набитый кошелек, из всех возможных сравнений я выбираю это, наиболее пошрое, чтобы сохранить циничный оттенок в своем изумлении перед событием, где я, как участник, на вторых ролях.

Этим вечером, прощаясь с морем, я грожу ему пальцем, дескать, наша любовь впереди, и мы еще разберемся на тот счет, что ты есть для меня. Прощай, дохлая кошка ветров, — говорю угрюмо и угрожающе.

Как только я заикаюсь старшей сестре, что хотел бы видеть женщину, которую вчера вечером привезли с пляжа, она мгновенно из официальной дамы превращается в своего человека, щедрит улыбками, уговаривает меня посидеть минут пять вот здесь, вот в этом углу и подождать и почитать журнал "Здоровье", пока она пойдет и узнает у дежурного врача, она так убедительно просит меня подождать и ни в коем случае не уходить, что у меня появляется желание уйти немедленно, и это желание оказывается небезосновательным, потому что не проходит и пяти минут, как из-за угла ко мне спешит молодой человек спортивной наружности, и еще через минуту я заглядываю в служебное удостоверение сотрудника Уголовного розыска.

Симпатизирую я этим молодым сыщикам, они как поджарые, сноровистые волки пробуждают во мне тоже что-то волчье, порою я даже испытываю потребность вздыбиться загривком и рвануть по какому-нибудь следу, хотя бы по своему собственному, кого-то непременно догнать, пусть даже самого себя, и вцепиться в холку и прижать к земле, а после небрежно отряхнуться и сказать: "Шутка!"

Я чувствую в этих соколах удачи присутствие чего-то нечеловеческого, и вовсе не в дурном смысле слова, это всего лишь нечто, не присущее большинству и не сотворенное от Начал, но приобретенное и ставшее необходимым человечеству.

Ей-Богу, я люблю сыщиков. Когда они идут не по моему следу. Но особенно приятно, это

вот как сейчас. Здесь какая-то история, в которой я ни при чем, но он, молодой волк, этого еще не знает и, азартно раздувая ноздри, шуршит по ложному следу. Я вижу, как он напрягается для игры со мной, и мне чертовски сложно удержаться от игры с ним, ведь как-никак, это его работа...

Скоро все выясняется, и он смотрит на меня равнодушно, как молодой орел, жаждущий свежей крови, на падаль. Он становится вялым и равнодушно предлагает мне расписаться в неразглашении сведений предварительного следствия. Я не соглашаюсь и резонно настаиваю на обладании теми сведениями, кои мне не рекомендуется разглашать. После некоторого колебания он говорит мне, что арестована группа аферистов и мошенников, что интересующая меня женщина играла в этой группе одну из главных ролей, что, узнав об арестах, она скрылась и, успев кое-кого предупредить, видимо, решила покончить с собой. Поскольку она обладает большой информацией о действиях преступной группы, допускается, что кто-либо из ее сообщников захочет узнать о ее состоянии, а возможно, и повлиять! известным образом на это состояние.

- Жуткая история! - говорю я почтительно и добиваюсь цели, молодой сыщик снисходительно машет рукой, дескать, обычное дело. Я закидываю еще парочку простеньких червячков в зубы юного честолюбца, а затем слегка потягиваю за веревочку.

- Как бы там ни было, а я все же спаситель, я, так сказать, на блюдечке подал вам преступницу живой и потому имею моральное право на свидание с ней, хотя бы на несколько

минут, хотя бы только затем, чтобы извиниться перед ней за свое безапелляционное вмешательство в ее судьбу...

Отказ не смущает меня, я настаиваю, я намекаю, что в случае отказа не возьму на себя никаких обязательств относительно следственных тайн, и никто не сможет меня заставить... и т. д.

Неожиданно он соглашается дать мне, как он говорит, "пятиминутку" с глазу на глаз, а я догадываюсь, что, если дело столь серьезно, как он мне намекает, третьи глаза в палате каким-то способом, но будут обеспечены.

Я взволнован. Я не уверен в том, что поступаю правильно. Не уверен, что мне нужно ее видеть, а ей - нужно ли видеть меня?.. Короче, порог палаты я переступаю сомневающимся человеком.

Палата вызывающе пуста, то есть кроме койки и женщины, сидящей на ней, - ничего. Впрочем, стул. Я здороваюсь и все еще не смотрю на нее, то есть я, конечно, вижу ее, но глаза мои бегают по голым стенам, по чисто выметенному полу, по окну с узорчатой решеткой...

- Здравствуйте, - говорю и, наконец, смотрю на нее. Красивая. От тридцати до сорока - обычный диапазон возраста женщины, особо любящей жизнь. Ищу предположенную мной порочность в ее лице и, кажется, нахожу что-то в рисунке губ - жесткое, может быть, хищное, но так думать не хочется...

Нет, объясняю ей, я не следователь, я, так сказать, ее спаситель. И теперь только смотрю ей в глаза, не то серые, не то темно голу-

бые, а, возможно, и вообще переменчивые, такое тоже бывает.

- Ждете благодарности? - спрашивает спокойным, неприятным голосом.

- Нет, - отвечаю. - Как раз наоборот. Жду проклятий.

- Считайте, что я их вам уже выдала.

На ней больничный халат захлопнут по самое горло. На кровати она сидит прямо, смотрит на меня равнодушно, но не гонит, мой приход, возможно, для нее случай отвлечься от чего-то, уже утомившего ее. Понять ее состояние мне нетрудно. Трудно избежать банальных слов, ведь я что-то хочу ей сказать, не из-за одного же любопытства я напросился на эту встречу.

- Какое сегодня море? - вдруг спрашивает она.

- Один-два балла. С утра прошли дельфины от Хосты.

- Никогда не видела, чтобы они шли обратно. Ночью, наверное...

- Не знаю. Но тоже заметил, что всегда идут от Хосты.

- Кончилась жизнь, - говорит она шепотом и смотрит мимо меня.

- Нет, - отвечаю и смотрю ей в глаза.

- Но я пожила! Пожила! Понятно вам?

- Нет!

Она как-то многозначительно ухмыляется и становится некрасивой и жалкой.

- Собаки на сене! - цедит зло. - Сами не живут и другим не дают!

- Это их работа, - возражаю осторожно. - Да и понятия о жизни существуют разные...

Она осматривает меня с головы до ног.

Ухмылка ее не то презрительна, не то снисходительна.

- Вы, конечно, сознательный строитель коммунизма?

- Впервые слышу такое предположение в свой адрес. Но интуиция вас не обманывает. Мы с вами действительно из разных миров.

- При чем здесь интуиция, - и опять неприятно ухмыляется. - Меня ваши сандалии не обманывают, а не интуиция.

На мне тупоносые, жесткие и неудобные сандалии, и я отдаю должное ее юмору.

- Я, собственно, пришел сказать... мне так кажется, по крайней мере, что жизнь всегда лучше, чем не жизнь, если, конечно, у человека нет ничего, что дороже жизни. А так бывает редко...

Чувствую, что мои слова падают в пустоту, а то и раздражают ее. Она снова окидывает меня снисходительным взглядом.

- Чукчи живут на севере, едят одну рыбу. Вы смогли бы прожить с ними всю жизнь?

- Пожалуй, нет. Холод и рыбу не люблю.

- А мне не нужно другой жизни, чем как я жила. Я все имела, что хотела.

- А как много вы хотели?

Она не отвечает. Отворачивается к окну. Я рад, что она молчит, диспут и мне не нужен.

- Мент за дверь? - спрашивает тихо, одними губами.

- Возможно, - отвечаю так же.

Она вскидывается всем телом, глаза - зеленые звезды. Вправду, переменчивы. Профилем в дверь. Губы чуть дрожат, побелевшие пальцы сцеплены на ворота халата, как на петле-удавке.

- Они думают, что все выгребли... - демонстративно громко, - шакалы! А шакалам - объедки! А вы...

Это мне, и я сжимаюсь, я не хочу от нее грубости, мне жаль ее, красивую, проигравшую, обреченную...

- ... думаете, я не вижу, как вы меня жалуете!

Она хохочет мне в лицо, снова что-то случается с ее красотой, я догадываюсь, - это потому, что смех ее ненатурален. Однако же она вполне физиономистка, и даже в такой ситуации остается женщиной. Почувствовав мое разочарование, умолкает и, кажется, сердита на себя. Незаурядная женщина, я уверен, ей было много отпущено по рождению, возможно, она догадывалась об этом. Не сумела распорядиться? Мне бы хотелось прочитать или просмотреть ее жизнь: милая девочка с косой, красавица на выданье, молодая женщина... но пустое! Чужую жизнь можно только условно воссоздать воображением, заранее предполагая неточности и неверности. Я оставляю эту женщину для себя загадкой. Мне ее жаль. Но я уважаю самоубийц, и потому моя жалость к ней неоскорбительна.

- Уходите.

Я встаю, но она делает движение рукой, я останавливаюсь.

- Дочку мою навестите. Скажите, что все в порядке, что она по миру не пойдет. Овражья, четырнадцать.

- Сегодня же, - отвечаю.

- Морю привет.

- До свиданья, - говорю и выхожу из палаты.

За дверью мой знакомый орел из органов и еще кто-то почти такой же. Такой же остается, а мы вдвоем идем по коридорам больницы.

- Не знал, что бывают палаты с решетками в обыкновенных больницах.

- Разные больные бывают.

До выходной двери идем молча. У двери я останавливаюсь.

- Скажите, что ее ждет?

Он разводит руками. Знаю я этот развод. Дескать, наше дело - поймать, решает суд...

- Оставьте, - говорю, - я по делу не прохожу и скоро уеду. Сколько?

Он усмехается, оглядываясь назад.

- Активная бабенка, если червонцем отделяется, значит, везучая.

- А вам не приходит в голову, что это несправедливо?

Сыщик многозначителен.

- Если бы вы знали, что она наворовала по всему побережью от Батуми до Новороссийска!

- Не в том дело, - возражаю вдруг горячо, - ведь она сама приговорила себя к худшему, к смерти и исполнила приговор, а то, что ей помешали, я и те в лодке, ну, это так, как бывает, когда у повешенного рвется веревка. Во многих странах такое рассматривалось как вмешательство Провидения. Казнь отменялась. Помните, был такой фильм...

Сыщик-спортсмен весело смеется. У него отличные зубы, они будто из мышц выросли, такие отличные.

- Провидение, это не по нашей части. А что топилась, так это понятно, хотела уйти от ответственности.



- Куда уйти? Ведь чего бы она ни натворила, вышка ей не грозит? Так?

- Ну, это, пожалуй, нет. Ей и червонца хватит.

- Вот видите, - тороплюсь, - самый строгий суд не приговорит ее к смерти. А она сама себя приговорила и исполнила. Есть же правило поглощения большим наказанием меньшего...

- Ерунду говорите, - он даже не раздражается. - Если она и приговорила себя, так это не от раскаяния в содеянном, а от страха перед расплатой.

- А смерть - не расплата? Если бы она утонула, ее ведь не судили бы.

- Но преступницей она не перестала бы быть. Она нарушила закон и, как говорится, принадлежит закону, то есть только закон распоряжается теперь ее жизнью, смертью и свободой. Последнее слово на суде - вот все, что она теперь может сама, да и то по закону.

Ему самому нравится, как он хорошо говорит, но он не подозревает даже, насколько его позиция прочней моей, он не знает, что христианство рассматривает самоубийство как смертный грех, то есть грех неискупимый. И по Богу и по закону человек должен нести бремя жизни до конца...

А я? Что же, я больший язычник, чем этот бравый, уверенный в себе сыщик? Ведь мое сознание восхищенно трепещет перед актом самоубийства. Потому что сам не способен... Не потому не способен, что сознаю греховность действия, а просто не могу... Страшно... Для меня самоубийство - подвиг, к которому, как мне кажется порою, я готовлюсь всю жизнь, но

не уверен, что совершу, а чаще кажется, что не совершу никогда и до последней судороги буду цепляться за жизнь, а это... некрасиво, это противно...

Вот только море разве? Оно действует на меня атеистически, оно могло бы подтолкнуть. И если бы я жил у моря, то однажды сказал бы себе: нет в мире ничего, кроме его и меня, а жизнь и смерть – это только наши проблемы – мои и моря, потому что оно оскорбляет меня имитацией жизни, оно намекает мне на что-то во мне самом глубоко имитационное, оно передразнивает меня, оно копирует что-то такое из моего бытия, чего решительно не хочу замечать, в чем никогда не осмелюсь признаться даже самому себе. Подход к этому признанию может звучать так: если море – дохлая кошка ветров, то я – дохлая кошка обстоятельств, и в так называемой моей инициативе смысла не больше, чем в болтанке морских волн. И какое уж тут христианство! Хотя это всего лишь подход к признанию, а договорись я до конца, и дороги к храмам свернутся в клубок... И это все – море!

Я иду по набережной, а шея моя словно парализована поворотом влево, в сторону моря.

Море волнует. А горы? А звездное небо над нами? Почему человека волнует среда его обитания? Волнует – то есть тревожит. Какую тревогу несет в себе для человека окружающая его материя? Тревогу родства?

Протискиваясь в городской толпе, толпой я вовсе не взволнован. Мне нет до нее дела. Но быть у моря и не выворачивать шеи невозможно. Лишь совершеннейший сухарь мог выдумать

формулу: красиво полезное. Напротив! Лишь совершенно бесполезное способно приводить наши души в божественный трепет. Или в сатанинский? Какое состояние моря особенно привлекает взор? Шторм. Что может быть бесполезнее! И если существует сатанинское начало в эстетике, то именно им мы умиляемся пуще прочего. И разве в том не голос смерти? А все мое понимание христианской мудрости не способно опровергнуть того, вызревшего во мне предположения или почти убеждения, что добровольный шаг навстречу голосу смерти есть высшее мужество, на какое способен человек, потому что смерть бесполезна, а только бесполезное - прекрасно...

### 3

Я ищу нужный мне адрес и обнаруживаю милый коттедж с видом на морской простор. Не успеваю дойти до калитки, как из нее выходит молодая пара, экипированная для морской прогулки. В девушке невозможно не узнать утопленницы, какой она, возможно, была двадцать лет назад. Я уверенно догоняю их.

Равнодушие, с каким восприняты мои объяснения, шокирует меня.

- Лучше бы ей утонуть, - грустно говорит Людмила.

- Пожалуй, - спокойно соглашается с ней ее друг Валера.

Меня приглашают присоединиться к прогулке, и я почему-то соглашаюсь. Впрочем, не почему-то. Мне очень нравится дочь самоубийцы, её красота трагична, или мне это вообразилось,

но сочетание глаз небесного цвета с профилем почти римским, почти идеальным, будто созданным для скульптора и неспособным к беспечной улыбке, а улыбка эта вдруг возникает и преобразует лицо в новое сочетание античности и дня сегодняшнего, и я ловлю себя на сострадании, коим буквально захлестнуты мои глаза, я убегаю взглядом в сторону, чтобы сохранить спокойствие души и трезвость сознания. А трезвость нужна, ведь передо мною прекрасное чудовище, разве не чудовищно желать смерти собственной матери. Передо мной поколение, которого я совсем не знаю, и дело не в том, что не каждый способен произнести жестокую или циничную фразу, дело в том, что у этого поколения есть одна общая характеристика, немыслимая во времена моей молодости: уверенность, или точнее – раскованность, я еще не решил для себя, очень ли это хорошо или не очень, но завидую, потому что это неиспытанное состояние, и его уже не испытать, ведь в моем возрасте качество внутренней свободы, если оно обретено, не имеет той цены, ибо оно от опыта, оно результат жизни, а не ее изначальное условие, как у них, нынешних молодых. Как много они могут, если умно распорядятся благом, обретенным с рождения или с пеленок, или лишь чуть позже!

Что они смогут сотворить и натворить с такой вот размашистостью движений тела и души! Во всем, что они сделают, не будет ни моей вины, ни моей заслуги, с этим поколением мои дороги не пересекались.

Выходим на берег. Людмила впереди, мы сзади, как пажы морской царевны. Море стелется ей в ноги, холуйски пятясь в пучину.

Она все воспринимает, как должное, у нее не возникает сомнения в том, что миллиарды лет формировавшаяся природа дождалась, наконец, своего часа, часа явления смысла ее формирования и долгого полубытия в ожидании. Предполагаю, что ее, Людмилу, не смущают ни масштабы, ни века. Если Вселенная произошла из точки, то и смысл этого происхождения не в масштабах и временах, а в некоей точке, которая есть венец всего процесса. Эта точка – она, царица, ступающая ныне по песчаному ковру, а море, целующее ее ноги, – трепещет от Крима до Турции от соприкосновения с венцом бытия.

Она ступает по песку. Ее скульптурная головка благосклонно и горделиво внимает угодливому лепету моря, а мне хочется прошептать ей в другое ушко: "Не обманывайся, глупая красавица, моря, как такового, не существует, это всего лишь безобразно и бессмысленно огромная куча ашдвао, а ты рядом с этой кучей намного меньше, чем лягушка на спине бегемота!" Но я ничего такого не говорю, я просто люблю женщину у моря, и еще – мне очень хотелось бы, чтобы не было здесь кого-то третьего, а он есть, он топает рядом со мной с равнодушной физиономией сытого молодого дога...

Катер-катерок радостно вздрагивает внутренностями. Мы уходим в море. Людмила и Валера раздеваются, оставив на своих телах тряпочки меньше фигового листочка. Тела их совершенны, откровенно бесстыдны и демонстративно равнодушны друг к другу. Я не верю этой демонстрации, я вижу в ней извращение...

Микрокаюткомпания поражает мое воображение. Микрохолодильник, микротелевизор, мик-

робар, стереосистема с микроцветомузыкой и ложе, не микро, но самый раз для радостей сладких, а как оформлено!

Катер-катерок, сколько же ты стоишь? И почему тебя до сих пор не конфисковали?

На микропалубе уютные ложа для приема солнечных ванн. На одном Людмила демонстрирует южному небу свои совершенства.

Валера за рулем в микрорубке. Никаких шнуров и примитивных стартеров. Изящный ключик на золоченой цепочке с брелком приводит в движение золотой катер-катерок. Руль послушен, скорость достаточна, шум умеренный, не мешающий разговору без насилия над голосом. Волны тоже - самый раз - колыбель наслаждения, вверх-вниз, бережно, без вызова, но и без лени.

Моря, однако же, я сейчас почти не замечаю. Сколь ни совершенна имитация живого, живое совершеннее. И глядя на распластавшееся передо мной совершенство, я отчего-то забываю или стараюсь не помнить, кто она, эта женщина, из какого она мира, что уже было в ее жизни, что еще будет, - и об этом догадываться не хочется. Я более всего хочу, чтобы она не говорила, но она говорит, глядя на меня сквозь ресницы.

- Вы уродливы? Искалечены? Или растауированы?

- Почему?

- Не люблю шрамы и татуировки.

- А есть мнение, что шрамы красят мужчину, тем более, что...

- А вы можете говорить без придаточных предложений? И если у вас нет шрамов и татуировок, можете раздеться и устроиться...

Рядом с ней свободное место. Только на одного человека.

- Я не уродлив и без особых примет, но все же боюсь попортить пейзаж.

- Смотрите, - вдруг говорит она, - сегодня море мраморного цвета!

- Разве? - возражаю задористо. - По-моему, оно сегодня мыльного цвета, словно вытекло из мировой бани.

Она резко поднимается, брови-стрелы в самое мое сердце. - Если будете говорить гадости, полетите за борт!

Валера заметно оживлен.

- Уж так прямо и за борт! Я ведь как-никак гость, а не персидская княжна.

- Хамская песня. С детства ее ненавидела. И никакой он не бунтарь, это ваш Стенька, а просто бандит и хам!

Лично я тоже не в восторге от "донского казака", но все же не спешу соглашаться с Людмилой. Я хотел бы вернуться к интересующей меня теме.

- Между прочим, - говорю, - не мешало бы вашей маме сделать передачу. Нужна масса всяких мелочей, и питание там дрянное.

- А вы откуда знаете? И вообще, вы не мент случайно?

Глаза ее холодны и колючи. Я их знаю. Такие глаза бывают у классовой борьбы. Они бесполы, как бесполой ненависть. Про ненависть и спрашиваю.

- Вы еще так молоды. Откуда она у вас?

- Слишком много чести, чтобы их ненавидеть. Я их презираю!

Но вот тут-то меня ты не обманешь, красавица! Типично уголовное явление: желаемое при-

нимается за действительное. Хотелось бы презрения, но, в сущности, всегда лишь страх и ненависть.

- Я их презираю, - сверкает глазами Людмила, - это самые тупые двуногие. Они думают, что служат закону, а всегда только холоуи и у тех, в чьих руках пирог! Они все одинаковые. Все! Все! Все! Они нужны, не спорю. Как половые тряпки, сапожные щетки, сапожным щеткам все равно, кому чистить сапоги. Холоуи! И чаще всего продажные, точнее, подкупные. У всех у них своя цена. Один подешевле, другой подороже, но продаются все!

- Так уж и все! - усмехаюсь.

- Если кто и есть некупленный, так это только означает, что ему еще не предложили его цены, или он в академию готовится, или просто трусит брать. Вот таких много. Сами трусят, а подставляются как неподкупные. Таких не покупают, таких пугают. Саранча!

Она выговорилась, а возможно, ей показалось, что злоба может тенью упасть на ее красивые черты и исказить их, и потому, вероятно, она вдруг как-то поспешно улыбается и прежним ленивым тоном отмахивается от темы.

- Да ну их! А насчет мамы не беспокойтесь. Она там будет иметь все. Если нельзя купить свободу, то можно, по крайней мере, купить привилегии в неволе. Хотя...

Что-то похожее на испуг мелькает в ее глазах. Только мелькает, и снова ничего, кроме обычной женской тайны...

- А вы действительно не понимаете моря или кривляетесь?

Меня всегда шокировала эта удивительная способность женщин мгновенно устанавливать



равенство, будь ты хоть семи пядей во лбу, тебя похлопают по плечу, и напрягайся, чтобы в следующем этапе общения вплотную не познакомиться с каблучком хамства. Не о всех речь, конечно, но часто, чёрт возьми...

- Да, пожалуй, я не понимаю моря. Я ведь впервые...

Глаза ее просто взрываются изумлением и жалостью ко мне.

- Да как же вы смели прожить жизнь, ведь вам уже не сорок, прожить и не увидеть моря! Вы или очень холодный или очень ленивый человек! Разве вы не знаете Айвазовского? Знаете ведь!

- Ну, конечно...

Сейчас она утопит меня в своем презрении. Я набираю побольше воздуха, чтобы не захлебнуться.

- Видеть изображение и не захотеть увидеть натуру! Считайте, что вы зря прожили половину вашей жизни! Смотрите же во все глаза, вы еще хоть что-нибудь можете наверстать!

Я смотрю не во все глаза, я смотрю в ее глаза и теряюсь, и забываю, кто она, эта морская фея, и мне грустно. Боже, как мне грустно, я бы выпрыгнул в море, да мы уже больно далеко от берега, доплыву ли? К тому же волны. Они подшвыривают наш катерок весьма ощутимо.

Глохнет мотор. Валера выключил его и теперь, чуть ли не перешагивая через меня, поднимается на палубу и устраивается рядом с Людмилой на том самом месте, которое я не поспешил занять.

Понимаю, такая программа. Уходим в море,

выключаем двигатель, зажигаем, доверившись произволу волн и течений.

Я точно помню, что согласился на эту прогулку из познавательных соображений, но, увы, я никак не могу вспомнить, что именно я собирался познавать, увязавшись третьим лишним... Я вопиюще лишний на катерке, я лишний в море... А до этого... Что было до этого? До этого была жизнь, в которой я более всего боялся оказаться лишним и всем, что мне было отпущено природой, упрямо доказывал обратное.

Всю свою жизнь я отдал политическому упрямству, никогда не жалел об этом, а сейчас пытаюсь вычислить, сколько красоты прошло мимо меня, и, чтобы не получить уничтожающий ответ, пытаюсь определить красоту самого упрямства. Только что-то не очень получается. Но все равно, сейчас мне хочется думать только о красоте, найти какие-то нетривиальные слова, чтобы в одном суждении вместить весь смысл короткой человеческой жизни и ее главное печальное противоречие между жалкой трагедией плоти и величественно демонической трагедией духа...

А может быть, все проще. Может быть, мне просто нравится эта женщина на палубе катерка, женщина, которую ни при каких обстоятельствах я бы не хотел видеть своей, но смотреть и слушать ее ужасные речи и не противиться им, но изумляться тем бесплодным изумлением, которое ни к чему не обязывает и не обременяет ответственностью, потому что женщина и чужая и ненужная, и можно даже испытывать некую нечистую радость от того, что есть в жизни нечто, на что можно смот-

реть хладнокровно и любознательно, не рискуя ни единой клеткой своих нервов.

- Все человечество делится на живущих у моря и не живущих у моря, - говорит Людмила, вызываяще глядя мне в глаза.

- И в чем же преимущества первых? - спрашиваю.

И, наконец, прорезается Валера.

- Людочка хочет сказать, что, какие бы ни были у вас личные достоинства, вы человек неполноценный, потому что только живущий у моря есть существо воистину космического порядка.

Я не улавливаю оттенка его голоса, но что-то в его словах не очень доброе по отношению к Людмиле. Похоже, что и она почувствовала это.

- А ты меня не комментируй, пожалуйста! - говорит она почти зло.

Молодые красавцы, они лежат передо мной и пикируются с ленивой злостью, а я люблюсь ими и не успеваю заметить начало ссоры, предполагаю только, что ссорятся они потому, что пресыщены друг другом, устали от взаимного совершенства, от равенства, от пут любви, которая уже не только радость. Катерок качает на волнах, и фразы их еще не очень обидные соскальзывают с бортов в море и превращаются в медуз, сначала мелких, затем крупнее.

Мне не тревожно. Мне любопытно. Мне никак не удается определить статус Валеры. По совершенству мускулов - спортсмен, но лексику - кто угодно, на редкость нахватанная молодежь в нынешние времена.

Как я догадываюсь, они сейчас выясняют, кто

из них кому больше обязан. Поскольку присутствует третий лишний, они говорят условными фразами и оттого еще больше запутываются в непонимании. Едва ли это любовь, говорю себе и ловлю себя на провинциализме, на устарелости моих критериев, а возможно, и на примитивизме, потому что вот по отношению к этим двум мыслю скорее формально, чем по существу, заведомо отказывая им в праве на сложность чувств. Но я не могу забыть, что мать юной Афродиты сейчас в тюремной камере, что прошло немногим более суток, как она ушла из жизни и вернулась к ней, чтобы испытать нечто, что для нее страшнее смерти.

- Послушайте, молодые люди, - вмешиваюсь бесцеремонно в их ссору. - Хотите, я вам расскажу, что сейчас происходит в вашей местной тюрьме.

Они смотрят на меня удивленно, потому что в голосе моем чуть-чуть металл, и не успевают возразить. Я говорю жестко, но стараюсь сохранить подобие улыбки на лице.

- Сейчас туда из городской больницы в воронке привезли красивую и несчастную женщину. Ее провели в специальное помещение, где грубые, крикливые женщины в форме прапорщиков МВД приказывают ей раздеваться. Догола. Она раздевается. Она бледная. Голая, она стоит молча, пока женщины-прапорщики переминают в руках поочередно все аксессуары ее туалета. Затем одна из них подходит и запускает пальцы в волосы арестантки, шарит по голове, растормашивая прическу. Затем приказывает открыть рот, заглядывает - это идет поиск возможных запрещенных предметов. Потом

приказ – поднять руки! Потом осмотр груди. Потом ей приказывают расставить ноги и присесть...

– Заткнись! – рычит на меня красавец юноша. Афродита же бледна. Губы ее трясутся мелкой, едва заметной дрожью.

– Присесть надо не меньше трех раз. Затем ей приказывают нагнуться и раздвинуть ягодицы...

Валера броском кидается на меня, но катерок неустойчив и коварен. Валера промахивается и падает на сиденье рядом со мной, ударившись рукой и бедром о скамью. Однако рука его выбрасывается к моему горлу, я успеваю лишь отстраниться, затем двумя руками схватить кисть его руки и чуть вывернуть. Красивое лицо его искажено не злобой, ужасом. Оттого, возможно, он не обнаруживает всей присущей ему силы, и я выигрываю время, пока успевает прийти в себя и вмешаться Людмила. Ее визг словно выключает Валеру, и я уже не защищаюсь, а, скорее, держусь за его руку, потому что катерок раскачался не на шутку.

– Ты все врешь! – отчаянно шепчет Людмила.

– Ничуть, – отвечаю, отдышавшись. – Через эту процедуру прошли миллионы наших славных сограждан. Маршалы и карманники, жены врагов народа и проститутки, поэты и гомосексуалисты, ученые и мошенники, через нее прошли четыре пятых ленинской гвардии и две трети сталинской, последние раздвигали ягодицы и кричали: "Да здравствует Сталин!" Они были уверены, что их ягодицы оказались жертвой недоразумений, и все выяснится после осмотра...

Чувствую, что теряю контроль над собой, что говорю уже не им, ошалевшим красавцам, а кому-то, кто никак не может меня услышать, расслышать, и я уже почти кричу в расширенные Людмилины глаза.

- А вы думаете, от чего у них, у тех, у штирлицев, глаза всегда в прищуре? Да от семидесятилетней пристальности, а все думают, что от пронизательности!

Стоп! Господи! Кому это я все говорю?! Чего это меня вдруг прорвало? Какая болячка неожиданно вскрылась? Ведь я уже давно числюсь в уравновешенных...

Я отмахиваюсь и поворачиваюсь к морю. А оно все волнуется, как заведенное, накатывается и откатывается, и что-то до тошноты фальшивое видится мне в лениво-игривой плавности водяных вздутий, именуемых волнами, уж лучше бы шторм, тогда можно сжать челюсти, напрячь мышцы и отплевываться от волн как плевать в них, и можно крикнуть что-то дерзкое и злое, крикнуть так, чтобы выплеснуть в крике всю боль и желчь и тошноту - освободиться от них - пусть все расхлебывает безбрежная мертвечина, что зовется морем, и ничего, что, захлебнувшись, отравившись моей тошнотой, всплывут кверху брюхом акулы или дельфины, их много, а я один, и мне еще хочется жить и замечать красивое и не болеть от безобразного...

- Людка, выкинуть его?

- Сиди.

Сейчас глаза ее грустны. В них еще неприязнь. И к моему удивлению, не ко мне. К Валере.

- Ты ее любишь, - говорит она, и попробуй

определить интонацию. По крайней мере, это сказано недобро, и сначала я замечаю именно это, и лишь через паузу до меня доходит, что речь идет о матери Людмилы.

- Не начинай, пожалуйста.

Он встает, оттолкнувшись от меня достаточно небрежно, запрыгивает на палубу, падает лицом вниз на лежанку рядом с Людмилой. Она сопровождает его взглядом и продолжает смотреть на его модно стриженный затылок.

- Если это так, - говорит она тихо, так что я еле слышу, - если это так, то ты большая свинья, Валера.

- А ты маленькая, - отвечает он подчеркнуто спокойно.

- Я дрянь, я знаю. Но ты - свинья.

И хотя разговор идет тихо, я чувствую, что это не просто ссора, и мне решительно не нужно при этом присутствовать. Оглядываюсь на берег. Возможно, доплыву, если сниму туфли, но куда их деть? И не топать же потом босиком через весь город.

Людмила сидит, обхватив руками колени. Катерок развернуло поперек волны, от легкой килевой качки создается впечатление, будто Людмила печально покачивает головой, но она недвижна, и взгляд ее, что по-прежнему словно замер на Валерином затылке, грустен той опасной грустью, которая, накапливаясь, может обернуться истерикой.

Сначала я вижу движение губ и чуть с опозданием слышу стихи. Она их не читает, а всего лишь произносит.

- Однажды красавица Вера, одежды откинувши прочь, одна со своим кавалером до слез хохотала всю ночь...

- Людка, тебе еще не надоело?

Валера явно пасует. Тема ему неприятна. Относительно "темы" я, конечно, уже догадываюсь. Мне даже не противно, мне неинтересно, и я смотрю в воду, она бледно-голубая, но темнеющая в каждом гребне волны, это приятно глазу, успокаивает, в душу вкрадывается равнодушие, и язвительные интонации Людмилы уже вовсе не трогают и не тревожат меня.

- Однажды красавица Вера, одежды откинувши прочь, с всеобщим любимцем Валерой...

- Людка, заткнись, а?

- Хам. Постеснялся бы постороннего человека. Скажите, - это уже ко мне, - вы морально чистый человек?

- Не знаю, - отвечаю, слегка растерявшись.

- Врете, уважаемый! - радостно вскидывается Валера. - Человек всегда знает, морален он или нет.

- Вы, например, - мгновенно парирую.

- Я морален, - уверенно отвечает он. - В соответствии с моим пониманием морали.

- Интересно? - включается Людмила, опережая меня.

- Пожалуйста! В двух словах для интересующихся и ханжей.

- Ханжа - это я?

- Человек продукт материи и потому раб. Рождается по чужой воле, не выбирает ни родителей, ни места рождения, ни времени, ни национальности, ни даже своего будущего, потому что оно определено воспитанием. Единственная цель жизни человека - обретение максимальной свободы от обстоятельств, в которые он брошен чужой волей или, скажем, судьбой. Смерть есть насмешка, издевательство над



жизнью. Бунтовать против этого издевательства смешно, нужно к нему присоединяться. Вот! Вот это первый импульс свободы!

”Ишь ты! Черноморский супермен!” – отмечаю не без удивления. Пытаюсь определить, для кого он говорит, для меня или для Людмилы. Что я ему? А с Людмилой – неужто впервые так?

– Главная заповедь – ничего не принимать всерьез. Ничего. Минутку!

Он лихо и красиво срывается с места и исчезает в каюте, появляется с тремя бутылками фанты, ловко, изящно вскрывает их каким-то заморским приспособлением, подает мне и Людмиле. И откуда только в нем эта исключительная мужская изящность движений, поз, жестов? И все естественно, без рисовки. А Людмила! Без колебаний отправил бы я их для ознакомления внеземной цивилизации с образцами земного человеческого рода. Только при условии, чтобы они не раскрывали рта. Все, что еще может сказать Валера, я приблизительно знаю. Он изобретает велосипед люциферизма в самом упрощенном его варианте, и счастье его в отсутствии информации.

– Моя теория не нова, – улыбается Валера, словно угадав мои мысли. – Она полностью взята из христианства.

Я почти давлюсь глотком фанты. Это же надо, в какие времена мы живем!

– Из десяти заповедей есть одна, которая не только перечеркивает все остальные, но и делает ненужными все философии и религии. Какая?

Вопрос только ко мне, и я, ей-Богу, в полном недоумении.

– *Не клянись!* – отдельно, чуть ли не по

буквам произносит Валера и снова запрокидывает бутылку фанты над головой. Движения не успеваю уловить, а пустая бутылка будто сама улетает в море.

- Остальные десять заповедей соприкасаются с этой через союз НО. Возлюби ближнего своего, НО не клянись! Почему? Да потому, что ты этого не сможешь. Не укради! Но не клянись, потому что завтра назовут воровством то, что им не было. Не пожелай жены ближнего своего. Но не клянись. Потому что тебе просто везет, что жены твоих друзей - изношенные клячи. Итак, не клянись! Потому что все в мире условно и недостойно серьезного отношения.

- И любовь, - вставляет Людмила, и вовсе не вопросом.

- Вопрос прост, как говаривал наш преподаватель научного коммунизма, прежде чем со- врать...

Валера смотрит на нее. Они профилем друг к другу. Если бы выключить их голоса и озвучить иным текстом, что-нибудь из Шекспира или Гёте, впрочем, нет, на эти напряженные губы не лягут слова любви, и глаза обоих - в них ни любви, ни мира, одно честолюбивое сутяжничество...

Валера в ударе. Если б он знал, сколько человек до него так думали, так говорили, так жили! Но известно, что знание не освобождает от собственного опыта, доброго ли, дурного. Количество добра и зла на душу населения - величина постоянная для всех эпох. И такое соображение может быть весьма оптимистичным в наши кажущиеся апокалипсическими времена. Ведь вот этим двоим еще все

предстоит... И другим. И народам. И России... Нет, не верю в конечность наших времен. К апокалипсическим настроениям знакомых моих отношусь с подозрением. У одних в глазах перст наказующий: "Скоро уже вам всем будет по грехам вашим!" У других лень жить и думать, и делать. У третьих гордыня. Убеждены они, что являются именно теми блаженными, которые посещают сей мир в его минуты роковые. Простой политический кризис их не устроит. Им подавай Второе Пришествие!

Валера, между тем, подошел вплотную к изобретению Шопенгауэра.

- Все, абсолютно все, хотят быть здоровыми, богатыми, иметь власть. Кто этого не хочет, тот шизик. Но у одних есть для этого воля, а у других нет. И начинается морализирование. А что говорит христианство? Не просто не поимей жены ближнего своего, но и не пожелай ее. Грех не только действие, но и мысль о нем. А в мыслях грешны все. Потому христианство - высшая философия. Между мыслью и поступком нет разницы. Подумать о зле, все равно, что совершить его. А если грех есть всё, то его, в сущности, нет, а есть жизнь, в которой надо вести себя соответственно натуре. И люди делятся не на чистых и грешных, а на имеющих волю к поступкам и не имеющих. Я так вообще считаю, что человек желающий, но не делающий - просто тварь лицемерная. И таких большинство.

- Но ты-то не из таких, - печально язвит Людмила.

- Надеюсь. Или вот опять же про любовь. "У любви как у птички крылья..." Ведь замираешь, да? Нравится. Еще бы! Ведь каждый имеет в

виду свои крылышки, которым санкционируется порхать по настроению. Свободу мы требуем для себя, а мораль для других.

- А ты?

- Что я?

- Ты признаешь свободу за другими?

Валера замолкает на минуту, смотрит мимо Людмилы куда-то в горизонт моря. Он серьезен. И я готов поверить, что этот разговор для него не треп, но объяснение или самообъяснение.

- Я стараюсь. И для этого никого не принимаю всерьез. Между людьми должны быть серьезные деловые отношения. Самое правильное - всех людей, с которыми соприкасаешься, считать только партнерами. А с партнерами допускается определенный люфт в отношениях.

- Я тоже для тебя партнер?

Валера по-прежнему смотрит куда-то в море. А зря. Сейчас бы ему надо взглянуть в глаза Людмилы. Там появилось нечто.

- Партнеры по любви и совместной жизни - разве это плохо? - говорит он очень серьезно.

- Знаешь что, пошел вон!

- Что? - улыбается Валера.

- Убирайся! - кричит она.

Я оглядываюсь. До берега более полкилометра. Интересно!

- Не дури, Людка!

Он не обижен и не рассержен, но, пожалуй, все же обескуражен.

- Я тебе сказала, убирайся!

Валера делает попытку движения к ней, но она кричит, почти визжит, он отстраняется,

смотрит на нее каким-то вялым взглядом и отмахивается.

- Ну, и чёрт с тобой! Перебесись!

Спрыгивает с палубы, ныряет в каюту. Лицо Людмилы в гримасе ненависти, но, странное дело, гримаса эта не портит лица, оно не дурнеет, как у ее матери там, в больнице. Вот что значит молодость! Все сходит с рук! Великое и невозвратимое счастье - молодость! И еще красота. Она - чудо. Наверное, красота - это огромный аванс человеку, которым так трудно распорядиться правильно, то есть именно как с авансом, а не даром или наследством. Сказать бы что-то такое, предупреждающее, совет дать, крикнуть: "Берегись! Нельзя жить авансом!" Но советы - это только потребность советующего, и как в данном случае, потребность исключительно эмоциональная, а не по существу.

Валера появляется с новеньким полиэтиленовым пакетом в руках. Начинает аккуратно укладывать в него свой великолепный спортивный костюм, сандалии, очки в зеброобразной оправе. Поворачивается к Людмиле.

- Ну?

Это означает - может, успокоилась? Она отвечает ему таким взглядом, что он досадливо морщится, переходит на корму, почти перешагивая через меня, и я не успеваю обернуться, слышу за спиной всплеск. Когда оглядываюсь, то вижу Валеру уже в десяти метрах от катера. Он плывет на боку, небрежно, но очень профессионально работая только одной рукой, и я не сомневаюсь, что полкилометра для него суший пустяк.

Людмила демонстративно спокойна. Через паузу говорю ей:

- Напрасно вы погорячились. Не думаю, что все это его слова...

- Мне наплевать, что вы думаете.

Остатки злости она выплескивает на меня, но смущена этим, и голос ее меняется.

- Он был любовником моей матери. Я отбила. И не жалею.

Она чего-то ждет от меня. Возражения? Но молчу.

- Это же безнадежно. Она старше его на шестнадцать лет. И вообще это неправильно.

Я по-прежнему молчу.

- И топились она, вы думаете, она ментов поганых испугалась? Как бы не так! Они здесь без нас с голоду подохнут. В очередях застоятся. Это она так считает. Она не верит, что ее посадят. За ней такие люди стоят, куда мент без доклада не войдет. Это она из-за Валерки... Влюбилась как девчонка. Стыдно. Все ухмылялись... Это ведь долго тянулось. Вот я и отбила. Выросла и отбила. И не жалею. Мы с ним пара.

Любит или не любит? Попробуй, пойми. Скорее, любит.

Последнее предположение корректирует мое отношение к Людмиле, или я сам жажду этой коррекции, не могу осуждать ее, плохо думать о ней, но вообще думать о ней хочется, наверное, в этом и есть первичный эффект красивой женщины. О ней хочется думать, то есть держать ее в своих мыслях, даже беспредметных, решительно безобидных, бескорыстных... Но существуют ли таковые...

Я спешу прервать опасную логику рассуждений, и в голосе моем сквозит искусственно менторская интонация.

- Думаю, однако, что жить только в свое удовольствие нельзя.

- Вранье!

Вот снова вся загорелась. В голосе вражда, а мне почему-то удобнее. Спокойнее.

- Все стараются жить в свое удовольствие, только большинство не может, и начинают сюсюкать... Ханжи проклятые! Если хотите знать, Валерка во всем прав. Он единственный человек в моей жизни, который никогда не врет. И лозунгами не разговаривает.

- И вы не встречали человека, который бы жил ради других?

Я не просто говорю банальности, но откровенно провоцирую Людмилу банальностями. Она воспаляется, как тополиный пух.

- Если такие и есть, то это значит, им доставляет удовольствие жить ради кого-то...

Торопливо ловлю ее на слове.

- Значит, существуют удовольствия эгоистические и общественно полезные. Один с удовольствием делает добро, другой - зло. Кто вам предпочтительней?

Растерянность ее лишь на мгновение.

- Ну, конечно, кругом столько добра, одно добро кругом! Вранье кругом! Все врут! Кто больше врет, тот жрет от пуза. Да вы только поглядите на тех, кто учит нас жить! Там же ни одного лица человеческого! Одни бульдоги! Хоть раз бы их жен показали! Уверена, что все они кабанихи раскормленные! А треплются-то о чем! О народном благе! Они же хуже капиталистов, те хоть капитал делают, а эти только жрут и врут! Самый последний из машиной компании моральнее их, потому что, как говорят, так и живут. В этой стране

всякий имеет право быть прохвостом и кем угодно, и вообще жить, как сумеет, потому что все законы – одна трепотня.

Я осторожно возражаю.

– Но ведь сейчас вроде бы что-то меняется?

– Ой, только про перестройки не надо! Наши местные уже перестроились. Мамаша моя одному такой антик делала...

– Что?

– Ну, мебель-антиквариат. Я там была. У него. Это же бандит, хапуга, жадина! А под Новый год всякий раз по телевизору выступает, так что он там говорит! И даже морда у него по телевизору не такая поросычья, как в жизни. Даже мордой врать научились.

Мамаша моя, хоть и умная, а дура! Она думает, что они ее прикроют. Да продадут они ее, как лакея последнего. У них же за душой ничего... одна материя организованная. Понимаете, которые мафия наша, они страшные люди, но у них есть какие-то ихние принципы, законы, они стоят друг за друга хоть в чем-то, а те, что на портретах, они только прожорливые трусливые свиньи! Ну, скажите, отчего у всех у них такие круглые морды? Ведь вы тоже уже... ну, это... в годах, а у вас же лицо как лицо, а у них задницы обезьяньи. Ну, почему? Почему туда только с такими мордами пробираются? Ведь вот приезжают с Запада, рядом с нашими – люди как люди. А наши будто с какой жировой планеты спустились и не успели похудеть. Старые фотографии смотришь – цари, генералы – красивы! Влюбиться можно. Порода! Валеркин отец Хрущева хвалит, да у него же морда евнуха персидского! Я бы к власти на порог не пускала мужиков с такими физио-



номиями. Ненавижу некрасивых мужиков. От них все зло на земле. От уродов!

Вот уж, право, и смех и грех! Сидит напротив меня красивая, почти голая женщина и поносит власть чище любого "враждебного голоса"! И ничуть не хочется ей возражать! Может быть, оттого, что лично мое лицо зачислено лицом, а не мордой. Приятно. Да и мне ли защищать власть имущих...

Странно, мы оба как-то забыли о Валере и вдруг одновременно вспомнили о нем. Она приподнялась, я оглянулся. Казалось, что он уже у самого берега. Так же хладнокровно взметалась рука и исчезала, и появлялась снова. Конечно, маленькой завистью я завидую их молодости, силе, красоте, и мне приятно признаваться в этой зависти именно потому, что она очень-очень маленькая, эта зависть-грусть, ее можно почти не принимать в расчет, поскольку счет идет по совсем иной шкале, где поименованы ценности, не сопоставимые с предметом моей маленькой зависти...

- А вот представьте, что во главе государства стал бы Валерка. Да одни бабы без мужиков ради него сто коммунизмов построили бы!

Она это серьезно?

- Я чего не понимаю. Гитлер, у него же рожа хорька была, а все орали хайль. Или Черчилль - это же страх Божий, или еще Хрущев наш, а бровастый - это же цирк! Не понимаю. Если бы у меня было такое лицо, я бы в монастырь ушла, паранджу носила бы. А они? Скажите, они, что, не понимают, что они уроды?

Я хохочу так радостно, что обида на ее

лице появляется лишь после того, как я успеваю откашляться и вытереть слезы.

- А я столько раз слышал, что красота мужчины для женщины не главное!

- Да врут все. Все стонут на красивых, да на всех не хватит. Я тоже слышала, что, мол, красивые женщины глупы, а мне, дескать, подавай хорошую, а не красивую. И мужики врут. Все хотят красивых, да боятся, что не удержат. Но хотят все. Вы вот, вы же хотите меня?!

Я чувствую, что краснею, и чем больше чувствую, тем больше краснею. Она глядит на меня и тихо смеется.

- Нет, - говорю глухо, - я тебя не хочу.

- Врете! Все меня хотят, от мальчиков до стариков. И вы вовсе не исключение, так что не пытайтесь...

- Переменим тему?

Она смеется. Она выставляется. Она мне ненавистна. Мне хочется ударить ее, и в то же время... Вот дрянь! Я стараюсь взять себя в руки. И неудивительно. Мне ведь не восемнадцать.

- В известном смысле, - говорю, - вы есть образец хорошо организованной материи, в отличие, к примеру, от Черчилля или Хрущева. Но ведь этого еще недостаточно.

Улыбка слетает с ее лица. Я даже не надеялся, что мой сарказм дойдет до цели. Одновременно с тем, как два бледных пятна появляются на ее щечках, я обретаю полное равновесие.

- А ну-ка, прыгайте в воду! - приказывает она шипяще, вытянув руку с перстом в сторону левого борта. - Сейчас же!

- И не подумаю. Во-первых, я ваш гость, а, во-вторых, я не Валера.

- А я сказала, вон отсюда!

Она встает в рост на палубе, но катерок качается, и она на мгновение обретает позу девочки на шаре, одна рука выше, другая ниже, талия в плавном изгибе. Но все же эта сценка больше похожа на пародию известного полотна. Девочка выросла, превратилась в красивую, злую женщину, но, забыв о возрасте, все так же пытается удержать равновесие, доступное только чистоте и невинности.

Она спрыгивает с палубы, подходит ко мне. Я тоже стою. Мы стоим и покачиваемся.

- Хотите, чтоб я сама вас выкинула?!

Это уже слишком. А красива-то, Господи! И рядом... Что-то происходит с моими мускулами. Я чувствую себя великаном с неограниченными возможностями. Как клещами, я хватаю ее за талию и приподнимаю ее так, что на уровне моих глаз ее глаза, расширенные, зеленые, как волны, в которые я и опрокидываю ее. Восторг охватывает меня, так все это получилось красиво и легко. И пусть я сам не устоял и плюхнулся на сидение, но вскочил и встал в стойку раньше, чем она вынырнула, и вот стою, смотрю на нее, барахтающуюся, ошарашенную, ага! И она смотрит на меня снизу вверх по-новому, и хотя это иное недолго удерживается в ее глазах, но оно было! Девчонка самовлюбленная! Если бы с детства ее почаще кидали за борт, это очень пошло бы ей на пользу.

- Ну, что стоите? Руку давайте!

Не нравится мне ее голос, но наклоняюсь на борт, протягиваю руку, хватаю за кисть. Катерок в наклоне. Она что-то слишком торопится, мне везет, что я замечаю ее торопливость,

потому только и успеваю перехватить ее руку. Пощечина могла получиться очень звонкой, в Турции услышали бы. Но ее рука в моей руке, затем вторая, и уже значительно менее изящно, чем в первый раз, я снова сталкиваю ее в воду.

Захожу в рубку, сажусь на сидение. Наблюательность не подвела меня. Поворот ключика, и мотор застучал ритмом ударного инструмента. Включаю скорость, отпускаю сцепление. Рывок катера отбрасывает меня в спинку сидения. Кладу руль вправо и оставляю в этом положении.

Какая же это чудесная вещь - катер! Иметь бы его где-нибудь на Волге или еще лучше - на Енисее. Там неслись бы мимо берега и поселки, где хочешь, остановишься, выйдешь на берег, познакомишься с людьми и обязательно встретишь исключительно интересного человека, какого нет и не может быть в твоём постоянном окружении. И этот человек непременно скажет что-то очень простое и очень мудрое, до чего не мог сам додуматься, и никто не мог подсказать, тогда станет на душе легко и просторно, и в обратный путь отправишься иным человеком, а свои, встретив, будут удивляться и не узнавать.

И даже, положим, нет, - вышел, познакомился, но не встретил. Не повезло. Но он же необъятен, Енисей! Следующим летом плыви дальше и ищи, потому что где-то там, в глубинках и только в глубинках пребывает в чистоте, простоте и однозначности главный смысл суеты нашей. Из тех, что уже искали, не знаю, кто нашел, но никто не разочаровался, если искал искренно. Да будет свята и вечна

наша вера в глубинку, потому что это - настрой души, а самым главным своим знанием мы знаем, что без такого настроя кончимся и исчезнем. Настрой души - это тоже реальность, только из иной материи сотканная...

Я даю уже третий круг. Людмила лежит на воде и видна мне вся. Волна совсем маленькая, легкое колыхание, но ритмы у нас разные: катерок вверх, Людмила вниз, и наоборот, и я готов ходить кругами весь день около моей злой и неумной Афродиты. Но весь день нельзя. И я приближаюсь. Мои способности управлять катером далеки от совершенства, и, опасаясь столкновения, я останавливаю катер метрах в пяти.

Она некоторое время смотрит на меня внимательно и спокойно, затем переворачивается и подплывает. На этот раз все у нас получается хуже. С моей помощью Людмила долго карабкается на борт, ее псевдолифчик не выдерживает напряжения, как мячики выскакивают груди. В ужасе от того, что это совершенство природы может быть повреждено грубой материей катера, я хватаю Людмилу подмышки и рывком втаскиваю на катер. Рывок излишне силен, и мы оба падаем на сидение, и не помню, кто первый, но через минуту хохочем оба, она даже не спешит привести себя в порядок, я взглядом напоминаю ей, изящное движение - и мячики в прикрытии. Чистая фикция, но как-то спокойнее...

Потом мы сидим в каюте. Людмила, наконец, в халатике, хотя и весьма сатанинском. Мы пьем немного вина, перекусываем, потом пьем кофе из термоса с китайскими розами. И говорим, говорим... Нет, не точно. Я говорю. Я

рассказываю ей свою жизнь. Вот до чего дошло! Мне есть что рассказать, ей послушать. Я сколько могу, контролирую себя, чтобы не впасть в Отеллов комплекс, мне ведь вовсе не нужно, чтобы она меня за муки полюбила, мне вообще от нее ничего не нужно, но говорю, говорю, как давно не говорил. Рассказываю о своих орденах. Мои ордена - это процессы, лагеря, тюрьмы. Но вехи мои - поиски, ошибки и находки, и об этом я тоже говорю, яснее ясного понимая неподготовленность аудитории и вопиющую неуместность исповеди. Говорю и пытаюсь понять, почему и зачем это делаю. Неужели только для того, чтобы произвести впечатление! Неужели я еще способен на такую дешевую игру? Но ведь греет же мне сердце ее удивленный, растерянный взгляд, ее тонкие пальцы на подбородке, и вся поза, увы! - поза Дездемоны.

Понимаю, что все это пошло, понимаю, что вползаю в соплячество, но знаю, что никто из уважающих меня не увидит этой сцены, не узнает о ней, а потом, после я еще неоднократно докажу себе и другим свою возрастную состоятельность.

К тому же, как-никак, я открываю ей другой мир, о котором она не слышала, о ценностях этого мира. Кто знает, вдруг что-то западет в душу, и душа оглядится по сторонам и увидит мир в иных параметрах. Я пытаюсь объяснить ей, как это радостно жить в полном согласии со своим пониманием правды, не подделываться под другую, какой восторг бывает в сердце, когда свершаешь вызов могучим силам лжи, какое наслаждение испытываешь, когда тебя гнут, а ты гнешься, но не ломаешься, и

злоба на лице врага твоего, как об стенку расшибается о твое упрямство.

О дурных минутах говорю тоже, когда вызревают в мозгу мысли слабости, когда компромисс вдруг перестает называться компромиссом, а именуется тактикой, стратегией и еще чёрт знает чем, когда подлость червяком вбуривается в душу, как давишь его и топчешь, и радость победы над слабостью – разве что-нибудь сравнится с ней!

Хвост мой павлиний ярок и пышен. И когда мне кажется, что девчонка уже вполне одурела от многоцветья, замолкаю. Замолкание совпадает со временем, когда мне нужно быть в другом месте, в моем санатории. Я и так напропускал процедур... Уже на берегу она говорит:

– А я была уверена, что все, кто политикой занимаются, шизики или импотенты.

Вот таким образом она подводит итог моей исповеди. Я не нахожу, что сказать. Она спрашивает:

– Вы в каком санатории?

Я называю, а она вдруг смеется.

– Я так и думала!

– Что вы думали?

– До свиданья! – кричит она, уже убегая.

Какой-то нехороший осадок в душе остается после ее последних слов, и особенно от ее смеха. Чем-то этот смех не хорош, но чем, мне не догадаться. И со слегка подпорченным настроением я поднимаюсь в гору к моему месту обитания.

Наверху аллеи останавливаюсь. Подо мной кипение зелени. Кипарисы и прочие нерусские деревья, коим даже названия не знаю. А дальше

зелени – синь до самого горизонта. Море. Отсюда, издали и сверху, оно вообще не воспринимается, как нечто существующее особо от прочих земных предметов. Пространство цвета, и не более. Но в чем-то мое отношение к морю иное, чем, положим, вчера и ранее. Между нами – мной и морем – появилась связь, и я готов согласиться, что эта связь скорее добрая, чем какая-либо другая. Скорее всего, море более не существует для меня само по себе, оно связано со всем, что произошло сегодня, хотя менее всего я готов признать, что сегодня произошло нечто, достойное именоваться событием. Тем более, что последний аккорд прозвучал весьма сомнительно. Что означал ее смех? И этот вопрос о санатории? Две Людмилы стояли перед глазами: слушающая меня и смеющаяся мне в лицо. Но скажем: "Девчонка!" и поставим на этом точку.

#### 4

Вечером этого же дня на меня нападает хандра. Этот тип хандры мне хорошо известен и понятен. В основе его – недовольство собой, очень хитрое недовольство, то есть, это когда одной частью сознания понимаешь, что совершил какую-то глупость, а другой частью усиленно сопротивляешься тому, чтобы четко сформулировать эту глупость. Такой своеобразный способ полупокаяния, оставляющий кающемуся возможность до конца не признаваться в грехе. В сущности, это состояние паралича сознания, потому что воля отключена начисто, а что такое сознание без воли? Фикция.



Но сегодня я пытаюсь преодолеть тупик тоски единственно возможным приемом – называть ее по имени.

Все, что сегодня произошло в море, есть самая низкопробная пошлость, чуждая всему характеру моей жизни. Я вел себя, как щенок. Конечно же, имеется в виду моя нелепая и постыдная исповедь, да и не исповедь это была, а бахвальство перед красивой девкой, и более того, это было враньем, потому что подавал я в основном сливки, а молочко осталось за кадром. Вовсе не прямо и однонаправленно прошла моя жизнь, да и разве из одного политического упрямства она состояла? Были женщины, было увлечение пустяками, были лень, и апатия, и беспорядочность бытия. Бывал страх и непреодолимые искушения, то есть все, что сопутствует любой и всякой человеческой судьбе, судьбе обычной. Сам-то я понимаю, что действительно необычной должна быть судьба, когда в ней нет суеты и пустоделницы ни в одном дне. Такая жизнь – подвиг. И это не про меня.

К тому же я не погиб, как другие, и дожил до более интересных времен...

Итак, подвожу итог – нынешний день зачеркиваем, перечеркиваем красным карандашом, как грамматическую ошибку в диктанте жизни. Просто перечеркиваем, потому что ошибки жизни, как правило, не доступны исправлению, и только красная черта на странице должна остаться шрамом напоминания и укора. Это не первый мой сбой в жизни и не последний. Перечеркиваем.

В моей палате никого нет, а мне более не нужно одиночества. Я выхожу из корпуса и

иду на музыку, ухающую и ахающую откуда-то сверху из-за аллея.

На танцплощадке курортники. Мужчины и женщины почти моего возраста. Вторых много больше, и потому уже через пару минут ко мне подходит немолодая женщина, разодетая на вечерний выход, благоухающая изысканными духами и так искусно законспирированная косметикой, что при вечернем освещении вполне может сойти за тридцатилетнюю.

- Потанцуем? - говорит она просто и хорошо. И мне стыдно и противно, что не могу помочь ей в ее одиночество. Хлопотно пытаюсь объяснить ей, что не умею, что, дескать, не помню, когда танцевал последний раз, а когда этот последний раз был, были совсем другие танцы.

- Да разве нужно уметь делать все это? - говорит она недоверчиво.

Мы стоим рядом и смотрим. Поколение пятидесятых и шестидесятых, бухгалтера, начальники отделов, костюмерши, завучи и даже несколько, судя по осанке, ответственных лиц из ведомств среднего уровня топчутся, машут руками, крутят ногами и изо всех сил изображают из себя молодых и современных, а может, не изображают, может, им просто весело и радостно от того, что они, каждый из них, там, где их никто не знает, и можно слегка распоясаться, покривляться, пофлиртовать, отдохнуть от сослуживцев, начальников, от любящих и нелюбящих - ото всех, с кем повязан обязательствами поведения. Тщательное подражание молодежным танцам скорее карикатурно, потому что никогда этим поколениям не освободиться до конца от скованности и всех про-

чих характеристик той эпохи, которой они принадлежат.

Уже вызревает на страницах прессы проклятие этой эпохе, а как быть с людьми, у них другой эпохи уже не будет, их приспособление к новому обречено на пародийность.

Что до меня, в сущности, всю эту эпоху пробунтовавшего, то ловлю себя на неприязни к нынешней, вдруг объявившейся свободе. Есть нечто отчетливо лакейское в самом характере разрешенного свободомыслия. Всех этих нынешних голосистых я знаю и помню по прошлым временам, они были камуфляжем лжи, именно их выдвигали на рубежи и за рубежи для оболванивания "всего прогрессивного человечества". И непрогрессивного тоже. Ныне они — прокуроры пропавших поколений, вот этих, что выпясывают сейчас на курортной площадке, демонстрируя полную неспособность свою вписаться в новую эпоху.

"И не надо, — говорю, — не вписывайтесь! Доживайте, как можете, не противясь и не выпячиваясь. Противиться дурно, потому что время, кажется, право, а выпячиваться постыдно. Уйдите из истории с достоинством. Вам говорят: "Встаньте, дети, встаньте в круг и приступите к самофинансированию!" Милые мои, не упрямитесь! Вам ведь совсем немного осталось до пенсии. А там садово-огородный участок, программа "Время", поиски зубной пасты или туалетной бумаги, будут внуки потом, скучать не придется. И если у вашего дома будет хорошая скамеечка, я буду часто подсаживаться к вам и терпеливо слушать о былом порядке, о снижениях цен, о старых деньгах, о нынешней молодежи. В сущности, я ваш...

- А вальс вы танцуете?

Она смотрит на меня так, что повторный отказ будет просто хамством.

- Вы не обидитесь, если я буду не слишком пластичен?

Она хорошо смеется, и мы идем в толпу. Вальс нашей с ней молодости. И сначала не очень уверенно, подстраиваясь друг к другу, потом очень правильно, а затем уже легко и весело мы кружимся с ней, моей возможной одноклассницей. У нас тьма общего, хотя мы не говорим ни слова, или так, чепуху какую-нибудь, а мне очень славно, и только сейчас я осознаю, как прекрасен этот приморский вечер, ощущаю особенности запахов, и один из них запах моря... Нет, о море не нужно. Просто о вечере, о женщине и обо всем, что достоверно изначально, что имеет только одно имя и никаких подозрительных синонимов. Хорошо.

## 5

Следующим днем я добросовестно хожу на все и всяческие процедуры и от сознания своей добросовестности во второй половине дня чувствую себя значительно лучше и не сомневаюсь, что два десятка дней с таким режимом сделают меня практически здоровым. В приподнятом настроении в пятом часу иду к морю. И море для меня сегодня просто теплая вода, в которой так славно и легко. В ту сторону берега, где должен находиться катерок моих знакомых, - в ту сторону я не смотрю. Во-первых, все равно не увижу, это далеко, ну, а потом вчерашний день - это вчерашний. Он

прожит и, как прочитанная книга, поставлен в архив прожитого и пережитого. Через какое-то время я еще вспомню о нем, просмотрю весь по часам от утра до вечера и, может быть, обогащу себя ценными соображениями, из коих слагается житейская мудрость, столь необходимая человеку на последних порогах жизни, когда только и остается, что перебирать накопленную мудрость по единицам накопления, как чётки, и созерцать ее общественную бесполезность да горестно сокрушаться по поводу нелепой и печальной разобщенности поколений.

А что до моря, то все дело в том, видимо, что я приехал сюда с некоторой заданностью суждений, а нужно было всего лишь довериться первому впечатлению и чувствами, а не рассудком общаться с феноменом природы, ранее мне незнакомым.

Правда, сегодня появились медузы. Экая гадость! И народу! Народу! Все побережье, как одна огромная баня на пересылке. Я не кокетничаю подобным сравнением, им полно мое сознание и моя память. Годами жил я в мире, для меня столь же реальном, как для прочих всякие прочие реальности. Возможно, рассудочность без меры есть результат долгого отсутствия, и тогда это уже определенно дурно, ибо наверняка свидетельствует об атрофии непосредственного восприятия жизни.

И разве не так? Я хожу по прекраснейшему уголку государства и не испытываю никаких таких чувств, какие просто обязаны быть, ведь уголок действительно прекрасный, это засвидетельствовано миллионами, а если учесть, откуда я сюда прибыл, то должен я слепнуть от красок, блаженно задыхаться за-

пахами, радостно гложнуть от звуков и голосов. Но я, как во сне, когда собственный сон просматриваешь как бы со стороны той части сознания, которая только слегка дремлет, когда остальная часть спит и бредит видениями.

Однако, несмотря на некоторую, скажем, пришибленность моего состояния, я не могу не заметить конкретного влияния на меня всей этой праздничной пестроты побережья, ведь вокруг меня в основном люди отдыхающие, таковыми они бывают лишь месяц в году, для них этот месяц – праздник, а праздничное настроение не менее заразительное, чем прочие массовые настроения, тем более, что им вовсе не хочется противостоять.

Потому на третий день после моих морских приключений я уже реже и реже ловлю себя на желании пофилософствовать или даже просто мысленно потрепаться, скажем, на тему о море, хотя, если быть до конца честным, темы моря я избегаю сознательно, будто бы оставляю на потом, но именно в этот третий день мое "потом" неожиданно оборачивается в "сейчас".

В тот момент, когда я после обеда выхожу из столовой, ко мне притирается лет двенадцати девчушка с косичками и протягивает бумажку.

– Вам просили передать.

И убегает так мгновенно, что я не успеваю ни рассмотреть ее толком, ни ответить.

"Срочно жду вас на том же месте. Л."

– На каком "том же"? – вслух восклицаю и оглядываюсь. Но до меня никому нет дела, и я несколько раз перечитываю записку, успеваю отметить, что почерк у Людмилы безобразный, и это о чем-то должно говорить графологам,

мне же это не говорит ни о чем, и гораздо важнее сообразить сейчас, какое место она имеет в виду: коттедж, где я встретил ее с Валерой, или пристань, где паркуется катерок. Решаюсь на второе, иду немедленно и даже не стараюсь ответить на вопрос: а чего это я так спешу, и отчего уже несколько раз смазываю с лица идиотскую улыбку, и почему, наконец, ни капли досады не испытываю от того, что едва наступившая размеренность моего санаторного бытия вновь под реальной угрозой срыва.

На месте катера обнаруживаю "казанку" с подвесным мотором. За управлением Людмила, Валера же стоит по колено в воде и держит лодку поперек волны. Он нетерпеливо машет мне рукой, и я послушно снимаю сандалии, закатываю гачи брюк и залезаю в лодку, все же вымокнув почти по колено.

Никаких "здравствуйте". Едва Валера усаживается рядом со мной, лодка срывается с места и с ревом отшвыривает от нас берег с людьми, домами и субтропической зеленью. Совсем не много минут нужно этой бешеной лодчонке, чтобы оказаться в море, когда берег, скорее, иллюзия берега, а подлинная реальность вокруг – сине-зеленые волны и крохотная ладошка из плохонького металла – лодка наша с завывающим задом.

Мне смешно над собой. Я, как ребенок, рад видеть Людмилу и Валеру, я озабочен только тем, чтобы скрыть эту радость, чтобы иметь физиономию, подобающую моему возрасту, жизненному опыту и всему пережитому, ведь неуместно мне радоваться стремительному полету лодки над волнами и тому, как легко и

вдохновенно ведет ее моя красавица, небрежно обхватив рукой рулевую рукоять, устремив взгляд вперед, в море, и волосы ее на ветру... - ах ты, ведьма! Нет, что ни говори, а присутствие в мире красивых женщин, даже если они - орудие сатаны, присутствие их незаметно, а, может быть, и нужно, чтобы они напоминали о совершенстве форм соблазна в мире?.. Чушь, впрочем. Чушь и пошлость. Я почти уверен, что Людмила по самым серьезным критериям человек хороший, что дурное в ней наносно, что нужно только соответствующее стечение обстоятельств, чтобы выявилось добро ее природы, и когда-нибудь это произойдет непременно, ведь не зря же ей дано от природы столь много, хотя бы вот это удивительное сочетание античности профиля и простоты улыбки.

В данный момент, правда, улыбка не намечается. Живописные брови ее напряженно нацелены на переносицу, подбородок вздернут, и я не могу оторвать взгляда от линий ее шеи, нежной и стремительной, в последнем термине я не уверен, зато уверен, что впервые испытываю подлинно эстетическое восхищение от присутствия красивой женщины. Сейчас мне кажется, я мог бы самыми рациональными приемами доказать, что физическая красота человека - это всегда благо для всех, и не только никому не в укор, но, напротив, в оправдание случайных ошибок природы, сбоя гармонии, потому что источником радости и счастья может быть гораздо в большей степени общение с красотой, как с феноменом, чем принадлежность к нему или обладание им... Впрочем, тема может оказаться скользкой, а мне хочется остаться



на уровне трезвого созерцателя и спокойного ценителя, в такой позиции масса достоинств и главное из них – сохранение своего достоинства...

Вру, наверное. А как, будь я помоложе, не ринулся бы я в бой за эту красоту с кем угодно, хоть с этим красавцем, что справа от меня? Не исполняю ли я роль известной лисицы перед неким виноградом? Грустно.

Кстати, взглянув на Валеру, замечаю и на его лице ту же напряженность, что у Людмилы, и тут только догадываюсь, что приглашен не на прогулку, а на разговор, и предположение оправдывается немедленно. Глохнет мотор, и вся синь Людмилиных глаз обращена на меня, а Валера прикашливает сбоку не то деловито, не то смущенно.

– Что-нибудь случилось? – спрашиваю Людмилу, помогая ей. И тут же благодарный взмах ресниц.

– Знаете, я рассказала Валере о Вас, ну, что Вы прошлый раз... какая у Вас жизнь была и вообще...

Я принужденно хмурюсь и озабочен единственно тем, чтобы не покраснеть. Стыд за дурацкую исповедь просто душит меня, я даже будто глохну от стыда и оттого плохо слышу Людмилу.

– Мы с Валерой решили, что кроме Вас нам никто помочь не может. И полно вроде друзей, а довериться сейчас никому не можем.

– В чем дело-то? – спрашиваю с нарочитым спокойствием и даже небрежностью.

– У мамы плохо... Ну, в общем, и у нас тоже... Дом опечатали, машину забрали, катер только успели сплавить... Но не в этом дело...

Есть шанс ей помочь, ну, маме, то есть... Валерка, может, ты?

Конечно, Валера наверняка более толково может объяснить суть, но мне все же хочется, чтобы говорила Людмила, и я торопливо пресекаю Валерину готовность вступить в разговор.

- Если я могу быть полезен... если Вы так считаете, то говорите просто и ясно, что нужно сделать.

Интересно, а что я могу сделать? Помогите, решительно ничего. А жаль. Но пусть говорит, а вдруг...

Людмила колеблется и при этом пристально смотрит мне в глаза, в ее взгляде что-то незнакомое мне, возможно, я впервые вижу ее такой серьезной, да и что, собственно, я о ней знаю как о человеке? Наверное, потому я немного взволнован и разговора жду, как радость, то есть, если я взволнован, то радостно, очень хочется оказаться полезным.

- Понимаете, маме могут дать условно, это же почти свобода... Нужно сдать деньги...

- Деньги! - восклицаю я в отчаянии. - Да я их даже украсть не умею, не только иметь!

Моя реплика приводит Людмилу в замешательство, она оглядывается на Валеру, у него почему-то улыбка на лице, и почему-то Людмила в ярости от этой улыбки. Между ними в пару секунд разыгрывается непонятная мне пантомима, но все это только секунды.

- Вы не поняли. Конечно, не о Ваших деньгах речь. Сдать нужно полмиллиона...

- Сколько? - переспрашиваю, охрипнув.

- Они есть, эти деньги, - торопливо поясняет Людмила, - есть в одном месте... И если их

сдать следствию, то маму практически выпустят.

Я все еще полностью не пришел в себя от суммы, но с сомнением качаю головой.

- Что-то я не слышал, чтобы людей, оперирующих такими суммами, выпускали. Снизить срок - это еще куда ни шло...

Взгляд Людмилы тревожен. И я не хочу передавать ей фразу оперативника относительно "червонца", что определенно уготован ее матери.

- Им очень важно найти эти деньги, но они их никогда не найдут.

- Они принадлежат Вашей матери? - спрашиваю осторожно, ведь кто знает, какие в их мире правила относительно обмена информацией. Уловив колебание, спешу поправиться.

- Ради Бога, не говорите ничего, что мне не нужно знать, я только хочу понять ситуацию.

- Вам мы можем сказать все, я теперь знаю, Вы не из тех, кто продает.

Комплимент весьма сомнительный, я предпочитаю не реагировать на него.

- Эти деньги из дела, понимаете, ну, из общего дела... Я не знаю, как Вам объяснить.

- Из дела. Это я понимаю. И что дальше?

- Их нужно взять, - говорит Людмила тихо и почти моляще смотрит мне в глаза.

- Каким образом?

- Господи, Людка, - теряет терпение Валера, - кончай темнить. Украсть нужно эти деньги, вот что.

- И отдать государству, - поспешно комментирует Людмила.

- Еще можно сказать: изъять и вернуть

государству, – с усмешкой бурчит Валера.

– Веселенькое дело, – цежу я, пытаюсь ускользнуть от Людмилиных зрачков.

– Понимаете, мне участвовать в этом нельзя, у меня должно быть железное алиби, иначе они меня убьют.

– Кто?

– Ну, эти, у кого деньги. А Валерка один не справится, нужно, чтоб его кто-то подстраховал. Вас никто не знает. А больше мы никому довериться не можем...

– Знаете что, – говорю я, – слишком много информации сразу и слишком жарко. Давайте-ка искупаемся, а потом продолжим разговор.

Мое предложение принимается активно, но я все же успеваю выброситься первым, при этом чуть не опрокидываю лодку и отбиваю ноги о борт. Боль отрезвляет меня совершенно, то есть включает мозг и выключает эмоции. Я спешу отплыть подальше и хотя бы условно оказаться одному, мне это очень нужно, немного мешают волны, мне бы сейчас полный штиль, чтобы не трепыхаться на спаде волны...

Итак, мероприятие, в которое меня вовлекают мои юные друзья, весьма сомнительно по характеру. Но прежде всего я должен ответить на вопрос: что будет, если я откажусь? По всем правилам, то есть по правилам моей жизни, я должен отказаться. С какой стати я должен нырять в чужую грязь? В сущности, предстоит совершить грабеж награбленного. Однажды на государственном уровне был благословлен этот лозунг и этот прием реализации справедливости. Справедливость не реализовалась, но породила зло, неслыханное в истории. Но это в государственном масштабе.

Здесь же конкретный случай: нужно помочь женщине, той самой, которую я уже спас от смерти. А теперь от тюрьмы?

А если я решусь на отказ, то как он должен прозвучать...

Додумать я не успеваю, вскрикиваю от боли в боку. Рядом со мной трепыхается огромная медуза, о Боже, и не одна! Я дергаюсь одной ногой, другой, обожжено плечо, в ужасе от этой морской мерзости я кидаюсь к лодке. Валера подсаживает меня из воды, Людмила тянет за руку. Мне предлагается какая-то мазь, я остервенело мажусь, проклиная море, медуз, осьминогов, электрических скатов, акул — это вслух, а для себя у меня только одна мысль, что купанье придумал зря, потому что с самого начала знал, что пойду на это дело, и более того, если бы они, мои со-вратители, вдруг передумали бы сейчас относительно моего участия, то я бы настаивал и убедил их, что без меня им с этим делом (о котором у меня еще и представления нет), не справиться. Много могу назвать рациональных причин моего согласия, но главная причина иррациональна: почти всю свою сознательную жизнь я бродил тропами риска, эпоха вывернулась наизнанку и оставила меня за бортом, я ведь разучился жить спокойно, как все, максимализм поведения стал моей нормой, а нынче эта норма потеряла содержание, и я мгновенно состарился. Никто этого не заметил, ни друзья, ни близкие. Но я это знаю. И потому невозможно мне пройти мимо дела, моральная сторона которого мутна, но зато конкретна суть...

А может, опять вру? Может, просто ради красивой девчонки?

- Рассказывайте, - сердито говорю Людмиле.

- Что?

- Как что? Где деньги, как взять, куда нести, кому отдать?

- Ну, что Вы, что Вы! - возмущенно протестует Людмила. - Мы и не собирались валить на Вас это дело. Да Вы и не сможете... Нужно только подстраховать Валеру. Так Вы согласны?

Я разочарован. Что значит "да Вы и не сможете"! Как-то обидно даже. Но в конце концов, им видней.

- Давайте конкретно, что от меня требуется.

Людмила садится на корточки передо мной так, что я как бы над ней. Я смотрю ей в глаза и никуда больше, но, Боже, никогда не подозревал, как широк у меня угол зрения, хоть прищуривайся.

- Деньги в тайнике в одном доме. Завтра ночью в доме никого не будет. Валерка зайдет в дом, а Вы в саду его подстрахуете, хозяин иногда через сад возвращается и уходит тоже. Это как бы, ну, черный ход. В случае, если милиция... Встречаться Вы не будете ни перед, ни после, каждый пойдет сам по себе в определенное время. Там нужно быть всего полчаса. Потом разойдетесь. Вас мы найдем сами. После...

Надо бы спросить, гарантирован ли уход хозяина, действительно ли достаточно полчаса, но понимаю, что вопросы излишни. Людмила открывается мне какой-то другой своей стороной, о которой я не догадывался. Это не просто деловитость. Что она своего не упустит, это я

понял сразу. Новая черта в ней – надежность, качество, всегда ценимое мною и так редко встречающееся в людях, иногда весьма деловых.

– Мы Вам сейчас покажем этот дом. С моря его хорошо видно. Только немного пройдем берегом.

Мы перетасовываемся в лодке и снова занимаем свои места. Я с Валерой на сидении впереди, Людмила у руля. Не успеваю заметить, как она закладывает стартерный шнурок, вижу только рывок, он произведен профессионально и изящно, еще секунда, и мы несемся вдоль берега, который виден прекрасно, все его аллеи и дворцы-санатории, и гостиницы, и отдельные дома, но все же рассмотреть отдельный дом, да если он еще окружен садом, – я сомневаюсь в целесообразности такого осмотра, но недооцениваю толковости моих друзей. В руках Валеры появляется громадный морской бинокль не иначе как военных времен. Именно этот аргумент оказывается для меня решающим во всех мелькающих в моей голове сомнениях по поводу успеха нашего завтрашнего предприятия. Я совершенно спокоен.

Глохнет мотор, и все мы смотрим на город.

– Трубу видите, – показывает Валера, – теперь правее, правее, дом с красной крышей, а через дорогу дом с мансардой. Тот самый.

Он подает мне бинокль. Я долго вожу его туда-сюда, и, наконец, натыкаюсь на дом с мансардой, он рядом, будто в полста шагах. И сад. Даже калитку с тыла умудряюсь рассмотреть. Валера как раз рассказывает, как эта калитка открывается. Это очень странно, что нет собаки. Валера уверяет, что нет. Очень странно. Собака должна быть.

Валера рассказывает, как мне кратчайшим путем пройти от санатория до дома. Я просматриваю в бинокль улицы и проулки, интересуюсь их освещенностью. Предлагаю проделать этот путь днем, чтобы ночью идти уверенно, но мне не советуют этого делать, потому что некоторые из этих проулков почти не посещаемы чужими, и меня случайно может запомнить какой-нибудь местный житель. Я считаю, что это чрезмерная осторожность, но соглашаюсь и добросовестно изучаю ориентиры для ночного прохода, которые мне объясняет Валера.

В сущности, дело пустяковое. В одиннадцать тридцать я должен выйти из санатория и, не спеша, к двенадцати быть у калитки. Ровно в двенадцать я должен войти в сад и пробыть там полчаса. В случае чрезвычайной ситуации, имеется в виду возвращение хозяина, я в силу моих способностей изображаю свист, перемарширую через невысокий забор около флигеля и исчезаю в темном переулке. Валера и Людмила категорически исключают такой вариант, но их категоричность все же не набирает одного процента до ста, а они хотят исключить из возможного даже случайность.

Честно говоря, не все мне здесь понятно. Хотя бы, например, почему подстраховывать Валеру нужно только с одной стороны, с тылу. Если речь идет о роковой случайности, она может объявиться и с парадного входа. И еще кое-что... Но я ни о чем не спрашиваю, почему-то доверяя именно Людмиле, а не ее другу, доверяю в том смысле, что предполагаю ее автором проекта в целом. Женщина, которая может так держать руль моторной лодки, — у нее мертвая хватка в делах, представляющих ее



собственный интерес. Она слишком трезва для необоснованного риска и не столь коварна, чтобы подставлять чужого человека, спасшего ее мать.

Еще некоторое время смотрю в бинокль, хотя это уже лишнее. Несколько огорчительна простота всего предстоящего, но знаю из личного опыта, что чем проще дело, чем оно конкретнее, тем реальнее результат. Не верю, что деньги принесут свободу бывшей самоубийце. Оперативники, подкинув Людмиле идею сдачи денег, лишь облегчили свою задачу, заведомо обманув девчонку. Но положительным и конкретным результатом предстоящей авантюры я считаю не свободу Людмилиной матери, тем более, что, как мне представляется, там все сложнее, если учитывать всякие личные обстоятельства, тот треугольничек, что промеж них сложился. Нет. Результат - это дочь хочет спасти мать. Бывший любовник хочет спасти брошенную им женщину. Любовник хочет спасти мать своей любовницы. Любое из этих трех измерений - морально. В действии предполагается риск. Я своим участием могу свести этот риск до минимума.

Однако что-то много рассуждаю. Это тревожит. Я ведь себя знаю. Обычно после принятия какого-либо конкретного решения всегда испытываю легкость и повышенную восприимчивость ко всему, что не имеет отношения к делу. А тут все пялюсь и пялюсь на домик с флигелем и мну в руках морской бинокль. И друзья мои притихли. Не слышу их. Может быть, подозревают во мне нерешительность или сомневаются в надежности? Спешу успокоить их,

поворачиваюсь и успеваю заметить быстрое размыкание взглядов Людмилы и Валеры. Застигнутые, они пытаются изобразить доверие и деловитость. Людмиле это дается труднее, она этим рассержена, и улыбка на ее лице вызывает во мне противоречивое чувство нежности и раздражения одновременно.

— Моя функция в вашем предприятии элементарна и можете не тревожиться на этот счет. Думаю, что нам целесообразно расстаться сейчас. Надеюсь, что в случае каких-либо изменений вы найдете возможность известить меня.

Они заверяют и несколько обескуражены сухостью моего тона.

До берега мы добираемся быстро. Валера остается в лодке, а Людмила выпрыгивает вместе со мной. Я подаю ей руку, но она вдруг кидается мне на шею.

— Я стопроцентно знала, что Вы согласитесь!

И тут она целует меня тем коварным поцелуем, в котором вроде бы одна дружеская симпатия, но вот оно, утонченное искусство женских губ! Этот поцелуй остается как бы запечатленным и будет помниться тем уголком памяти, где прячется все самое иррациональное, не поддающееся анализу и определению, но способное к воздействию на сознание в чрезвычайно ответственных ситуациях, когда человек нуждается в исключительной трезвости мысли.

”Спекулянтка!” — хочу сказать ей, но, конечно же, не говорю и ухожу с таким видом, будто красивые женщины целуют меня так часто, что я, право, этим пресытился уже много лет назад. Впрочем, уверен, что видом сво-

им я ее не обманул и что она знает обо мне больше, чем я сам.

Пройдя по набережной, прежде чем свернуть в проулок к санаторию, уже по привычке прощаюсь с морем.

”Ну что ж, – говорю, – всем, что уже произошло и что еще произойдет, я обязан тебе, мировая свалка ашдвао. И от того, чем все закончится, зависит характер нашего будущего прощания и специфика моих воспоминаний о тебе. Трепещи! Ты можешь не состояться, как положительный феномен материи, если я не определю тебя таковым, ведь весь мир, и ты в том числе, всего лишь комплекс моих впечатлений. Я не капризен, но и без снисходительности. Безмозглость твоего колыхания от берегов до берегов за смягчающее обстоятельство принято не будет”.

Потоки южного солнца падают на поверхность моря и дарят ему цвет. Они же дарят ему и тепло и жизнь жизнью живущих. Люди еще щедрее. Они дарят морю личность. Я же с этим не тороплюсь, потому что не хочу как все, а только как я...

В вестибюле санатория меня поджидает сюрприз в лице уже знакомого мне оперативника. Он жмет мне руку с таким удовольствием на лице, словно я только что повысил его в звании.

– Видите, как мне везет, – сообщает он радостно, – только что пришел, пяти минут не прошло, и Вы...

Он так радуется своей удаче, что у меня возникает подозрение, не сидел ли он у меня на хвосте с самого утра? А в санатории ока-

зался первым, отработав двухсотметровку по обходной аллее.

- Не против, если поговорим?

- Отчего же, - отвечаю. - Всегда приятно поговорить с интересным человеком.

Он смеется, потому что плевать хотел на двусмысленные остроты. Мы проходим в уголок вестибюля и разваливаемся в креслах друг против друга.

- Ну, как отдыхается?

- Нормально. Да, кстати, - спрашиваю вдруг, - не скажете мне, Вы ведь местный или, по крайней мере, все здесь знаете, вот этот санаторий чем-нибудь принципиально отличается от всех остальных?

Он пожимает плечами.

- Он самый старый, менее комфортабельный, ну и соответственно, дешевый. А что?

"Я так и знала!" - сказала Людмила, когда я ответил на ее вопрос. И засмеялась. Почему она это знала? И почему смеялась? Над этим теперь нужно думать. Обязательно думать. Тревожно что-то. И совсем не хочется разговаривать...

- Утопленница наша чувствует себя хорошо. Это, наверное, Вам интересно. Вы, так сказать, ее крестный!

Опять улыбается. Очаровательны эти служебные улыбки наших доблестных сотрудников доблестных органов.

- Если не ошибаюсь, - отвечаю, - в Вашем мире крестными зовутся те, кто сажает.

- Ну, это в нашем!

- Как у нее настроение?

- Как у подследственной. Понемногу гово-

рит, ну, то есть, дает показания. Она уже не в больнице, Вы понимаете.

- Понимаю.

Он меняет позу с вольготной на деловую. На лице предельная доверительность.

- Кругами ходить не буду. Хотя Вы и были в роли спасающего, а все равно мы должны были Вами, так сказать, поинтересоваться. Знаете, всякое бывает в такой ситуации. Скажу Вам по секрету, - он подмигивает мне, - что кое-кто у нас там отпал, когда читал справочку на Вас. Интересно бы просто так поговорить... Впервые встречаю человека с такой биографией. Вы ведь, так сказать, не по нашему ведомству проходили...

Не помогаю ему ни репликами, ни взглядом, но, похоже, затруднений он не испытывает.

- Вы встречаетесь с дочкой Веры Антоновны. - Он разводит руками, что означает, - служба, мол! - Прямо скажу, не очень рассчитываю на Вашу помощь, я ведь тоже читал ту справочку, нет у Вас оснований нам симпатизировать, хотя мы и не то ведомство, а все-таки попросить Вас о помощи попытаюсь. Терять-то нечего.

- Терять нечего, - соглашаюсь. - Насчет помощи не обещаю, а вот если бы Вы рассказали мне что-нибудь об этом семействе без обязательств с моей стороны, был бы признателен.

Он почему-то обрадован моей просьбе и, словно совершив первую запланированную победу, откидывается в кресле.

- Это можно. Семейка, скажем прямо, гнилая. Мамаша - хищница союзного масштаба. Ниточки в Москву и дальше. Красивая баба - и это не самое последнее ее оружие. Шлюхой не

назовешь, но постелькой пользовалась, когда дела стопорились. Дочка вся в мамашу...

Что-то в моем взгляде, наверное, мелькнуло такое, что он запнулся.

- Ну, не в полном смысле, конечно... Но все равно в моральном смысле у них сплошной плюрализм, так сказать. Аполлончик ихний, Вы с ним познакомились, умудряется спать с обеими, типичный этот, опять слово забыл, хорошее слово, точное, но всякий раз, когда надо, забываю... Ну, который за счет бабы живет... Альфред, Адольф, Аскольд...

- Альфонс, - подсказываю.

- Ну да. Конкретно у нас за ним ничего не числится. А жаль.

- Что жаль? - спрашиваю не очень дружелюбно.

- Сейчас, когда мамаша, так сказать, накрылась, он с дочкой спелся, а вдвоем они много нам хлопот доставить могут.

- А ошибку в своих рассуждениях не допускаете?

- Да какие там ошибки!

Он вдруг нахмурился, стал серьезен, даже зол.

- Камешки где-то осели. Без дочки там не обошлось. Мамаша говорить-то говорит, но начку не сдает. И вообще, мы малость поторопились, ниточки, как в туман, уходят. Один конец есть, другого нет.

Веселость и дружелюбие, как маску, снял.

- То, что Вы были властью недовольны, это Ваше дело. Но ворами Вам восхищаться тоже вроде бы не с руки. Так или нет?

- Разве я высказывался на эту тему? И

уточните, пожалуйста, в каком качестве Вы хотели бы меня использовать?

Он морщится.

- Использовать! Ну, зачем такие слова! Слово - хитрая штука. Произнесено правильно, а понять разное можно. Тут ведь все зависит от Вашего отношения.

- К чему? Или к кому?

- Например, к доносительству. Ага! Вот видите! Аж перекосило. Вот как слово звучит. А у нас, к примеру, есть сведения, что дочка с этим пижоном чего-то готовят и ведут себя при этом вполне профессионально.

Тут, конечно, я не смог сдержать улыбки. А сыщик всерьез озаботился. Не понравилась ему моя улыбка так же, как мне его осведомленность.

- На всякий случай... - голос его звучит угрюмо и уже без особого доброжелательства, - ...хоть Вы и не новичок в делах, напомню Вам о том, что в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за доноительство, то есть, иными словами, за сокрытие преступления или умысла на него. Не в порядке угрозы говорю. Честное слово! Не знаете Вы этих людей. Вы же в политических лагерях сидели, с уголовной публикой опыта общения нет. Смотрите, можете влипнуть в историю и не отмажетесь.

Что-то мне нужно ему сказать. Дальнейшее молчание только поощрит его подозрения.

- Если предположить, что я оказался в ситуации, о которой Вы меня предупреждаете, то нетрудно вычислить линию моего поведения. Ничтожна вероятность, чтобы я обратился к Вам. Скорее всего я постарался бы предотвратить

преступление, когда убедился бы в неминуемости его совершения.

Теперь он смотрит на меня, как я бы мог смотреть на него с учетом разницы наших возрастов.

- Ну да! Это самое худшее, что Вы можете сделать! Знаете, что я Вам посоветую, коли Вы такой пряменький? Прекратите это знакомство. Я ведь не могу сказать Вам всего, что знаю.

- Я непременно приму к сведению Ваш совет.

У него уже каменное лицо. Сейчас мы расстанемся. Но меня вдруг одолевает любопытство.

- А не позволите ли Вы мне спросить Вас кое о чем, к делу не относящемуся?

Он вяло пожимает плечами.

- Ну, пожалуйста.

- Вот я на днях прошелся по местным торговым точкам и нигде не видел, ну, положим, такого вот костюма, что на Вас. Если бы я захотел выглядеть столь же изящно, что Вы могли бы мне посоветовать?

До него явно не доходит смысл моего вопроса, и он опрометчиво спешит с ответом.

- Случайная удача. Брал с рук.

- У спекулянта? - втыкаю тут же.

Наконец, усек, но замешкался лишь на мгновение.

- Ну, почему обязательно у спекулянта?

- Так что же мы делаем? - "мы" употребляю специально, чтобы смягчить каверзу. - В пылу служебного рвения рубим сук, на котором сидим? Или надеемся, что на нашу долю спекулянтов останется? Ведь туфли, как я могу догадаться, просто великолепные туфли, - они тоже с рук?



Молодец! По улыбке его вижу, что он не из тех, кого можно подсесть формальной логикой.

- Если бы мы враз посадили всех спекулянтов и перекупщиков, от этого в первую очередь пострадали бы честные советские граждане. Спекуляция спекуляции рознь.

- Значит, наша с Вами общая знакомая из той категории, которая "рознь"?

- Именно! - восклицает он весело. - Вот Вы слышали, что существует массаж пятками?

- То есть?

- Очень просто. Вы ложитесь на ковер животом вниз, а массажист укладывается поперек и начинает колотить Вас пятками по хребтине. Больновато, но полезно. И совсем другое дело, когда Вас кто-то собьет с ног и начнет пинать по бокам. Это уже опасно.

- Знаете, - отвечаю совершенно серьезно, - Ленин никогда бы не сказал о Вас, как о Бухарине, что тот ни черта не смыслил в диалектике.

- Вы что, очень не любите спекулянтов? - спрашивает игриво.

- Никогда не задумывался над этим вопросом.

- Если продолжите контакты с нашими подопечными - как бы не пришлось задуматься.

Эта фраза произносится стоя и тем самым не обязательна к ответу. Мы жмем руки, и сыщик быстрым шагом направляется к выходу. Я иду наверх в свою палату и к большому удовольствию нахожу ее пустой.

У меня прекрасное настроение. И причины мне его понятны. Местных сыщиков ждет сюрприз. Полмиллиона упадет им в руки и не без моего участия. Меня даже не тревожит, что

Людмила будет обманута в своих ожиданиях. Разумеется, мать ее не выпустят. Возможно даже, этот обман ожесточит и Людмилу и ее кавалера, но после этого шага у них уже не будет дороги назад, в ту публику, откуда выдернута ее мать. Наверное, им нужно будет уехать отсюда, и тут я могу быть им полезен.

Но это еще не все причины моего хорошего настроения.

Завтрашним мероприятием будет схвачено за нос полицейское мировоззрение. Эта тема меня волнует давно. Полицейская психология или психология полицейских – явление социально удостоверенное и общественно-полезное, когда оно как частный случай. И только у нас произошло невероятное: полицейская психология стала государственной и хуже того – общенародной. В этом отношении рафинированный интеллигент мало чем отличается, скажем, от вахтера. Один говорит: "Не суйся, не положено!" Второй отвечает: "А я и не суюсь. Знаю, что не положено. А которые суются, то честолюбцы, авантюристы, и вообще это несерьезно".

"Видишь вон того, – говорит вахтер, – я его знаю, он подозрительный". "Я его не знаю, – говорит интеллигент, – но очень может быть".

Удивительную социальную гармонию смастерили мы под чутким руководством впередсмотрящих. Правда, сегодня моден тип сердито-взадсмотрящих. Фонтаны правды извергаются относительно того, что сзади. И только наши нынешние "органы", как продукт непорочного зачатия... их просто как бы нет. Их как бы нигде нет, потому что они как бы везде есть, а мы их как бы не видим, потому что у нас своих глаз давно уже нет, а только их гла-

за, которыми мы и всматриваемся в жизнь и отбираем сами, без подсказки, что дозволено, а что еще нет.

А сегодняшний умный отличается от вчерашнего умного тем, что вчерашний лучше других знал, чего нельзя, а сегодняшний лучше других и раньше других соображает, что уже можно.

А где-то в невидимости пребывает некто и тактично корректирует догадливых и отважных. Свобода!

Еще не очень хорошо понимаю, каким образом увязывается завтрашнее мероприятие со всем комплексом моих антиполицейских эмоций, но азарт, овладевший мной, – верный симптом того, что увязка имеется.

Задаю себе прямой вопрос: что более всего убеждает меня в положительности моих новых знакомых, в той положительности, которая как бы густо ни обросла перьями порока, способна обнажиться в подходящей ситуации и стать стержнем возрождения или обновления души? Так что же?

Ну, во-первых, невозможно поверить, что внешнее совершенство может быть только рекламой зла. И все же не это главное в моем оптимизме. Долго думаю, как сформулировать "главное", и прихожу к четкому словосочетанию: протестантизм мышления. Ну, а если не говорить красиво, но говорить искренне, то мне импонирует их негативное отношение к власти. Что оно негативное в полном смысле этого слова, то есть не несущее в себе никаких конструктивных начал, не смущает меня, ведь они так молоды, а в молодости всякий протест начинается с брани. Главное – чтобы брань не превратилась в способ мышления и тип отно-

шения к миру. Тогда цинизм, как ржавчина, разъест душу и превратит ее в помойку. Но я уверен, что бранящемуся всегда открыт путь к конструктивному образу жизни, чего не скажешь о равнодушном и хладнокровном. И конечно же, таковой теорией я защищаю и оправдываю самого себя, вот уж воистину никогда не страдавшего хладнокровием.

По отношению к моим новым знакомым я, наверное, сейчас не совсем честен. Возможно, я обязан был объяснить им, что сдача денег не спасет Людмилину мать от тюрьмы, факт сдачи может лишь обернуться крохотным смягчающим обстоятельством, но и в нем есть смысл. Но даже если бы и его не было, я все равно не стал бы их отговаривать, потому что они хотя и совершить поступок ради блага другого человека, а разве не с такого поступка начинается всякое возрождение. Надо только однажды почувствовать вкус к добру, к жертвенности, к бескорыстию, и вот тебе новая жизнь без всякого насилия над собственной волей, и гордыне тогда не прокрасться в сознание, потому что перерождение происходит естественным, так сказать, путем. Это эволюция от недостаточности добра к его обретению, к вращанию в него, к приобщению к нему.

Еще сейчас мне хочется думать так: красивая женщина (я мог бы говорить и о мужчине, но что-то противится во мне...) – это ведь, в сущности, такое же явление природы, как, скажем, красивый пейзаж. Мы им любуемся и не предъявляем никаких претензий. Наше любовное лишение морализирования, оно эстетическое по определению. То есть, женская красота – это некая ценность, к которой следует отно-

ситься как к достоянию, а всякое достояние подлежит некоему обеспечению. Разве в Нефертити что-нибудь интересует нас, кроме самого факта ее существования. Мы надеемся, что ее супруг фараон знал цену красоты своей жены, оберегал ее, хранил как достояние и увековечил ее для нас, будучи убежденным в том, что имеет дело с явлением вечной ценности.

Или вот Людмила. Ведь не о Нефертити я думаю, а о ней, выстраивая все эти силлогизмы... Так если о ней, возможно, она заслуживает какого-то особого к себе отношения со стороны общества. Во всяком случае, в себе это особое отношение я ощущаю. Я не вижу ее ни женой своей, ни любовницей, но я хотел бы, чтобы она где-то присутствовала в моей жизни, чтобы она была где-то почти рядом и немного над. Своим пребыванием в поле моего зрения она не затмит ничего, что мне дорого, как особенная красота байкальского пейзажа не мешает мне быть влюбленным в российские холмы.

Ведь что-то же происходит нынче с нашей эстетикой. В прозу ломаются матерщина и похабство, в поэзию фиглярство, в живопись безобразие, в музыку какофония. Почтенные, степенные мужи в своих творческих эманациях кривляются и выламываются, как мальчики в период полового созревания. Подозреваю, что кого-то из них именно в этот переходный период заметила публика, поощрила и обрекла на вечную озабоченность поощрением. Грустно.

И только природа, как шаловливых детей, стучает нас по пальцам, тычет перстом в одуревшие лбы и подбрасывает то тут, то там свои шедевры, образцы извечно прекрасного...

А со мной-то что за метаморфоза! Лишь днями назад стоял у моря и, понося природу, отказывал ей в существовании. Но встретила на пути (или поперек) красивая женщина, и мысль крутится змеей и оправдывает, оправдывает, и я не в силах контролировать мысль и склонен отказать ей в реальности, готов признать ее производной и зависимой от каких-то иных состояний, которые вовсе не хочется формулировать, потому что догадываюсь, что формулировки эти унижат меня в собственных глазах, и как тогда я смогу любить ближнего, если захлебнусь презрением к себе.

Нет, недолжное настроение у меня сегодня перед завтрашним днем. Сегодня мысли мои должны быть просты, однозначны, строги. И я знаю, как обрести это состояние - надо стать злым. А это просто. Надо лечь на койку и вообразить, что ты на тюремных нарах, и тотчас перед глазами возникнут лица прапорщиков, капитанов, полковников - лица палачей; лица следователей, прокуроров, судей - и это тоже лица палачей, с ними возвратится и завладеет душой ощущение обреченности, расправы тупой и бессмысленной, когда тебя обвиняют в том, что черное называл черным, а не белым, как следовало бы по правилам, установленным самим сатаной, - и вот уже злость туманит мозг, и скулы напряжены, и суставы пальцев хрустят, - но это не то состояние, которое нужно обрести, это всего лишь злость бессилия. Аутотренинг продолжается. Исчезают лица врагов и появляются лица друзей, живых и погибших; погибших - это очень важно. Погибшие - это те, что лучше меня, потому что погибнуть мог любой, а я все же выжил. Толь-

ко нам известны и доступны те критерии, по которым мы оцениваем и судим себя.

Там, в предгорьях Урала, проверялась не истинность наших убеждений, а качество человеческого материала, который мы противопоставляли системе. Всем предоставлялась такая возможность — проверить себя. Умники и хитрецы, обманувшие эпоху и себя, не кривитесь физиономиями, потому что похоже, что поезд ушел, и вам, возможно, уже никогда не узнать своей подлинной цены, той самой, знание которой нужно только самому себе.

Вот на этой шкале ценностей уже в который раз я снова нахожу свое скромное место, и именно скромность места преобразует злость бессилия в злость веселую и трезвую. И пусть дело, что меня завтра ожидает, смехотворно и не по существу, в нем даже нет риска и достаточно реальной пользы, но все же это *дело*, а "дело" всегда было идолом интеллигента, и чем большим идолом оно было, тем коварнее были последствия деятельности...

Но стоп. Нужно всегда контролировать мысль, потому что у нее есть подлейшее свойство расслаиваться на противоположности, и тогда конец всякому делу...

На мое счастье, именно в эту минуту в камеру, прошу прощения, в палату возвращаются с прогулки мои товарищи по лечению. Их двое, и они оба мне очень нравятся. У них есть то, чего мне уже никогда не обрести — спокойное отношение к жизни, такое отношение свойственно исключительно участникам жизни, но не преобразователям ее. Я склонен допустить, что оно, это отношение, является подлинно позитивным, то есть положительным изначально-

но, независимо от жизненных ситуаций и фокусов судьбы. Это тот самый случай, когда собака лает, а караван идет. А может быть, это тот случай, когда очень хочется верить, что истина - в глубинке, и нужно срочно опрощаться, чтобы приобщиться к истине и успокоиться, отдохнуть и сменить идею на лопату, а она зазвенит в твоих окрепших руках камертоном подлинности и полноты бытия.

- Ну, чего скучаешь? - говорит мне Андрюха, как он мне сам представился, начальник какого-то мудреного завода в Харькове. - Там столько тоскующих бабенок бродит. Мужиков-то раз-два... Это, братец, даже подло с твоей стороны. Они же не шлюхи какие-нибудь. Они нормальные семейные женщины, уставшие от быта. Много ли им нужно? Им нужно, чтоб кто-нибудь чужой да посторонний заметил, что они еще ничего. Что с ними еще можно. А мужья не понимают и таскаются по секретаршам да спортсменкам. Им, бедным, уважать себя хочется, а ты тут валяешься, как последний эгоист. Нехорошо.

Я лежу и виновато улыбаюсь, потому что он прав. И женщины не шлюхи, и я эгоист.

Саша, второй мой сопалатник, чуть старше меня. Он директор сельского клуба на Рязанщине. Полноват, но подвижен исключительно. Этакий вечный массовик-затейник. Он обладает поразительным качеством создавать хорошее настроение у толпы людей, самых различных по возрасту, темпераменту и общественному положению. Его репризы вторичны, а шутки из четвертичного периода. Просто он хороший человек, а это, видимо, заразительно.



- Слушай, что говорят умные люди, - тычет он пальцем в Андрюху, - если бы у советских людей не было отпусков, наше население сократилось бы до Швейцарии, и не только потому, что после отпусков женщины охотнее беременеют, а потому, что мы просто перегрызли бы друг друга. Но вот возвращаюсь я из отпуска, встречаю своего сукина сына - худрука, который мне всю плешь переел своими авангардистскими штучками, и начинаю понимать, что он тоже человек, и чёрт с ним, пусть ходит лохматый да косматый, лишь бы не обовшивел! Или сынок мой, ты веришь, часами может трястись, как паралитик, заткнет уши наушниками, сидит трясется, стоит трясется, ходит трясется, веришь, взял бы разделочную доску и шарахнул по голове. А вот отдохну от него месяц, гляжу и думаю, хрен с ним, это же не падучая, слюни не текут - и то хорошо. Пиво хочешь?

Мы пьем пиво, обсуждаем последний телемост. Я поддакиваю, покачиваю головой и, конечно, не признаюсь, что не могу смотреть эти телеигрушки, особенно дисциплинированную команду на нашей стороне. Я ее уже видел в зале суда. На языке оперативников это называется "обеспечением". То есть некая группа обеспечения заранее подготавливает контингент людей, которые занимают все места в зале. Разумеется, это исключительно доверенные лица, стопроцентно советские, и сидят они с должным выражением лиц все отпущенные на процедуру расправы три дня. Зал заполнен. Суд - нате вам, заткнитесь, - открытый, а для родственников и друзей, извините, нет мест. Оперативник получает зарплату, а влас-

тители общественных дум избавлены от информации, которая может поколебать их регламентированный фрондизм, — отреагируешь сдуру и станешь невыездным. Доверенные же не ляпнут. У них иммунитет с семидесятилетним стажем.

— Слышь, а как тебе этот козел с микрофоном? А те лопухи с ним на полном серьезе чешут! Они ему про Фому, а он им про Ерему, и все довольны.

— Кончай, Андрюха, за политику, мне она во где сидит. Ты лучше скажи, которая в джинсухе, она замужняя?

— Говорит, разведёнка. А хрен ее знает. Здесь все разведёнки.

Я закрываю глаза, и меня выключают из собеседования.

То, что называется "сегодня", — оно для меня кончилось по содержанию, а остатки времени от "сегодня" нужно просто заспать. У меня есть свои приемы, мобилизую их и через десяток минут перестаю слышать мир.

## 6

Утром, вопреки ожиданию, не испытываю лихорадочности, к которой был готов. Напротив, ощущение, будто сменился ритм и внутренний и внешний, и не замедлился, нет, но стал естественным и соразмерным всему, чем он определен и что им определено. И я вспомнил, когда было такое же однажды, — это перед той ночью, чуть ли не тридцать лет назад, когда впервые шел разбрасывать листовки с объяснением народу моему, куда его ведут почи-

таемые им вожди. Уже тогда я догадывался, что народу это вовсе не нужно, но это нужно было мне, чтобы хоть как-то оправдать свое существование в мире, который видел порочным от корней. Да, я помню это светлое и ровное настроение, оно было как благодать, но только как, потому что хватило его только на один день и одну ночь, потому что утренние газеты следующего дня со всех своих страниц заплевали мне все глаза непоколебимым торжеством лжи. Чем талантливее были журналисты, тем изощреннее они лгали; чем талантливее были поэты, тем искуснее они прятались от жизни, а листовки наши словно канули в ночь.

Мы не были революционерами, мы были выродками, бастардами социального воспроизводства, ошибками процесса всеобщей мутации. Мы были обречены не только на лагеря, но и на отчаяние, мы испытали его в полной мере, и кто-то не выжил. Сгорел.

В чем была ошибка? В разные времена я определял ее по-разному. Сегодня пробую это сделать так: нужно было отвести взор от целого и увидеть целое в его частностях, и тогда, возможно, под ногами оказалась бы масса конкретных дел, безусловно правых или просто правильных, как то, безусловно необходимое дело, на которое я иду сегодня ночью. Разве в те далекие годы моей юности не нашел бы я применение своей энергии в частном, но удостоверенно чистом деле. Разве может существовать общество, сколь угодно порочное, без оазисов добра и правды, где можно поселиться на жительство и прожить, не приобщаясь к пакости системы?

Сейчас, сегодня мне кажется, что все это было возможно, но эту несостоявшуюся возможность я все-таки до конца не примеряю к себе, к своей судьбе, потому что фанатизм весьма свойствен мне, и вера в неминуемое и уверенность в предопределенности путей неисповедимых – это мощное оружие одиночества, когда, сражаясь с отчаянием или раскаянием, оно обязано выстоять и утвердить себя среди прочих таких же одиночеств, измученных сражением с целесообразностью и утилитарной пользой, – этот мой фанатизм исключил с самого начала все прочие возможные варианты...

К тому же, иначе, что ни прохвост, то именно так и оправдывается, дескать, всей правды я не говорил, но зато и не лгал, а даже с некоторой смелостью проговаривал маленькие правдежки, – другие и этого не делали... Бог с ними!

Зато сегодня я точно не фаталист, а самый, что ни на есть, реалист. Сегодня я льщу себя надеждой, что шишки, полученные мной от жизни, способны обернуться френологическими шишками мудрости, ну, разве же не мудрее я этих юных авантюристов, разве не имею я морального права попытаться повлиять на их судьбу, хотя бы чуть-чуть изменить ее направление, разве не ради этого я принимаю участие в их аванюре? Ведь стоит же чего-то мой опыт, знание людей! И уж во всяком случае я ничего не теряю, если мое вмешательство в их судьбу окажется неудачным и бесполезным.

Пожалуй, именно беспроегрышность ситуации – главная причина моего нынешнего спокой-

ствия, и в конце концов, Бог с ними, с причинами.

В половине двенадцатого я выскальзываю из санатория. Полнолуние компенсирует недостаточность освещения приморских кривых проулков, хотя обилие зелени именно в проулках весьма затрудняет ориентировку. Улицы не безлюдны, и я, неторопливо идущий в нужную мне сторону, не кажусь сам себе крадущимся, хотя, по сути, крадусь, таково мое состояние, и оно мне не противно, скорее забавно, ловлю себя на улыбке, на некоторой искусственности шага, пытаюсь ее преодолеть, но тогда мои шаги начинают звучать вызывающе, и мне ничего не остается, как посмеиваться над собой и сосредоточиваться на том, чтобы не сбиться с направления. А это не просто. Только хорошо запомнившиеся ориентиры выручают меня.

Калитку нахожу не сразу, но в резерве у меня еще пять минут, и я выдерживаю время до секунды и лишь ровно в двенадцать начинаю выщупывать автоматическую защелку на внутренней стороне калитки. Принцип ее работы мне объяснен Валерой, и я справляюсь с ним довольно легко. Калитка открывается почти без скрипа, хотя какой-то посторонний звук на мгновение удерживает меня у черты чужого владения. Прислушиваюсь и вхожу, закрыв калитку на защелку. В саду почти полная темнота. Луна еще низко и сейчас перекрыта домами на противоположной стороне улицы. И лишь небо над головой, как изнутри едва освещенный занавес.

Задача моя проста. Нужно пройти по узкой аллее, что ведет напрямую к флигелю дома, занять позицию между флигелем и калиткой

так, чтобы калитка мне была видна хотя бы в очертаниях, на ее фоне я должен увидеть человека, если он, не дай Бог, появится. Еще нужно рассмотреть забор, через который мне предстоит перемахнуть в критической ситуации. Последняя задача оказывается невыполнимой, потому что деревья совершенно перекрывают нужную мне сторону забора, а времени на разведку нет, я не могу сойти с аллеи, не потеряв из виду калитку. Соображаю, что в случае возвращения хозяина мне совсем не обязательно ломиться через забор. Подав сигнал, то есть свистнув, я могу нырнуть в заросли сада и, воспользовавшись замешательством хозяина (а такое замешательство неизбежно), сумею пробраться к калитке и исчезнуть незамеченным. Будь у него даже фонарик, и это обстоятельство не слишком осложнит мое отступление. Не обо мне будут его заботы, а о том, что происходит в доме. Кстати, о доме. Глаза мои на калитке, а уши в доме. Такая кругом тишина, что я не могу не услышать чего-то, что относится к происходящему сейчас там, внутри. Я пытаюсь вообразить, прислушиваюсь и слышу, конечно, звуки шагов, скрип двери, еще что-то, чуть ли не кашель, я слышу это так отчетливо, что всей волей своей удерживаюсь от того, чтобы обернуться... но оборачиваться мне нельзя. Потеряв из глаз калитку, я потом не сразу найду ее в темноте, понадобится какое-то время, чтобы приглядеться и увидеть ее контуры на почти неразличимом фоне полугородской улицы.

Представляю, как смешон я в роли "стоящего на атаке", ведь я уверен, никто из моих

сверстников-друзей не влип бы в такую историю и немислим в моей теперешней роли. Любой из них недоуменно пожал бы плечами, узнай он о моих приключениях. Но никто не узнает - и это успокаивает меня. Будем считать, что происходящее есть лишь факт моей личной жизни, до которой никому нет дела, как мне нет дела до личной жизни моих друзей.

Личная жизнь - это нечто такое, где мы менее всего последовательны, или точнее, где мы более всего противоречивы, ведь воистину, исповедовать идеи и следовать им достойно много легче, чем достойно вести личную жизнь, то есть идейным быть легче, чем нравственным, поэтому и объявляем мы личную жизнь неприкосновенной, дабы не попортить анкету своего общественного служения.

Итак я, доживший до седин, стою на "ата-се", то есть участвую в экспроприации экспроприаторов, то есть в краже, и вижу в том положительный смысл и, следовательно, оправдываю...

Опять за спиной в доме какие-то шумы, а глаза мои слезятся от напряжения. Контуры калитки то исчезают, то расплываются, то вдруг видятся какие-то фигуры... Я решаюсь взглянуть на зеленые стрелочки моих часов, и в этом момент кто-то хватает меня сзади так, что руки мои оказываются словно впечатаны в тело канатами...

"Господи! Просмотрел!"

Отчаяние и стыд парализуют меня сильней, чем та воистину мертвая хватка, в которой оказался, но свободны губы, и я возношу секундную молитву, чтобы они не подвели меня, и они не подводят - свист получается, как он

получался в детстве, резкий, звонкий, короткий, как выстрел.

”Ах ты, сука!” – слышу над ухом и тут же глохну от удара, видимо, наотмашь. Чувствую на скуле кровь, но не от силы удара, иначе я бы выключился, скорее, кожа просто расцарапана ногтем... Этот некто, что подловил меня, по-прежнему сзади. Теперь он перехватил ворот рубахи, запрокидывает меня на спину и душит воротом. Правая рука свободна, и я оттягиваю его, как могу, рву пуговицы. Он тащит меня к дому, и если дотащит, то это полный провал по моей вине. Как он мог проскользнуть незамеченным, как сумел оказаться у меня за спиной, я же не отрывал глаз от калитки? Может быть, он не один здесь?

Инстинкт подсказывает – я расслабляюсь, я волокусь мешком, торопливо переставляя ноги, чтобы не повиснуть, тогда он удушит меня. Расслабляюсь и как бы закручиваюсь влево. По его дыханию и шипению определяю рост. Чуть выше меня. Но крепок! Какой-нибудь отставной спортсмен... До предела закручиваюсь влево, рискуя потерять сознание от удушья, зато у правой руки неограниченная возможность. Неограниченная, но всего одна, и если я не воспользуюсь ею, другого шанса у меня не будет. Слева направо всем размахом я бью вытянутой ладонью по тому месту, где должно быть горло. Промахиваюсь, удар приходится по губам, но я все вложил в этот удар, и короткий шок, что и требовалось, освобождает меня от хватки сзади. Тогда уже левой рукой кулаком бью в горло, место уязвимое равно для хлюпиков и богатырей. Теперь я его вижу. Рыча



и хрипя, он заваливается в кусты, этаким квадратный битюг, кусты трещат под ним. Или подо мной, потому что бегу напропалую к калитке. По кадыку я не попал, а от удара в шею этот кабан оправится скоро. От калитки бегу не более ста метров. Ноги отказывают, икры кричат от боли. Прогибаясь в коленях, еще пытаюсь продолжить бег, но как раз конец перелука, где-то, наверное, кончились танцы, по улице идет молодежь, и я скоро мешаюсь в толпе, на перекрестке сворачиваю в сторону санатория и уже совсем спокойно иду по аллее, восстанавливая дыхание и рассудок. Отведенное на операцию время истекло, и если тот провалялся в кустах хотя бы пять минут, все закончилось успешно, это главное, что меня тревожит, ведь как-никак я бежал с места действия, хотя это и было предусмотрено планом... Но план я провалил. Я просмотрел его возвращение, даже, если он вернулся не через калитку...

Я останавливаюсь, потому что чувствую головокружение и почти тошноту. Это состояние мне знакомо. Так бывает, когда я вчистую что-то проигрываю.

Он прошел не через калитку. Он вышел из дома. Тот звук, что я услышал, когда открывал калитку, — на калитке была сигнализация, и это значит... У меня перехватывает дыхание. Я не хочу проговаривать, что это значит... Но что слово, когда существует мысль, которая быстрее слов. Мысль нематериальна, она либо уже есть, либо ее еще нет. В данном случае она есть.

Меня использовали в качестве подсадной утки. Пройдя через калитку, я должен был

выманить хозяина из дома. Он мог убить меня, искалечить, и все это предусматривалось планом! Кто подлинный автор плана, неужто она, эта красавица с душой росомахи! Боже, как стыдно! Кажется, ничего подобного еще не бывало в моей жизни. Да что же это за поколение такое проросло на земле нашей? Нет, а я-то! Развесил уши, старый идиот. Надо же было так позорно купиться! Ведь чувствовал же, что не все чисто в плане. Достаточно было хладнокровно проанализировать его, но где там! Такая мордашка перед глазами! Только представить, как они будут обхихикивать меня - от одного этого можно удушиться!

Но стоп. Отставим в сторону уязвленное самолюбие возомнившего себя мудрецом. Все-таки цель авантюры - спасти мать от тюрьмы. Чтобы освободить мать, ее дочь подставляет меня, чужого человека с нелепой судьбой и типично старческим самомнением на предмет собственного жизненного опыта. В ее глазах я просто "чокнутый". Таковым я был в глазах многих, и с нее ли требовать... Она все рассчитала правильно, моя Афродита, я уверен, это она инициатор и вдохновитель, это она просчитала меня, как компьютер... Опять о себе. Сейчас мне нужно быть предельно объективным, чтобы не задохнуться в обиде. Я должен помнить, что Людмила спасает мать, это главное, то есть цель. Цель свидетельствует о глубинном, средства - о вторичном, но не о второстепенном. И далее я должен расставить последние акценты. Цель - мать. Средства - я. Какой нужно сделать вывод, чтобы погасить внутреннюю дрожь, а меня буквально колотит, так уж это больно бывать в дураках... Да,

вывод. Молодая женщина, воспитанная в эгоизме, совершает бескорыстное действие, возможно, первое в своей жизни. Она еще не успела узнать о влиянии средств действия на цель действия, ей это еще предстоит, и это будет горький опыт, способный подкосить, поломать, но и выпрямить, — такое равно возможно, а пока не ведает, что творит, и потому простится...

В конце концов, все хорошо, а победителей, если и судят, то с улыбкой сочувствия, и в основном, для порядку.

Я уже не стою, а иду. Собственно, я уже делаю второй круг вокруг санатория. Теперь я хочу думать о том, как завтра попрут глаза на лоб у местных следователей, когда вывалит им на стол полмиллиона — выкуп за утонченную, как нелегко будет им мотивировать отказ в освобождении, какой удар предстоит вынести Людмиле. Может быть, именно тогда она вздрогнет от мысли, что чуть было не принесла в жертву чужого человека, между прочим, спасшего жизнь ее матери, и жертва эта была напрасна, то есть могла оказаться напрасной... И опять я о себе. Вроде бы все разложил по полочкам, а тошно. Надо бы идти спать, я знаю, сегодня обязательно полечу во сне, потому что летаю всякий раз, когда оказываюсь в стыдной ситуации, и чем больше стыд, тем великолепнее полет, это такое счастье — раскинуть руки и парить над землей, и какая же она красивая, земля, с птичьего полета, именно с птичьего, а не самолетного. Ни за что я так не благодарю Бога, как за эти длительные, совершенно реальные полеты по ночам после жизненных неудач и промахов.

Так было с детства. Так было всю жизнь. Так будет сегодня. И, наверное, до конца дней моих, потому что ничему не учат годы, а иногда, как сегодня, мне вообще кажется, что ни единой клеткой своего мозга я не поумнел с того уже забытого мгновения, когда совершил первую ощутимую ошибку в жизни, когда первый раз оторвался от земли и взлетел, и захватило дух восторгом и радостью, и когда впервые не захотелось проснуться.

В палату пробираюсь бесшумно, не включаю свет, соседи спят. Кто-то умеренно похрапывает. Добрые, славные люди! Как ни прекрасны полеты во сне, искренне желаю вам не видеть снов.

## 7

Утром тщательно исследую перед зеркалом мою пострадавшую скулу. Царапина пустяковая, но некоторая односторонняя припухлость на физиономии имеется. Не без гордости признаюсь, что отделался сущим пустяком. И вообще нахожу, что вчерашние мои переживания были преувеличенными, потому, наверное, совершенно не помню снов прошедшей ночи. Заснул, как упал. Проснулся, как выпал.

Сегодня первый дождь за все время моего пребывания у моря. Еще из окна в просветах аллея замечаю темную синь штормящего моря, и это мне обязательно нужно видеть, надо только решить проблему зонта, как-то не подумал обзавестись им ранее, сработал штамп представления о Причерноморье, как о царстве солнца, воды и зелени.

Есть еще нечто, поддерживающее меня в состоянии некоторого возбуждения. Я хочу, нет, я должен знать, чем закончилась процедура сдачи денег. Прокручиваю варианты выхода на знакомого мне оперативника, но все они искусственны и способны осложнить ситуацию. Конечно, я очень хочу надеяться, что Людмила сочтет должным поставить меня в известность о результатах нашей совместной авантюры, ведь, как оказалось, моя роль была совсем не второстепенной, и, наконец, должны же быть у нее угрызения совести, хотя именно этот момент ее сознания, если он присутствует, может воспрепятствовать ее контакту со мной. Ей же нужно будет каким-то образом оправдываться или извиняться. При всей благопристойности ее намерений относительно матери со мной она поступила по любым правилам непорядочно. Не может она этого не сознавать.

После, во время завтрака, в течение процедур, на прогулке по санаторному парку, — все время ловлю себя на том, что сочиняю для Людмилы речи-монологи оправдания и извинения. И чего там, я уже принял ее извинения, им нужно только прозвучать хотя бы в самом упрощенном варианте, — и внутренне я готов к дальнейшему соучастию в судьбе коварного семейства. Оказывается, вчерашнее приключение, вместо того чтобы оттолкнуть меня от них, лишь повязало крепче прежнего. Всякий раз, когда касаюсь рукой моей припухшей скулы, улыбаюсь, а смысл улыбки, если перевести ее на слова, мог звучать приблизительно так: ах ты, дрянь! надо же меня так облапошить! ну и сильна девка! И если бы кто-нибудь услышал эти фразы произнесенными, то усомнился

бы, что это не брань, а всего лишь почти дружеское, почти любовное ворчание, и что прощение, если оно было на повестке, состоялось намного раньше, чем эти фразы оказались произнесенными. И ни следа от обиды. Все видится скорее забавным, чем трагическим. Ну, влип немного. Разве первый раз? Всего лишь нужно предполагать, что люди, с которыми сводит судьба, сложнее возможных представлений о них, к такой сложности нужно быть готовым, а не высчитывать ее по шаблонам собственного, непременно ограниченного опыта.

Короче говоря, я хочу увидеть Людмилу и узнать о результатах. Можно изменить фразу, и она зазвучит не менее правдиво. Я хочу узнать о результатах и увидеть Людмилу. Если они уже знают о бесполезности их попытки, — мать не выпустят, — я уверен, у Людмилы возможно состояние отчаяния, депрессии, чего угодно, и я могу быть полезен. Можно будет даже придумать мое посещение следователя, я же и сейчас имею право интересоваться судьбой спасенной мной женщины. Следователь может сказать мне больше, чем им, о чем-то я могу догадаться, все же мой опыт в общении со следователями чего-нибудь стоит.

Я должен их увидеть. Я обязан их увидеть. Мне нужно их искать. Теперь приходит легкость и ясность суждений, уже непосредственно связанных с действиями.

Зонт, громадный и старомодный, обнаруживается у Андрюхи, он вручает его мне с удовольствием, это, оказывается, теща подложила ему в заботу свою реликвию времен нэпа. Для пробы я распускаю его, возношу над головой,

и мои сопалатники гогочут и советуют сворачивать зонт всякий раз, как встретится милиционер, потому что меня могут запросто принять за американского парашютиста.

Зонт великолепен. Длинная ручка позволяет держать его высоко и не сталкиваться с другими зонтами. К тому же он так объемён, что ни одна капля не попадает на меня, хоть дождь косой, с порывами ветра неустойчивого направления. Наверное, я комичен, на меня смотрят с изумлением и провожают взглядами, — но все они, смотрящие и провожающие, мокры под своими изящными зонтиками, я же прохожу по ливню, как под дланью Господней. На углу парень грузин тщетно пытается спасти от дождя хорошенькую черноглазую девчушку. "Дорогой, — кричит он мне, — махнемся, а? Полтинник в придачу!" "Подарок от тещи!" — кричу в ответ, махнув рукой в сочувствие.

Я спешу на Овражью улицу. Больше мне и некуда спешить. Конечно, я помню слова Людмилы о том, что дом опечатали, но часто опечатываются некоторые комнаты, куда стаскиваются вещи, описанные для предстоящей конфискации, и оставляют помещение для проживания. Едва ли Людмила живет там, в опечатанном коттедже, скорее всего она у Валеры. Но, не имея выбора, спешу вниз, под мост, затем по тропинке, которая теперь русло ручья, конечно, по колено вымокаю, еще и скользко, и мой парашют над головой цепляется за деревья, но все же скоро оказываюсь перед дверью не просто замкнутой, но заколоченной двумя штакетинами крест-накрест. Рядом с калиткой то самое место, откуда эти штакетины выломаны. Не очень-то вдохновляет меня представшая перед

глазами картинка. Заколоченный дом – это всегда неправильно и некрасиво даже просто по форме, если не говорить больше. Конечно, крест на дверях – это жест бывшего хозяина. То есть вполне в стиле Людмилы. Милиции нет нужды выламывать штакетины. А если Людмила, то это крест не только на бывшую собственность. Хочется думать, что и на прошлую жизнь тоже. Но Людмила и какая-то новая жизнь, – это тоже пока непредставимо для меня. Но крест неспроста. В том я уверен.

Идти назад вверх по скользкой и мокрой тропе не решаюсь и направляюсь вниз к морю, а по набережной вернусь в санаторий и буду пребывать там безвыходно неопределенное время, потому что это единственный шанс: если я не могу найти Людмилу, то мне только и останется, что ждать, когда они найдут меня, я надеюсь на это, потому что никак не могу думать совсем плохо о моих новых знакомых.

Только небывалого объема зонт спасает меня, поскольку дождь все расходится и расходится, и ветер, как хмельной, мечется в разные стороны по побережью и швыряет водяные потоки в разные стороны, так что уклониться от них не удастся никому, кроме меня. Набережная почти пуста, и если встречаются, то в основном бегущие. Ливень. Я же могу не спешить и постоять у штормующего моря. Сколько там баллов, пять, шесть? Ничего в этом не понимаю. Но зловеще. Только все равно не вижу, не чувствую инициативы, и море мне видится не действующим, а страдающим. Некто, более могущественный, чем море, проделывает с ним нечто жестокое и бессмысленное: вздымает валы, пенит воду, накидывает на берег, и в общем-



то — баламутит, баламутит! А море, как безынициативная масса материи мечется, кружится, топорщится, издает мертвые шумы, и оттого в душе не то жалость, не то сочувствие, а через пять минут созерцания просто скука, как скучно, например, долго слушать человека, подражающего соловьиному пению. Воздашь должное искусству имитации, и скорей бы хлопать в ладоши.

Мелькает мысль, а может быть, они уже ищут меня? Ведь наверняка деньги они сдали с утра. Сидеть где бы то ни было с полумиллионом в кармане, занятие, прямо скажем, неспокойное. Возможно, даже, что сейчас, когда им уже известен результат, то есть что деньги мать не спасают, а что это так, я не сомневаюсь, сейчас, возможно, я им и нужен, с кем они еще могут советоваться, не боясь огласки. Я уже вижу их обескураженные физиономии, и еще не знаю, что скажу им, но предчувствую, как это часто бывает со мной, что найдутся и нужные слова, и уместные идеи, и, как знать, может быть, когда-нибудь мы еще посидим все вчетвером за бутылкой коньяка, потому что каждый из них уже пережил нечто, что способно очень определенно повлиять на отношение к жизни. Вон ведь сколько их, незаурядных событий за короткий промежуток времени: самоубийство и возвращение к жизни, тюрьма и полная потеря сомнительным образом приобретенных благ, наша таинственная ночная авантюра, и даже непорядочность по отношению ко мне, это тоже нечто, что каким-то образом должно переживаться и оставить след в душах. Разумеется, объяснения не избежать, я просто должен его потребовать, я обя-

зан видеть их раскаяние, но знаю,— чего там! — моя суровость будет недолгой, не враги они мне, а всего лишь люди, живущие или жившие до сих пор по иным правилам. Мне их не судить. Мне им помогать.

Сворачивая с набережной на улицу, ведущую к санаторию, я уже убежден, что в эти минуты Людмила и Валера ищут меня, а когда за спиной раздастся голос (ей-Богу, чуть ли не родной!), обращающийся ко мне по имени, я не радуюсь, я ликую, я торжествую, я испытываю чувство победы, начисто затмевающее все неприятные нюансы наших прежних взаимоотношений.

Оглянувшись, однако, я замираю в растерянности и недоумении. Из полуоткрытой дверцы машины мне нетерпеливо машет рукой женщина кавказских кровей, и за рулем совершенно незнакомый человек, насколько мне удастся рассмотреть сквозь дождь, не то грузин, не то абхазец. Но женщина машет требовательно, и я направляюсь к машине.

— Ну, наконец-то, слава Богу! — говорит женщина голосом Людмилы и распахивает дверцу. — Садитесь же!

Торопливо и неловко я собираю свой зонт, стряхиваю с него воду и всовываюсь внутрь, натываясь длинной палкой зонта то в переднее сиденье, то в какие-то предметы, которыми завален до отказа внутренний багажник "Жигулей"—пикапа.

— Осторожней, пожалуйста, я ведь вам не шашлык!

Это, конечно, Людмила. Она в черном парике, брови ее подведены и затенены, кажется, еще какие-то косметические наложения присутству-

ют на ее лице, так что узнать ее невозможно. Только голос...

– Давай! – кричит она шоферу впереди нас, он лишь на мгновение оборачивается, и это, конечно, Валера, еще более неузнаваемый, потому что грим его выполнен с исключительным профессионализмом. Кондовый славянин стал породистым кавказцем.

Машина срывается с места, и мы несемся сквозь дождь в сторону Гагры. Зонт по-прежнему не пристроен и весьма опасен из-за острого наконечника. Людмила зло вырывает его у меня из рук и сует куда-то за спину.

– Вы что, ограбили антикварный магазин?

Нет, это не юмор. Это мимоходом. Лицо ее напряжено, и я не могу оторвать от нее глаз, потому что, отвернувшись, затем вынужден настраиваться, чтобы узнать ее, и что-то неприятное есть в этой необходимости взгляды-ваться в изменившиеся черты, чтобы восстановить образ и отношение к нему.

Мы уже за чертой города, но в машине молчание. Признаюсь, мне немного не по себе от той лихости, с которой Валера гонит машину сквозь ливень, но Людмила спокойна, успокаиваюсь и я. Нужно привыкать к сюрпризам моих друзей, а на сюрпризы они не скудеют, и будь я проклят, если это мне не нравится. Все-таки в глубине души я не принимаю их всерьез и словно присутствую при играх детей не моего поколения, и потому для меня любопытных. Любопытство это не безопасно, о чем свидетельствует царапина на моей скуле. Но игры детей всегда небезопасны для взрослых.

Город позади. Нарушая правила, Валера вы-

кручивает руль вправо, и мы оказываемся в небольшом тупичке под скалой. Справа от нас сплошная завеса дождя, а мы будто в полупещере. Валера выключает зажигание и поворачивается ко мне. Пауза чуть-чуть затягивается. На заgrimированных лицах трудно угадать выражение, и я все еще нахожусь в стадии узнавания, ведь передо мной совсем не те лица, к каким я уже привык, я ловлю себя на желании активно разgrimировать их, чтобы предугадать характер предстоящего разговора.

- Вы, конечно, считаете нас подонками?

Это Людмила. Она нервничает, и это мне нравится.

- Валерка, он известная свинья, он хотел, чтоб мы смотрелись без объяснений. Но Вы мне нравитесь. Вы мне очень нравитесь, Валерка не даст соврать. Будь все по-другому...

- Но все не по-другому, - мягко одергивает ее Валера.

- А ты вообще... Это ты должен говорить, а я молчать.

- Давай, я буду говорить, - вяло предлагает он.

- Нет уж! Я знаю, ты будешь говорить, как робот.

Валера пожимает плечами, но продолжает сидеть, облокотившись на спинку своего сидения, и смотрит на меня своим типичным взглядом, в котором в искуснейшей пропорции замешаны любопытство и равнодушие. А мне кажется, что я имею дело не с двумя, а с четырьмя человеками, потому что на каждую фразу, чтобы откликнуться сознанием, мне нужно условно разgrimировать каждого, и только тогда фраза полностью доходит до меня. Это,

однако же, утомительно и неприятно. Решаюсь брать инициативу в свои руки.

- Давайте-ка по порядку. Деньги сдали?

Людмила смотрит мне в глаза. А я смотрю в ее глаза, и будь, как она сказала, все по-другому, я бы решил, что люблю эту женщину. Но я не люблю ее, потому что взгляды наши, хотя и ладонь к ладони, но не рукопожатие...

- Мы не собирались этого делать.

Ну, вот. А я вовсе не в шоке. Где-то в глухих запасниках мозга, значит, уже вызрела догадка, а я лишь упорно навешивал замки.

- А мать? - спрашиваю.

- Понимаете, у вас, конечно, свой большой жизненный опыт. Но в нашей жизни вы ничего не понимаете. Не обижайтесь. Если бы мы сдали все, что там взяли, то это те самые улики, которые нужны ментам, чтобы законопатить мамашу до старости. Если она будет молчать и не назовет боссов, они вытащат ее из лагеря года через два и устроят прилично. Это же мафия. Они скоты, но своих в обиду не дают. И никакие перестройки не справятся с ними, потому что все хотят жить, как хотят, а не как это нужно каким-то идеологиям.

- А если все-таки ваша мама по каким-то соображениям назовет и боссов и про деньги...

- Про деньги? - на лице Людмилы улыбка.

- Да она понятия об этом не имеет! Ни где, ни сколько...

- А как вы узнали?

И снова она смотрит мне в глаза прямым и чистым взглядом серо-зеленых, а может, голубых глаз. Потом вдруг срывает парик. Ее чудесные русые волосы, словно освободившись

от пут, распадаются по плечам, и кажется, будто они жмутся, прижимаются к ним, обиженные насилием парика.

- Для того, чтобы узнать, где их тайник, милый вы мой человек, мне всего лишь пришлось переспать кое с кем.

Машинально кидаю взгляд на Валеру. Но он невозмутим и смотрит на меня, как на подопытную лягушку, которую только что начали искусно препарировать. А скорее всего, это не он так смотрит, а я себя так чувствую.

- Значит, вы украли эти деньги для себя.

- Конечно, - быстро отвечает Валера, и, похожему, он несколько разочарован моим поведением.

Я должен сказать нечто весомое, это весомое где-то на подходе, а на языке какая-то ерунда.

- Теперь у вас есть деньги, и теперь вы брюнеты...

- Только до послезавтра, - говорит Людмила со значением в голосе.

- Людка! - о чем-то предупреждает ее Валера.

- Замолчи ты, ради Бога! Ты ни черта не понял, что он за человек.

И кивок в мою сторону.

- А вы, - спрашиваю, - поняли, что я за человек?

- Конечно! - восклицает.

Боже, и что это за порода такая! Взгляд чист, как у мадонны!

- Вы - марсианин или венерианец, и у вас там на деревьях синие листья. Если бы я была сейчас, как в пятнадцать лет, я побежала бы за вами, как бездомная собачка.

- Врешь, - комментирует Валера, - в пятнадцать уже не побежала бы. Я же помню, ты и в пятнадцать была такая же стерва.

Ожидая взрыва, но нет, она смотрит на Валеру внимательно и отвечает будто только ему.

- Может, и так. Тебе виднее. Как мне было не стервозиться, если ты спал с моей матерью за перегородкой, которая даже до потолка не доходила. До чего ж ты противный с этими грузинскими усами!

Валера трогает наклеенные усы, ухмыляется. Я решаюсь сузить тему.

- Значит, вы поняли, что я марсианин, и решили использовать меня в качестве подсадной утки?

Она и не думает отводить взгляд.

- Вы меня послушайте, ладно! Я как-то была на лекции одного сексопатолога. Модный. Умный. Пять рублей за вход. Вот он сказал, что любовь это реализация инстинкта размножения. Возразить трудно, правда? Но все равно он козел! Я ему сказала: "Размножайтесь, если хотите, а я хочу любить!" И все мне хлопали. Вы говорите - подсадная утка, и вы правы. Но если бы и я так думала, то вы б меня больше не увидели. Я знала, даю вам честное слово, я знала, что с вами ничего не случится. Валерка, вот, он сильнее вас, он кии на шею ломает, но у него не получилось бы, началась бы драка, а тот амбал, он же бывший чемпион по вольной борьбе, потом Валерку пришлось бы отхаживать.

- Не уверен, - вставляет Валера.

- Молчи! А вы уложили его как-то, Валерка

говорит, что он после вас ползал по земле и хрипел, как свинья.

- Это чистая случайность! - говорю раздраженно. - Он мог пристукнуть меня с самого начала.

- Да не мог! В том-то и дело, что не мог! Ему обязательно было нужно затащить вас в дом, он же понял, что вы там не случайно, а когда вы свистнули, он решил, что в саду еще кто-то есть или на подходе, и потащил вас.

- А там я уже ждал его с дрыном, - беззаботно смеется Валера.

- Вот! С дрыном - это по твоей части, - язвит Людмила.

- Если бы я знал, что вы идете на грабеж в личных целях, я бы в этом не участвовал. Вы обманули меня.

Я завожусь и не намерен сдерживаться. Но Людмила берет мою руку в свою и сжимает ее крепко, даже очень крепко, и я теряюсь перед такими приемами, то есть не могу вырвать руки, это будет откровенной грубостью, а, позволяя ей эту подозрительную нежность, я как бы оказываюсь в роли обиженного, но сговорчивого соучастника. Только сейчас начинаю догадываться, как она опасна, эта рано созревшая девица, как необъятен и непредсказуем арсенал ее воздействия. Еще чуть-чуть, и запахнет серой.

- Ну, пожайлуста, поймите меня, вы же умный, это же так просто понять! У нас не было другого выхода. Без третьего человека все пролетало мимо. Это был единственный шанс на всю жизнь. И снова вам говорю, я знала, что с вами ничего не случится, я это поняла, когда вы меня второй раз с лодки скинули,



когда руку мою перехватили и скинули. И вообще, о чем мы говорим? Ведь если все получилось, как я была уверена, значит, я права. Ну, допустите просто, что я угадала в вас что-то, что вы сами о себе не знаете!

Это точно! Она угадала, что я олух!

— Вы говорите, что он там хрипел? Может, я что повредил ему?

Это я говорю, чтобы собраться с мыслями, ведь должен же я сказать или что-то принципиальное, чтобы выкарабкаться из роли соучастника или, хуже того, — марионетки...

Валера опять смеется своим беззаботным смехом, который раздражает меня и обезоруживает.

— Такого амбала только самосвалом повредить можно, и вообще, за него не переживайте, это он весной пристукнул администратора из "Ривьеры", так что по нем "вышка" давно плачет.

В хорошенькую компанию я попал!

— Вы хотите сбежать, как я понял, но этим вы себя выдадите, вас могут искать, и милиция в том числе.

Они переглядываются. Валера слегка хмурится. Людмила же снова берет меня за руку, которую я только что очень деликатно высвободил.

— Вы даже не представляете, как я вам верю, может быть, и не надо вам всего знать, но вот не могу не сказать, только вы не волнуйтесь и постарайтесь понять нас, я считаю, что любого человека можно понять, если захотеть, а мне, понимаете, очень нужно, не знаю, зачем, но очень нужно, чтобы вы меня

поняли. Может, я немножечко влюбилась в вас? Меня ведь еще никто не выкидывал за борт...

Ухмыляется. А я перестаю понимать оттенки ее голоса, потому что все время слежу за этими оттенками, как следил бы за острием рапиры противника в поединке.

- Дело в том, что мы с Валеркой... с вашей помощью... мы грабанули кассу мафии, не главную, конечно, а так называемую "оборотную". Это не рубли. Мы обманули вас. Это валюта, хотя рубли там тоже оказались. Касса мафии - вы понимаете, что это значит?!

Почему-то очень крепко сжимает мне руку, но я, уже не церемонясь, высвобождаю. Почти рефлекс: если жмет, значит, меня ждет еще сюрприз.

- Куда бы мы ни убежали, понимаете, они найдут нас. Именно с помощью милиции. Наша страна только на карте очень большая, а на самом деле она вся в кулаке. Это кулак большой, а страна маленькая.

- Но вы же бежите... И эти дурацкие парики...

Она говорит, паузами разделяя каждое слово. Ее глаза совсем рядом, я даже вижу, где к ее русалочьим бровям пристроился карандаш и, конечно, попортил их, изменив цвет и линию.

- Завтра мы с Валеркой будем в Батуми, а послезавтра - в Турции.

Видимо, она производит именно тот эффект, на который рассчитывала, и теперь с откровенным любопытством ожидает моей реакции. А я и вправду потерял дар речи.

- А что, - бормочу, - это так просто? Раз - и в Турцию?

- Не просто. Но послезавтра мы там будем.

Странно, тон ее голоса не оставляет во мне сомнения относительно того, что завтра они там будут, в Турции! Что-то очень похожее на уважение возникает во мне, это же не шуточки – уйти за границу. Появись у меня подобное намерение, разве смог бы я его осуществить, несмотря на весь мой жизненный опыт... Впрочем, про опыт не надо... Передо мной не дети, а взрослые решительные люди, которые имеют серьезные планы и умеют их осуществлять и использовать в своих целях людей, прямопротивоположных по жизненным установкам. Это я о себе. Испытываю потребность как-то особо подчеркнуть для самого себя ту самую противоположность, хотя, кажется, именно она – причина того странного положения, в котором нахожусь...

– Ну, а понятие Родины, – бормочу неуверенно, – это у вас никак?

– Родина! – восклицает Людмила удивленно.  
– Моя Родина – вот!

Опускает стекло и выбрасывает руку к морю.

– Я помню себя с четырех лет и помню себя в море. Вот это и есть моя Родина. И уж будьте уверены, жить дальше километра от моря я не буду...

– Я же не это имею в виду. Вы понимаете...

– Да, понимаю, – отмахивается Людмила. – Поднимает стекло, стряхивает капли дождя с рукава.

Валера отвернулся от нас, сидит вполуборот, постукивая пальцем по баранке. Я вижу его профиль, а хотел бы видеть глаза.

– Каждое слово помню, – негромко говорит Людмила, – из того, что вы мне рассказывали

на катере. Вы жили где-то в глуши, и ваши глаза всегда были устремлены, что ли, к центру, а между вами и центром была вся эта страна, и вы ее как-то чувствовали... Говорю, как могу, а вы меня поймете, если захотите. А я все свои двадцать лет жила лицом к морю, а из-за спины надо мной нависало что-то громадное, огромное, чего я ни понять, ни измерить не могла и не хотела. И мне сзади все талдычили: это – Родина, это Родина, а я все равно смотрела только на море. А то громадное, что за спиной, оно все время от меня чего-то требовало и врало, врало через газеты, радио, через кино, врало и требовало, чтоб я его любила и поступала так, как оно требует, чтобы мои поступки не противоречили тому, что оно врет. Я хотела хорошо жить, как я это понимаю, мне говорили, что это аморально, и вдали про свое. И вот получилось: вы говорите "Родина", а мне противно, потому что изоврались... А море, оно никогда не врало, оно либо теплое, либо холодное, либо тихое, либо шторм, тут никакой туфты... Чепуху говорю, да?

Мамаша моя всю жизнь крутилась... Коттедж, который они сейчас опечатали... Вершина ее мечты! А чего особенного-то? Ради него она ловчила, и теперь они ее за это распинают. А какие дворцы у самих распинателей, вы видели? Вот кто ворюги! Они и государство-то построили, чтобы воровать по-государственному, а не по-фраерски. Временами они заворачиваются, и тогда появляется новенький да принципиальненький, дает кое-кому по шапке, а потом в награду за свою идейность грабастает еще больше, набивает полный рот и шамкает

про идейность и принципиальность, пока другой хищник не появится. Или приезжает из центра этакий из главных с подвесными подбородками и брюхо на кронштейнах, а наши местные – мелким бесом, мелким бесом, а потом все хором, как надо коммунизм строить да Родину любить.

Я вам скажу, мамашкины знакомые, ну, всякие деловые, большей частью они тоже противные, масляные какие-то, но они хоть не врут, они знают, где купить и где продать и получить выгоду, и если они кого-то надувают, то говорят: "Не разевай рот!" Но не учат моральному кодексу. Они честнее, хотя от них тоже тошнит...

А мы с Валеркой взяли и надули их, чтоб не думали, что они самые умные в этом государстве. Ведь таких, как вы, они за дурачков держат...

– А вы?

Это я почти выкрикиваю, оглушенный ее страстным монологом.

– Я?

Она задумывается, прикусывает губу.

– Я, кажется, понимаю вас, может быть, чуточку завидую... Самую чуточку... Но жить, как вы... Лучше пойти и утопиться... Не обижайтесь. Я просто рассуждаю. В жизни есть радости и нерадости. Я хочу иметь радостей как можно больше и как можно меньше другого. Может быть, для вас радость сказать правду и получить по заправке. Но это значит, что вы так устроены... или воспитаны... А для меня радость быть свободной, а это деньги... Для меня радость всем нравиться, и вам тоже... Может быть, я потому и говорю вам все

это, что боюсь... или не хочу, чтобы я вам не нравилась, и вы плохо обо мне думали, хотя мы больше никогда не увидимся... Мы будем жить с Валеркой где-нибудь у моря и радоваться... - Она переходит на шепот. - Как страшно, что жизнь одна! Это так страшно! Кругом старятся и умирают... Как про себя подумаю, выть хочется! И кто-то еще смеет учить меня, как мне жить, то есть как мне приличнее умереть... Гады! Раньше легче было, в Бога верили. Так эти суки и его конфисковали! В этой стране всякий имеет право жить, как хочет, и ни с кем не считаться, потому что все врут... А мы с Валеркой будем жить там, где нам лучше. Если он мне изменит, я его убью, паразита, и выйду замуж за издыхающего миллионера, и буду покупать радости, пока сама не сдохну! А про Родину - это придумал кто-то, кто тоже понимает, что жизнь одна, и хочет помешать всем это понять и успеть самому оттяпать от жизни побольше, пока другие всякими химерами забавляются: капитализмом, коммунизмом, социализмом. Мне все такие слова напоминают скрежет замка, которым меня мамаша в детстве закрывала, когда убегала к любовникам на ночь.

- Стоп, - прерываю ее бесцеремонно. - А вы, Валера, вы, так сказать, единомышленник?

Он поворачивается ко мне, кладет руки на спинку сидения, подбородком на руки, но смотрит не на меня, а на нее. Мне кажется, что он смотрит на Людмилу с нежностью, какой я еще не замечал.

- Знаете, кто она? Жанна д'Арк! Только с другим знаком. Не с минусом, а каким-то другим.

Не могу понять, иронизирует или серьезно...

- В нашем союзе она - мозговой трест. Да вы, наверное, сами догадались. Она это все придумала давно. Думал, дурит. А она английский за год выучила. Только мамаша мешала...

- Врешь! - кричит Людмила, но тут же машет рукой. - Ну, мешала, ну и что? Ей и надо было в жизни коттедж да тебя в постели. Если бы ее не посадили, я все равно добилась бы своего... А я ее люблю, люблю, понял!

- Это факт. Она ее любит, - спокойно подтверждает Валера.

- А меня она ненавидела за то, что я отбивала Валерку внаглую. Потому что мы пара...

- Это тоже факт. Мы два сапога, а точнее, два полуботинка, и из нас двоих один отличный ботинок получится, на который никто не позарится.

Что-то уж больно сложным подтекстом заговорил Валера или я устал и теряю понимание.

- А вы уверены, - спрашиваю, - что вам удастся легко перейти границу?

Людмила самодовольно ухмыляется.

- Не мы одни понимаем, что второй жизни не будет, не мы одни хотим больше радостей, а на радости нужны деньги. Вы - марсианин, вы даже не представляете, что значат для грешных землян деньги, особенно в валюте! Кстати, о деньгах. Валерка, достань!

Валера лезет куда-то в машинные загашники, достает целлофановый пакет, крест-накрест перетянутый голубой изолентой, протягивает мне, но Людмила перехватывает.

- Это советские рубли из тайника. Для нас

это мусор. Здесь что-то около семидесяти тысяч, и я умоляю вас взять их.

Наверное, я меняюсь в лице, потому что Людмила буквально лопочет, схватив меня за руки, словно я собираюсь ударить кого-то.

- Да подождите, подождите! Пусть это не лично вам. Я уважаю вашу жизнь, честное слово! Вы ведь всегда будете такой, как есть! Вы обязательно будете делать какие-нибудь революции или контрреволюции, вы никогда не будете жить, как все. Вы же это сами знаете! Ленин даже у немцев деньги брал, не брезговал. Мы же с Валеркой не хуже немцев.

- Но я не Ленин...

- Чепуха!

Она не дает мне говорить.

- Чепуха! Политика тоже не делается без денег, и никто на политику денег не зарабатывал. Всегда где-то брали. Большевики банки грабили и при этом ведь кто-то невинный погибал, кто ни при чем... А эти деньги, они, как с неба, считайте, что вы их нашли или как-нибудь по-другому... Только возьмите...

Вдруг она замолкает, отпускает мои руки. Швыряет пакет за спину в свалку багажника.

- Я знала, что вы не возьмете. Ну, и чёрт с вами!

Отворачивается и смотрит в сторону моря, которого почти не видно из-за дождя. А дождь все такой же проливной, и уже темнеет. Мы сидим молча. Никто ни на кого не смотрит, словно все устали друг от друга.

Фраза, которую я произношу, дается мне нелегко.

- Ну, что? Пора расставаться?

Людмила выпрямляется, заводит руки за



голову, собирает волосы в пучок, придерживая левой, правой рукой натягивает парик и мгновенно становится чужой, а я успеваю подумать, что если бы она произносила свои монологи в этом парике, они меня задели или тронули бы лишь чуть-чуть. Она поворачивается ко мне, придвигается.

- Можно я поцелую вас?

- Только не в парике! - говорю почему-то громко и зло.

Она тут же его срывает, и снова это чудо преобразования или возвращения в образ странной, приятной болью откликается в душе. Мои руки каким-то образом оказываются на ее плечах, впрочем, не мог же я убрать их за спину или засунуть в карманы. Прощальный поцелуй получается взаимно не чист, и мы оба понимаем это, но я списываю нечистоту на прощальность, а на что она - Бог знает... Ее губы где-то около уха. Она шепчет.

- Если посмеете меня жалеть, имейте в виду, я отомщу вам тем же. Любого можно пожалеть, как ужалить.

Я спешу прервать слегка затянувшееся прощанье и, пожимая руку Валере, уже не смотрю, как Людмила натягивает парик.

Из машины выбираюсь зонтом вперед, сначала распускаю его и лишь затем покидаю машину и захопываю дверцу. Уже обходя, задерживаюсь у шоферского стекла. Стекло опускается, я наклоняюсь.

- Дорога мокрая. Видимость плохая. Будьте осторожны.

Он отвечает серьезно.

- Я буду осторожен. Автобусная остановка за поворотом.

И все. Я пропускаю машины и перехожу на другую сторону дороги. "Жигули" вырывают и без остановки исчезают в дожде. Никого рассмотреть не успеваю. Никаких прощальных жестов. И я один на шоссе, если не считать пронсящихся машин и моря за спиной.

Под своим зонто-парашютом осторожно, почти наощупь спускаюсь к морю. Мне кажется, что в моей крадущейся походке должно быть что-то угрожающее, ведь очень возможно, что я намерен кое с кем свести счеты или, по крайней мере, высказать нечто весьма нелюбезное. Во всяком случае, в человеке под нелепым зонтом, подбирающемся к морю, не должно быть ничего смешного, и тем более жалкого.

Море штормит, но как-то вяло и уныло.

"Ну что, мировая лужа, - спрашиваю язвительно, - понимаешь ли, кого породила и обрекла? Радуйся!" И я ранен. Мне тошно. И долго, очень долго все будет валиться у меня из рук, потому что я усомнился. Никаких деталей не будет!

Но что если я уже никогда не буду уверенным и нахрапистым, без чего немыслимо никакое действие? А что я без действия?!

Ах, как она меня ранила, эта дрянь! Как она меня ранила! Ведь дрянь же! По всем меркам и критериям - дрянь! Она так легко осудима, что и делать этого не хочется.

Нет, я не столько уязвлен тем, что вся моя сложность (все мы сложны) оказалась примитивным кроссвордом для девицы приморского городка, сколько, если не сражен, то подкошен моим марсианством в этой жизни, которую

имел дерзость считать объектом личной инициативы.

А все – море. Все началось с моря. А кончилось девицей в парике. И больно!

Я стою под дождем, гляжу на море и повторяю не очень осмысленно:

– Дрянь! Ах какая дрянь! И как же это грустно. Боже, как грустно, что я больше никогда не увижу тебя... дрянь...

*Декабрь 1988 г.*



\* \* \*

I

В алом, готовом осыпаться вскорости  
с веток на влажную жечь,  
что-то от энной безрадостной повести  
честного Чехова есть.

Ибо и впрямь, затяжную, вчерашнюю  
непогодь, сидя без свеч  
в тесном именнице, хочется, кашлянув,  
Ниной Заречной наречь.

Там на пространствах с ненадолго вкрапленным  
в волглую толщу огнём  
ты прикоснулась холодным расслабленным  
ртом к моему под дождём.  
В те же минуты на сотни бесхозные,  
вырвавшись из-под колёс,  
от полустанка свистки паровозные  
ревностно ветер принес...

II

В те полисадники к георгинам  
в каплях дождя – вернуть  
в пику уже улетающим клином  
днесь журавлям... Мисюсь,  
где ты? И не дожидаясь ответа,  
снова: Мисюсь,  
где ты?  
И тишиной обожгусь.

...Волглая изморось светится на  
дугах шиповника,  
словно в тумане поставлена  
верша садовника.  
И подвывает лишь тишина  
ржавым петлям дверным.  
О невидимка! Русским славна  
гонором жертвенным.

### III

Чайка кричит в молоке непогоды,  
словно у ней  
роды,  
около тусклых огней  
славного ялтинского променада  
с барской ротондою той,  
где нас волной обдавало когда-то  
раньше раскидистой.

Или прощальные хрипы  
в чеховских лёгких к мадам  
Книппер  
вновь адресуются там?  
Помнишь – бесшумно махина  
с пирса снималась при нас  
и стебелёк стеарина  
в храме приморском погас...

*Октябрь 1989*

## ОХОТА

Отцветающий крин  
заболоченных сопок озерных.  
Там один на один  
сторонился я заводей торных,  
загребая веслом  
на стеблях дрейфовавшие листья,  
то-то задним числом  
затянули б, цепляясь – вернись я.

Еле вспыхнув, погас  
луч, нашаривший валковую лодку.  
Столько смолоду раз  
обжигало лужёную глотку,  
так обложен язык  
был с утра – что ещё и донныне  
замурованный крик  
в прибережной троится руине.

...Снится сквозь зеленцу  
акварели землистой,  
словно шелест слепцу,  
парусинящий дождь шелковистый,  
под которым серо  
стлались россыпями незабудки  
и пласталось крыло  
коченеющей утки.

*20 сентября 1989*

## СПРОСИ, ПРИТВОРИВШИСЬ НЕМОЮ...

*Осень. Древний уголок  
Старых книг, одежд, оружия.  
П.*

### I

Спроси, притворившись немою,  
у ветра, чья песня вольна,  
почто в неприступную хвою  
берёзы лоза вживлена,  
горящая тихо, продольно;  
а вдруг в приозёрном логу  
ей – больно  
и холодно на берегу.

...Чего ж заждалась, не спросила?  
Быть может, сквозь влажную пыль  
– то золотосная жила  
мурановских приисков иль  
нездешней красой леденящих,  
чья недорастрочена мощь,  
а значит, тем паче пропащих  
распадков михайловских роц.

### II

Над садом, подлеском с рябиной  
в скукоженных комьях кистей  
– усадебный ворон былинный  
судьбинно скликает гостей.

Не там ли созрело, а после  
упало державное вмиг  
зелёное яблоко – возле  
обтянутых кожей книг?

...Приблизив к раскрытым – слезами  
наполненные глаза,  
счастливы, смотрели б часами,  
что грешники на образа,  
как, строя читателю куры,  
бахвалится древком с косою  
костлявая – в нетях фактуры  
старинных страниц с рыхлотцой.

### III

В бревенчатой горнице пакля  
неправдоподобно свежа  
и – лезвием пахнет  
с наборною ручкой ножа.  
О, всё отражающий, кроме  
реальности, тусклый овал  
настенного зеркала – в доме,  
где кто-то до нас побывал,

в ещё не разохшейся раме,  
подобной тугим обручам,  
мы верим твоей амальгаме  
и честным беззвучным речам.  
Шагнуть – и сторицей  
ответят с другого конца  
разбуженные половицы,  
и дверь, и ступенька крыльца...

*Сентябрь 1989*



ВСТРЕЧА-ПРОЩАНИЕ

*В этом году я побывала в Москве.  
Впервые за шестнадцать лет со вре-  
мени отъезда.*

*- Пиши нам, - говорили, прощаясь,  
близкие и друзья. И я написала  
вот эти стихи.*

1.

Тянуло пряным ароматом,  
Устойчивым, тяжеловатым:  
Цвела рябина. Всё цвело,  
Да только время истекло.

Расцветшая нежданно-рано,  
Сирень припомнится нет-нет,  
Черёмух, яблонь хрупкий цвет  
И свечи белые каштана.

Весна, весна... И сердце сжалось.  
Не так уж мало в дар досталось:  
Мой шаг нетвёрдый – за порог  
И твой несказанный упрёк.

2.

*Сестре Жене*

А что привидится потом,  
Когда расстанемся? О том  
Сейчас не думай. Не серчай,  
Что терпок он, крепчайший чай,

И что я сдуру до одышки,  
Без устали, без передышки  
За чашкой чашку чай цежу  
И горькой памяти служу.

3.

Пора нам прощаться – и надо.  
Пройдемся ещё по Тверской...  
На сердце – печаль и досада,  
А лучше бы – лёгкость, покой.

4.

Разговоры, разговоры,  
Ты да я, да я да ты,  
Будто впору – в эту пору! –  
Горький привкус суеты.

Всё упало, всё пропало  
Для тебя и для меня –  
За минуту до обвала,  
В этом жёстком свете дня.

5.

*Маме*

От весны не уйти, слава Богу,  
С Подмосковьем и нашей избой...  
Дальний лес, полевая дорога,  
По которой бродила с тобой.

Родниковое что-то, родное  
Бормотала ты мне у реки.  
Как боюсь, что от южного зноя  
Пересохнут мои дневники!

Скоротать бы остаток июля  
Хоть в каком-нибудь березняке!  
А берёзка, росток, крохотуля,  
Твой подарок – в цветочном горшке.

Что вдруг вспомнилось: *скучно и грустно?*  
Ничего, как-нибудь перебысью.  
Всё так путано, так безыскусно,  
Что и вымолвить слово боюсь.

6.

Сморчки, весенние грибы,  
Из леса принесли домой.  
Так внятны запахи избы,  
Так памятны – что Боже мой!

Зачем испытывать судьбу?  
Зачем увидеть довелось  
Вот эту старую избу,  
С которой столько жизнью – врозь?

Сны, скрипы, ветоши клочки  
Собраться в целое хотят.  
Мои бывшие башмачки  
Мне узнаваемостью мстят.

Кофтёнка, бабушкин комод  
И кресло старое моё...  
Уборки, будничных забот  
Всё так же требует жильё.

Пусть май, но лето на носу,  
Июнь торопит переезд.  
Наводим марафет – красу,  
Не сдвинув вещи с вечных мест.

Припомню дом, террасу, сад,  
Бурьян, крапиву и кусты,  
И разговоры невпопад –  
Предвосхищенье немоты.

7.

Все мы, видно, причастны к разлуке.  
Ты пойми меня, молча пойми.  
Если можешь, возьми на поруки  
Или на руки подними.

8.

Полдень лета. В исходе июля  
Что ей делать, весенней поре?  
Свое имя московское "Юля"  
Напишу на песке во дворе.

А в потрёпанной папке сосулька –  
Старый снимок. А я берегу:  
Кто-то, помню, зазорное "Юлька"  
Лыжной палкой чертил на снегу.

9.

Не дано мне – нет, не дано,  
Чтоб всё это не отозвалось;  
Переулок, дом и окно,  
Где так много меня осталось.

И никак не забыть притом,  
Что, подобно блудному сыну,  
Я вернулась в свой старый дом –  
И так скоро его покину.

10.

Круглятся в окнах купола  
На улице Чайковского,  
И мы сидим вокруг стола,  
Кухонного, московского.

Сирень мерцает в полумгле,  
Вконец разлиловевшая,  
Уже закуски на столе  
И рюмки запотевшие.

В каком углу, в каком краю  
Я так неловко счастлива?  
(Представив вдруг, что я в раю,  
Я съежилась опасливо.)

Не умолкает телефон  
Ни дня: родня, знакомые, –  
Такой трезвон со всех сторон,  
Как вправду дома я.

Как будто больше нет потерь.  
Но скоро в нетерпении  
Судьба укажет мне на дверь.  
Остановись, мгновение!

А впрочем, будет новый день  
Вот здесь, с гостями, с гостьями.  
И в вазе влажная сирень  
Опять заблещет гроздьями.

А там – отлёт, отлив, отрыв.  
Конец всему. Я в воздухе.  
И остаётся только миф  
О том коротком роздыхе.

11.

*Леоноре Черняховской*

А я иду, не поднимая глаз.  
Что память ненароком воскресила?  
Здесь Новый год вставал шестнадцать раз,  
Шестнадцать раз весна входила в силу,  
Но не было меня во всей Москве  
Ни на единой улочке знакомой.  
Тут даже камню – можно быть. Траве!  
Тут дома все – лишь я одна не дома.  
Апрель, и май, и кругом голова.  
Всё в памяти сбылось, всё сохранилось.

Я чувствую, что я еще *жива*:  
Вот так, неожиданно, слово обронилось.

12.

Всё-то маюсь я, всё-то каюсь,  
Всё с собою не расквитаюсь.  
А дневные глаза слипаются,  
А ночные сны рассыпаются,  
Рассыпаются, будят вновь  
Век, разлуку, судьбу, любовь.

13.

Думала: не будет чуда,  
Нет возврата в никуда,  
Я и ехала оттуда  
На века – не на года.

Десять жизней я в смятенье  
Вспоминала свой отъезд.  
Станным стало обретенье  
Хоть на месяц – этих мест.

Вновь скользнуть бы, улетаю,  
Быстрой тенью по Москве.  
Тает чудо. Чудо тает,  
Исчезая в синеве!

*Июль 1989, Израиль*



Марина ЦВЕТАЕВА

## Неопубликованные письма

### Предисловие\*

Хотя до самых памятных годовщин Марины Цветаевой остается еще несколько лет – 1991 – 50-летие смерти, 1992 – 100-летие рождения, за последние несколько лет вышло несколько ценных книг, касающихся ее биографии: Марии Разумовской "Марина Цветаева – Миф и действительность", исследования С. А. Карлинского, Анны Саакянц, Виктории Швейцер, Илейн Файнстайн и, в первую очередь, книга ставшая бестселлером года – Мария Белкина "Скрещение судеб. Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни".

Предлагаемые здесь вниманию читателей 4 письма Марины Цветаевой адресованы к Людмиле Васильевне Веприцкой, скончавшейся в 1988 году в Москве детской писательнице, дружба с которой возникла в начале 1940 года в Доме отдыха писателей в Голицыно (по Белорусской железной дороге). Читая эти письма, мы становимся свидетелями небольшого, но биографически важного отрезка времени – мытарств, связанных с неустойчивым положением поэтессы, вылазками недоброжелательных чиновников Союза писателей и Литфонда и с одним из ее последних увлечений, к сожалению, весьма неудачным.

Нелишне будет напомнить, что, вернувшись из Парижа в СССР с сыном Георгием (Муром), Цветаева жила одно время на даче НКВД, в поселке Болшево,

---

\* Публикация и предисловие Игнатия Шенфельда.



недалеко от Москвы. Там проживали уже раньше ее муж Сергей Эфрон и дочь Ариадна (Аля). Второго августа арестовали дочь, а десятого октября — ? Цветаева с сыном не захотела оставаться в пустой, запущенной даче, где веяло смертью. Она осталась на улице, ибо прописку в Москве не получила. Ее не приняли ни в Союз писателей, ни даже в члены Литфонда. Она стала членом группкома, как какой-нибудь начинающий сочинитель. Она обратилась к Фадееву, чтобы он помог ей получить какое-либо жилье и добыть с таможни вещи, книги и рукописи. Фадеев отделался тем, что рекомендовал ей снять в Голицыно, с помощью директора местного Дома отдыха писателей, частную комнату за 200–300 рублей в месяц. Директор Литфонда Оськин поручил известной в писательских кругах Серафиме Ивановне Фонской подыскать для Цветаевой комнату в доме, где не было электричества. Но директор Дома отдыха, куда Цветаева с сыном ходили питаться по курсовке, всевластная Фонская, зная об отношении начальства к несчастной репатриантке, не пожелала дать ей даже керосиновую лампу. Пришлось бы жечь лучину или сидеть в темноте, если бы не вмешалась писательница Людмила Веприцкая, жившая в это время в Доме отдыха. Темпераментная женщина устроила скандал и добилась для Цветаевой лампы. Так началась дружба, и Веприцкая стала наперсницей Марины Ивановны, которая доверяла ей все свои тайны.

В результате остались — печатаемые впервые — письма, написанные Цветаевой по старой орфографии, но публикуемые мною по новой — с соблюдением всех особенностей правописания и пунктуации автора.

*[И. Шенфельд]*

\* \* \*

1.

*Голицыно, безвестный переулок, дом с тремя красными звездочками, 40 гр. мороза, 9-го января 1940 г.*

Дорогая Людмила Васильевна,

Это письмо Вам пишется (мысленно) с самой минуты Вашего отъезда. Вот первые слова его (мои - Вам, когда тронулся поезд):

- С Вами ушло все живое тепло, уверенность, что кто-то всегда (значит - и сейчас) будет тебе рад, ушла смелость входа в комнату (который есть вход в душу). Здесь меня, кроме Вас, никто не любит, а мне без этого холодно и голодно, и без этого (любви) я вообще не живу.

О Вас: а Вам сразу поверила, потому что узнала - свое. Мне с Вами сразу было свободно и надежно, я знала, что Ваше отношение от градусника - уличного, комнатного - и даже подмышечного (а это важно!) не зависит, с колебаниями не знакомо. Я знала, что Вы меня приняли всю, что я могу при Вас - быть, не думая - как то или иное воспримется - и столкнется - взвесится - наладится. Другие ставят меня на сцену (самое противоестественное для меня место) - и смотрят. Вы - не смотрели, Вы - любили. Вся моя первая жизнь в Голицыно была Вами бесконечно согрета, даже когда Вас не было (в комнате), я чувствовала Ваше присутствие, и оно мне было - оплотом. Вы мне напоминаете одного моего большого женского друга, одно из самых увлекательных и живописных и природных женских существ,

которые я когда-либо встретила. Это - вдова Леонида Андреева, Анна Ильинична Андреева, с которой я (с ней никто не дружил) продружила 1922 г. - 1938 г. - целых 16 лет.

Но - деталь: она встретила меня молодой и красивой, на своей почве (гор и свободы) со всеми козырями в руках, Вы - меня убитую и такую плачевную в зеркале, что - просто смеюсь! (Это - я???)... От нее шел Ваш жар и у нее были Ваши глаза и Ваша масть, и встретившись с Вами, я не только себя, я и ее узнала. И она тоже со всеми ссорилась - сразу! и ничего не умела хранить...

Да! Очень важное: Вы не ограничивали меня - поэзией, Вы, может быть, даже предпочитали меня (живую) - моим стихам, и я Вам за это бесконечно благодарна. Всю жизнь "меня" любили: переписывали, цитировали, берегли все мои записочки ("автографы"), а меня - так мало любили, так - вяло. Ничто не льстит моему самолюбию (у меня его нету) и все льстит моему сердцу (оно у меня - есть: только оно и есть). Вы польстили моему сердцу.

- Жизнь здесь. Холодно. Нет ни одного надежного человека (для души). Есть расположенные и любопытствующие (напр., - Кашкин), есть равнодушные (почти все), есть один - милый, да, и даже любимый бы - если бы... (сплошное сослагательное!), я была уверена, что это ему нужно, или от этого ему, по крайней мере - нежно... ("И взвешен быв, был найден слишком легким" - это у меня в пьесе "Фортуна", о герцоге Лозэне, которого любила Мария-Антуанетта - и гр. Чарторийском - и многие, и многие - а в жизни (пьесе обратной Фортуне) почти обо всех, кого я люблю... Я всю

жизнь любила таких как Т. и всю жизнь была ими обижена – не привыкать-стать... ”Влечение, род недуга”...)

Уехала жена Ноя Григорьевича (я его очень люблю, и он меня, но последнее время мы мало были вместе, а вместе для меня – вдвоем, могу и втроем, но не с такой нравоучительной женой), завтра уезжает и он (на несколько дней) и уезжают татарин с женой (навсегда) и Живов, который нынче, напоследок, встал в 2 1/2 ч. дня, а вечером истопил в столовой – саморучно – хороший воз дров.

Новые: некий Жариков, с которым мы сразу поспорили. В ответ на заявление Жиги, что идя мимо ”барского дома” естественно захочется наломать цветов, он сказал, что не только – наломать – но поломать все цветы и кусты, потому – что это – чужое, не мое. Я же сказала, что цветы – вообще ничьи, т. е. и мои – как звезды и луна. Мы не сами. ”И большинство людей – так чувствуют”, утверждал молодой писатель – 9/10 так чувствуют, а 1/10 – не так – спокойно заметил Н. Г. (Я в полной чистоте сердца никогда не считала цветок ”чужим”. Уж скорей – каждый – своим: внутри себя – своим... Но разная собственность бывает...) Жена сказала, что я уж слишком ”поэтично” смотрю на вещи, а Мур – такое отношение к чужим садам объяснил моей интеллигентной семьей, не имевшей классовых чувств... – Ух! И все это – потому – что мне не хочется камнем пустить в окно чужой оранжереи. (Почему все самые простые вещи – так трудно объяснимы, в конечном счете недоказуемы?!)

Еще был спор (но тут я спорила – внутри

рта) – с тов. Санниковым, может ли быть поэма о синтетическом каучуке. Он утверждал, что – да и что таковую пишет, что всё – тема. (– “Мне кажется, каучук нужен не в поэмах, а в заводах” – мысленно возразила я). В поэзии нуждаются только вещи, в которых никто не нуждается. Это – самое бедное место на всей земле. И это место – свято. (Мне очень трудно себе представить, что можно писать такую поэму – в полной чистоте сердца, от души и для души.)

Теперь о достоверном холоде: в столовой, по утрам, 4 гр., за окном – 40. Все с жадностью хватаются за чай и с нежностью обнимают подстаканники. Но в комнатах тепло, в иных даже пёкло. Дома (у меня) вполне выносимо и даже уютно – как всегда от общего бедствия. В комнате бывшего ревизора живут куры, а кошка (дура!) по собственному желанию ночует на воле, на 40-градусном морозе. (М. б. она охотится за волками?)

Ваш “недососок” безумно умилителен. Сосать – впустую! Даже – без соски! И – блаженствовать. Чистейшая лирика. А вот реклама (не менее умилительная!) для сосок – Маяковского (1921 г.). (Первые две строки – не помню.)

...Ну уж и соска, – всем соскам – соска!  
Сам эту соску сосать готов!

(Почему-то эта соска в его устах мне видится – садовой шлангой или трубой громкоговорителя, или той – Страшного суда...)

А вот – о “горбатости”, Вашей и моей – старые стихи 1918 г., но горб – все тот же.

И вот, навьючим на верблюжий горб,  
На добрый – стопудовую заботу,  
Отправимся – верблюд смирен и горд –  
Справлять неисправимую работу.

Под темной тяжестью верблюжих тел,  
Мечтать о Ниле, радоваться – луже,  
Как господин и как Господь велел –  
Нести свой коест – по-божьи, по-верблюжьи.

И будут в золоте пустынных зорь  
Горбы – болеть, купцы – гадать: откуда,  
Какая это вдруг напала хворь  
На доброго, покорного верблюда?

Но, ни единым взглядом не моля –  
Вперед, вперед – с сожженными губами,  
Пока Обетованная земля  
Большим горбом не встанет над горбами.

Но верблюды мы с Вами – добровольные.  
(Кстати, моя дочь Аля в младенчестве говорила: горблюд, а Мур – люблюд (от люблю).

Кончаю. Увидимся – и будем видеться – непременно. Я за Вашу дружбу – держусь.  
Обнимаю Вас и люблю.

Очень хочу, чтобы Вы сюда приехали.

*МЦ*

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Анна Ильинична Андреева (ур. Денисевич) 1885–1948.  
Вторая жена Л. Н. Андреева. Цветаева подружилась с нею  
в Чехословакии после рождения сына Георгия.

Иван Александрович Кашкин, 1899–1963, критик и переводчик с английского языка, исследователь творчества Э. Хемингуэя.

Лозэн – герцог Бирон, 1853–1793, усмиритель Ван-деи, возлюбленный Марии-Антуанетты, герой пьесы Цветаевой "Фортуна".

Леонид Жариков, 1911 – автор книг о революционном Донбассе.

Евгений Борисович Тагер, 1906 – литературовед, автор трудов о М. Горьком и В. Маяковском.

Ной Григорьевич: Ноях Гершелевич Лурье, 1886–1960, еврейский писатель, новеллист и драматург.

М. С. Живов, литературовед, славист.

Иван Федорович Жига, 1895–1949, очеркист.

Григорий Александрович Санников, 1899–1969, поэт, автор поэмы "Сказание о каучуке" (1934).

Стихотворение о верблюдах, датированное 14 сентября 1917, хранилось в архиве Цветаевой у дочери Ариадны. Впервые напечатано в "Избранных произведениях". Сов. писатель, М.–Л., 1965.

## 2.

*Голицыно, 29-го января 1940 г.*

Дорогая Людмила Васильевна,

Начну с просьбы – ибо чувствую себя любимой. ("Сколько просьб у любимой всегда...") Но эта просьба, одновременно, упрек, и дело – конечно – в Т.

Я достала у Б. П. свою книгу "После России", и Т. не хотел с ней расставаться (ЛВ! с ней – не со мной – *passons*). Когда он уезжал, я попросила его передать ее Вам – возможно скорее – но тут начинается просьба: я мечтала, чтоб Вы ее мне перепечатали в 4-х экз., один – себе, один – мне, один – Т. и еще

запасной. "Нужно мне отдельно писать Л. В.?"  
- "Нет, я тотчас ей ее доставлю".

По Вашему (вчера 28-го полученному) письму вижу, что Т. не только Вам ее не отнес, а Вам даже не позвонил.

Дело же, сейчас, отнюдь не только лирическое: один человек из Гослитиздата, этими делами ведающий, настойчиво предлагает мне издать книгу стихов - с контрактом и авансом - и дело только за стихами. Все меня торопят. Я вижу, что это важно. Давать же борисину книгу я не хочу и не могу: во-первых, там надпись, во-вторых - ее по рукам затреплют, а он ее любит, в-третьих - она по старой орфографии ("Живет в пещере, по старой вере" - это обо мне один дальний поэт, люблю эти строки...). Словом, мне до зарезу нужен ее печатный оттиск, по новой орфографии.

Конечно, я бы могла отсюда позвонить Т., но... я - и телефон, раз, я - и сам Т., два. Т. очень небрежно поступил со мной - потому, что я с ним - слишком бережно, и даже больше (переписала ему от руки целую поэму (Горы) и ряд стихов, и вообще няньчилась, потому что привязалась, и провожала до станции, невзирая на Люсю и ее выходки...) - я назначила ему встречу в городе, нарочно освободила вечер (единственный) - все было условленное заранее, и, в последнюю минуту - телеграмма: - К сожалению не могу освободиться - (без всякого привета). После того у меня руки - связаны, и никакие бытовые нужды не заставят меня его окликнуть, хоть бы я теряла на нем - миллиарды и миллиарды.

Он до странности скоро - зазнался. Но я всегда думала, что презрение ко мне есть пре-



зрение к себе, к лучшему в себе, к лучшему себе. Мне было больно, мне уже не больно, а что сейчас важно – раздобыть у него книгу (его – забыть).

Тот вечер (с ним) прошел, – а Б. П., который, бросив последние строки Гамлета, пришел по первому зову – и мы ходили с ним под снегом и по снегу – до часу ночи – и все отлегло – как когда-нибудь отляжет – самая жизнь.

О здесь. Здесь много новых и уже никого старого. Уехал Ной Григорьевич, рассказывающий мне такие чудные сказки. Есть один, которого я сердечно люблю – Замашкин, немолодой уже, с чудным мальчишеским и изможденным лицом. Он – родной. Но он очень занят, – и я уже обожглась на Т.

### Старая дура

- Годы твои – гора,  
Время твое – царей.  
Дура! любит старая.  
Други! любовь – старей:

Чудищ старей, корней,  
Каменных алтарей  
Критских старей, старей  
Старших богатырей...

Так я всю жизнь отыгрывалась. Так получались книжки.

Ваши оба письма – дошли. Приветствую Ваше тепло – когда в доме мороз – все вещи мертвые: издыхают на глазах, и несвойственно живому жить среди мертвецов, грея их последним

теплом - сердечным. Молодец - Вы, этой удали у меня нет.

О себе (без Т.) - перевожу своего "Гоготура" - ползу - скука - стараюсь оживить - на каждое четверостишие - по пять вариантов - и кому это нужно? - а иначе не могу. Мур ходит в школу, привык сразу, но возненавидел учительницу русского языка - "паршивую старушонку, которая никогда не улыбается" - и желает ей быстрой и верной смерти.

Ну, вот и все мои новости. Хозяйка едет в город - тороплюсь.

Очень прошу: когда будете брать у Т. книгу - ни слова о моей обиде: много чести.

Не знаю, как с бумагой, но лучше бы каждое стихотворение на отдельном листке, чтобы легче было потом составить книгу, без лишней резки. И умоляю Вас - если можно - 4 экз. п. ч. целиком перепечатываться эта книга - навряд ли будет.

Обнимаю Вас и люблю. Пишите.

*МЦ*

## ПРИМЕЧАНИЯ

Мария Белкина, автор книги "Скрещение судеб", которая, возможно, читала у Веприцкой публикуемые здесь письма или скорее читала их черновики в записной книжке Марины Ивановны, пишет:

"Тогда в январе, в Голицыно впервые возникает разговор об издании сборника стихов Марины Ивановны. Какой-то человек из Гослитиздата, этими делами ведающий, предлагает ей издать книгу. И остановка только за стихами. Но у нее нет своих книг, тетрадей,

все задержано на таможене. Она достала у Бориса Леонидовича (Пастернака. – И. Ш.) "После России", но эту книгу увез Тагер в Москву и не торопится вернуть.

И еще необходимо "Ремесло". Марина Ивановна хочет составить эту новую книгу для Гослитиздата из выпущенных ею в эмиграции – "Ремесло", Берлин 1922, и "После России", Париж, 1922. Из двух она хочет сделать одну...

...А "После России" все еще у Тагера, и Марина Ивановна из-за гордыни к нему не обращается, она им обижена, звонить ему не хочет. Положение спасает Ной Григорьевич Лурье..."

По поводу стихотворения "Старая дура": М. Белкина нашла в нотатнике поэта стихотворение, помеченное 23 января:

Пора! для этого огня

Стара!

- Любовь - старей меня!

- Пятидесяти январей

Гора!

- Любовь - еще старей,

Стара, как хвощ, стара, как змей,

Старей ливонских янтарей,

Всех привиденских кораблей!

Старей! - камней, старей - морей...

Но боль, которая в груди, -

Старей любви, старей любви.

Цветаева перевела героическую поэму грузинского классика Важа-Пшавелы, 1861-1915, "Гоготур и Апшина".

Голицыно, 3-го февраля, 1940 г.

Дорогая Людмила Васильевна,

Вчера вечером с помощью Ноя Григорьевича – моего доброго гения – звонила Т. Говорила любезно и снисходительно, и выяснила следующее: он не знал, что это "так спешно" (хотя предупреждала его, что книга – чужая, дана мне на срок, и т. д.), с Вами у него вышло "какое-то недоразумение", как раз нынче собрался мне звонить, и даже как-нибудь мечтает приехать – словом, все очень мягко и неопределенно. (Я ни слова не сказала ему о тоне Вашего письма, – только, что Вы до сих пор от него книги не получили.) Когда же я стала настаивать, чтобы он немедленно (хорошее немедленно, когда он уехал 23-го!) Вам книгу свез, он стал петь, что его цель – получить оттиск, а Вы ему такого не дадите. – Да, но моя цель – возможно скорее иметь свой оттиск, п. ч. это нужно для Гослитиздата! – но тут случился сюрприз: оказывается, у него на руках и другая моя книга, к-ую я ищу по всей Москве, и тоже до зарезу мне нужная (из двух будет (если будет) – одна). Пришлось сдержать сердце – и даже просить, чтобы он меня выручил, т. е. одолжил на время.

Относительно же первой "сговорились" – так: так как он безумно хочет иметь свой оттиск, а Вы не дадите, он попытается устроить перепечатку сам – в течение 5-ти дней. Я, сначала, было, возмутилась (ибо книга моя,

всячески), но тут же поняла, что он этим Вас избавляет от большой работы, а что, если Вы бы когда-нибудь захотели иметь свой оттиск, Вы бы всегда смогли, не спеша, перепечатать для себя - с моего. Командовать же мне не пришлось, п. ч. вторая книга - у него, а она мне необходима, а он мог бы озлобиться. - Уф!

Но все-таки - такую вещь он услышал: - Торговаться со мной - чистое безумие, и даже невыгодно: я всегда даю больше, и Вы это знаете.

Чем кончится история с его перепечаткой - не знаю. Диву даюсь, что он, держа книгу на руках целых десять дней - да ничего, просто продолжает держать...

Подала заявление в Литфонд, отдельно написала Новикову, отдельно ездила к Оськину, к-й сказал, что решение будет "коллегиальное" (кстати, оно уже должно быть - 1-го). Теперь - жду судьбы. Мур учится, я кончаю своего "Гоготура". А в общем - темна́ вода во облацех. При встрече расскажу Вам одну очень странную (здесь) встречу.

В общем, надо всем: работой, хождением в Дом Отдыха, поездками в город, беседами с людьми, жизнью дня и снами ночи - *тоска*.

Обнимаю Вас и прошу простить за скуку этого письма, автор которого - *не я*.

МЦ

Голицыно, 5-го февраля, 1940 г.

Дорогая Людмила Васильевна! Первое письмо залежалось, п. ч. не успела передать его надежному отъезжающему - уехал до утреннего завтрака. Но вот оно, все же - как доказательство (впрочем, не сомневаюсь, что Вы во мне - *не сомневаетесь*). А вчера вечером - Ваше, с двумя Т - Тютчевым и другим. Первый восхитил и восхитил - от второго, второй *не* удивил. Я, как и Вы, наверное, всегда начинаю с любви (т. е. всякого кредита) и кончаю - знакомством. А от знакомиться недалеко и до раззнакомиться.

Я Т. не меньше обижена, чем Вы, а м. б. - больше, а скорее всего - одинаково: - Но мне порукой - *Ваша честь*, - И *смело* ей себя вверяю! - (Побольше бы *чести* - и поменьше бы *смелости!* Кстати, по мне, Татьяна - изумительное существо: героиня не верности, а достоинства: не женской верности, а человеческого достоинства. - Люблю ее.)

Сейчас, кстати, Т. мною взят на испытание: одолжит ли мне мою просимую книгу, за которой я к нему направила одного милейшего здешнего человека. (Может, конечно, отвертеться, что книга - чужая, ему - доверена, и т. д.)

Дорогая Л. В. (простите за сокращение, но так - сердечнее), никакой Т. нас с вами никогда не рассорит, ибо знаю цену - Вашей души и его (их) бездушию. Ведь это тот же "Юра" - из повести, и та же я - 20 лет назад, но только оба были красивее и все было -

куда серьезнее. Бесконечная любовь? Неодушвенность любимого тобою предмета - если он человек. Ведь даже янтарь от твоей любви (сердечная жара!) - сверкает, как никогда не сверкает - от солнечного.

- Кончаю своего "Гоготура", а у Мура даже глагол "гоготуриться". Сплошное го-го - и туры (звери). Когда Гоготуру (впрочем, не он, mais c'est tout comme) раскаивается - он *долго* бьет себя по голове пестом (медным). Как такое передать - в одной строке? (Подстрочник: "Раскаившись, он долго бил себя по голове пестом"...). Теперь он уже отбил себя и в виде Хэвес-бэри (смесь муллы и священника) ниспращивает благодать на Грузию. А по ночам раскаивается в раскаянии и воет по своему "мертвом молодечестве". Сур-ровая поэма! На очереди - Барс (звериный Гоготур) - и - боюсь - отъезд, переезд - куда???. Мне нужно серьезно с Вами посоветоваться. Оськин спросил: - А какие у Вас - дальнейшие планы? И я ответила: - Никаких.

- С книгой. Будем ждать событий. В конце концов, я всегда смогу отобрать ее у Т. - и переписать от руки.

Целую Вас, пишите. Я все еще (из трусости) не справилась в Литфонде, а срок мой - 12-го.

М.

(Приложение)

*5-го вечером*

Нынче Сер. Ив. звонила в Литфонд, справлялась о моей судьбе: решение отложено до 7-го. А 12-го истекает срок.

Но в лучшем случае - если даже продлят - мы здесь только до 1-го апреля, п. ч. с 1-го комната сдана детскому саду. Мне очень жаль Мура - придется бросать и эту школу, уже вторую за год.

Съезжать - куда??? На наше прежнее место я не поеду, потому что там - смерть. Кроме того (хорошее - кроме!) эту несчастную последнюю уцелевшую комнату у меня оспаривают два учреждения. Кроме того - дача летняя, и вода на полу - при полной топке - мерзнет. И полкилометра сосен, и каждая - соблазнительна!

Книгу (ту самую) нынче получила, но она - совершенно негодная, на всю ее 5-6 годных, т. е. терпимых - страниц. Уж-жасная книга! Я бы, на месте Т., и читать не стала. Прислал с записочкой - приветливой.

Ну, до свидания! Спасибо за всё. Буду знать о своей судьбе - извещу.

М.

Р. С. Никогда не рассоримся: еще то дерево не выросло, из к-го колыбель будет для того Т., к-ый нас рассорит!





## Два неопубликованных письма

От публикатора\*

Всем известно, что, спасая свою жизнь и творчество, после революции за рубеж уехали крупнейшие русские ученые, писатели, художники, философы, композиторы... Они с тревогой следили за событиями там, почти все не только знали, но и нутром чувствовали, что возвращение для них смертельно. Многих настойчиво пытались уговорить вернуться, — кое-кто уехал. Мы знаем, что относительно счастливая судьба вернувшегося Вертинского — случай довольно редкий. (Говаривали, что сам Сталин любил слушать романсы "русского Пьеро". Бывают такие необъяснимые явления.)

Но упорное невозвращение знаменитых людей домой, в Россию, волновало новую Советскую власть, которая наперекор свидетелям, вопреки истине уверяла, что там всё благополучно, что люди благоденствуют, охваченные энтузиазмом стройки и коллективизации.

На упорных невозвращенцев гневались. Чаще всего их обходили молчанием, или сочиняли на них всевозможную клевету, наделяя довольно нелестными эпитетами. Слово "белогвардеец" было бранным. Однако большинство из этих "проклятых белогвардейцев" обосновалось на сравнительно почтительном расстоянии от родных пенатов. Некоторые даже пересекли океан, работая и преуспевая в "стране желтого дьявола".

Но Илья Ефимович Репин, великий художник-человек и физиономист-психолог, жил не за морями-океанами, а всего в часе езды от города на Неве, где

---

\* Публикация, предисловие и примечания Валентины СИНКЕВИЧ.

он учился и где снискал себе славу большого художника-реалиста. Выходец из народа (сын отставного рядового), умевший *читать* душу и верно разгадывать дух человека по лицу и фигуре его, создавший и "Протодиакона" (которому, по словам Репина, заказано было всё духовное), и бурлаков, и государственных мужей, и мужиков, и ученых, этот реалист, взглянув в лицо октябрьской революции, распознал ее жестокую сущность. До самой смерти Репин остался в эмиграции, в своей усадьбе "Пенаты" в финской деревушке Куоккола.

Восторженный Репин (как искренне-радостно восторгался он талантами других художников!) был необыкновенно добр ко всему живому. Отсюда и нашумевшее его вегетарианство, описанное многими мемуаристами. Например, у А. Бенуа: "...посетители «Пенатов» обязаны были за обедом (при котором отсутствовала прислуга) насыщаться разными, далеко не вкусными блюдами, среди которых особенно дурной славой пользовался «суп из сена»" ("Мои воспоминания", стр. 195). "Собак у него - целая коллекция", - говорили друзья. Как же мог он вернуться в страну, где забыли самую главную заповедь Старого и Нового Завета?

Но властям было крайне неприятно эмигрантство этого маститого художника. Они хотели отпраздновать вместе с юбилеем его 80-летие. Однако Репин упорно оставался в "Пенатах". В 1926 году нажали особенно сильно, отрядив к нему именитых гонцов, среди которых был и художник Исаак Бродский. Они были уполномочены уговорить Репина вернуться. Миссия их провалилась.

В печати обвинили репинское "белогвардейское" окружение. Это оно во всем виновато. Эти люди "запугивают его, врут и лгут, чтобы привлечь на свою сторону человека, которым гордилась вся Россия. Он узник, заложник в руках тех, кто из чувства мести и злобы готовы запачкать всё прошлое, славу и имя великого русского художника..." (Илья Гинцбург, "Репин", 1949 г., с. 324). Пылкий автор явно заговаривается. Слова его противоречат здравому смыслу: зачем "белогвардейцам" "пачкать" свое же прошлое, или имя и славу своего же художника? Этот посланец недобрым глазом посматривал на друзей и знакомых Репина. На той же странице читаем: "Когда я пришел на следующий день прощаться, то увидел, как из комнаты Веры Ильиничны (дочь Репина. - В. С.) вышел торжествующий белогвардеец, бывший офицер Максимов..."

В книге Е. Кириллиной "Репин в «Пенатах»" (Лениздат, 1977 г.) автор продолжает ту же "белогвардейско-эмигрантскую" линию. "В то время развернулась настоятельная борьба за знаменитого художника, — пишет Кириллина. — Враждебно настроенные эмигрантские круги очень боялись, что Репин осуществит свое намерение поехать в Россию. С его отъездом у них терялась бы иллюзия существования старой России... По-прежнему они передают ему пугающие слухи о России, и Репин не знает, кому верить..." (с. 193). И дальше: "Совершенно ясно, что художника настраивают против его родины" (с. 194).

Кириллина сокрушается: "Ну, а Репин? Что ж, он постариковски остался в Куокколе доживать свои дни". И сразу же гневно восклицает: "Но это не значило, что он заодно с эмигрантами". В доказательство правдивости своего утверждения она приводит не очень убедительные факты: "Нет, он читал книги Л. Леонова, О. Форш, слушал по радио музыку из Ленинграда" (с. 194). И, наконец, подкрепляя свои слова ссылкой на "донецкого слесаря", автор изрекает не новую истину: "Он уже давно признан народом, Россией. Об этом же несколько месяцев спустя скажут Репину и теплые строчки письма, обращенные к нему наркомом К. Е. Ворошиловым" (с. 195).

Действительно ли Репин имел "намерение" возвратиться? Конечно, нет. Доказательств этому много, включая, как ни странно, и книгу Кириллиной. Она приводит письмо Репина Луначарскому. Вот начало письма: "Ваше убедительное письмо так неотразимо, что кажется, вот так — если бы были человеческие прежние отношения — сейчас и поехал бы, куда зовут так настойчиво. Но подумав — нет, поехать нельзя..." (с. 192). Сказано предельно ясно: если бы были человеческие прежние отношения, то художник поехал бы, тем более, что звали его "так настойчиво". Эта настойчивость, видимо, встревожила Репина, о чем свидетельствуют "посланцы" и о чем пишет Кириллина: "Он стал подозрителен, и даже милого своего Элиаса (Гинцбурга), которого знал с детства, заставил первым попробовать шоколадные конфеты, которые тот привез ему в подарок" (стр. 193). Можно предполагать, что Репин был осторожен и в разговорах с советскими гостями, не позволяя себе резкой критики в адрес новых хозяев, т. к. у него были там "заложники", как он выразился в ниже публикуемом письме Савину.

Советские авторы всячески принижают окружение Репина, которое никто из них, в общем, хорошо не

знал. По словам Людмилы Владимировны Сулимовской, поэта Ивана Савина, оба они бывали в "Пенатах", — там собирались милые, интеллигентные люди. Художник не был снобом, любил людей, обожал молодежь. Передо мной фотография, подаренная мне г-жей Сулимовской. На ней снята добрая сотня гостей — поражает обилие молодежи. Это Ильин день. Улыбающийся именинник стоит в центре с цветком в петлице. На обороте написано: "20-го июля 1926 г. (Ильин день) Ивану Ивановичу Савину на память — Пикник в Пенатах — С лучшими пожеланиями".

Вместе с двумя фотографиями я получила в дар от Л. В. Сулимовской два, никогда не опубликованные письма Репина, адресованные поэту Ивану Савину. Эти письма я пожертвую музею Репина в бывших "Пенатах". Но перед тем как сделать это, мне хотелось опубликовать письма на Западе. Всё это я делаю с доброго согласия Л. В. Сулимовской.

Так как в первом письме говорится о "Черной книге", хочется сказать несколько слов об отношении Репина к гонимой тогда православной церкви.

В "Русской мысли" (23.06.89) напечатаны письма Репина (оригинал писем пока не найден) некоему Вадиму Анофриеву. В письме (1920 г.) художник пишет: "Когда наша церковь отлучала Льва Толстого, я дал слово не переступать порога церкви, но когда чернь грабительски стала у власти и расхоронившись стала глумиться над всеми святынями народа, оскверняя церкви, я пошел в церковь и даже стал подпевать на клиросе (здесь в Куокколе). И теперь нахожу, что церковь есть великое знамя народа, и никто никогда не соберет так народ, как церковь. Наши отъявленные воры, грабители уже торжественно с кафедр заявляют, что Бога нет".

В письме Ивану Савину, написанном за пять лет до смерти художника, он, с присущим ему энтузиазмом, приветствует публикацию "Черной книги" с подзаголовком "Штурм небес". Савин, еще лично не знакомый с Репиным, прислал ему рукопись книги. Она была издана в том же 1925 году в Париже Русским национальным студенческим объединением (Составитель Ал. Валентинов). Книга (294 с.) представляет подробный материал (указаны источники информации, приведены статистические таблицы и даны документальные фотографии) о преследовании религии после революции методами уничтожения духовных лиц, надругательства над церковными святынями и пр. Впервые книга была издана в 1924 году на английском и немецком языках.

Адресат письма Иван Савин (1899-1927) - наст. фамилия Саволайнен, поэт "белой мечты", как называли его эмигрантские критики, в дальнейшем был частым гостем в "Пенатах". Репин был очень опечален ранней смертью Савина, с которого он хотел написать портрет. "Какая невознаградная потеря", - писал Репин вдове Савина Л. В. Сулимовской.

Оба письма Ильи Ефимовича Репина свидетельствуют о его религиозной настроенности в этот поздний период жизни художника. Последние годы он писал (хотя работать было трудно, т. к. сохла правая рука, - он должен был работать левой) картины только на религиозные темы. В небольшом музее Принстонского университета есть одна из самых последних работ Репина - "Голгофа", написанная в мрачных лиловых тонах. Она была закончена в 1925 году, т. е. тогда, когда написаны были письма Савину.

[Валентина Синкевич]

\* \* \*

23 окт. 1925

Дружески протягиваю Вам руку - очень рад познакомиться... Ивана Савина я знаю по живому таланту: бросаюсь (выделено Репиным. - В. С.) его читать (оказывается он - Саволайнен) - очень, очень рад познакомиться. Но, Ваше отечество?

Прежде всего примите мою благодарность за "Черную Книгу". Эта книга светится как Сириус. Всей уважаемой (глубоко) Редакции кланяюсь земно. Да, это вечная - историческая книга. Миллионные издания выдержит она и целиком войдет в историю нашего христианства. Печатайте, печатайте! (Конечно - нечто вроде опечаток (повторения) будут исправлены.) Всесторонне, фактически эта книга исчерпывает вопрос и - потрясает! Я совсем потрясен. Всё

время ее перечитывал... и даже не опомнился, не ответил Вам, простите.

Не балуйте меня Вашими непомерными похвалами и несбыточными надеждами на мое *активное* (выделено Репиным. - В. С.) участие - где уж... При том, признаюсь, я выше головы занят своими "*хроническими*" (выделено Репиным.- В. С.) работами, которыми, как старый пьяница - я уже от маленькой рюмочки *труда* (выд. Репиным) пьян - валюсь - старость... Пишу Вам чистосердечно, чтобы не обнадежить столь ответственное участие, оказавшись банкротом...

Выполнимо для меня: только - *эскиз к картине "17-е ок. 1905 г."* (выд. Репиным. - В. С.); и то, боюсь затянуть; прошу назначить мне крайний срок, когда рисунок мой должен быть у Вас. Всей душой готов к преданности Вам.

Ах, студенчество, студенчество! 10,000 студентов!!.. Я, от юности моей, обожал студентов. И вот они радуют и восхищают меня и на девятом десятке моих лет.

И, сейчас, подражая старому Фаусту, я подымаю высоко развернутую "*Черную книгу*" (выд. Репиным. - В. С.) и в гигантский рупор кричу: "мгновение остановись, ты действительно прекрасно!" - Даже изображая этот дантовский эпизод этих долговременных усилий, которые я так и не бросил совсем и *до сих пор, своей* (неразборчивое слово), только осенний холод в мастерской вынудил меня прекратить мои усилия... И теперь картина оставлена до марта месяца, когда опять можно будет продолжать сие искушение...

Сейчас, теперь, обдумав, я решил совсем отдохнуть *от всего* (выд. Репиным. - В. С.) и вот почему прошу Вас отпустить мою душу

на покаяние. – Как видите, и сообщение мое о себе не может быть интересно.

Относительно моих проклятий большевикам, я просил бы их выпустить – и "погромче нас были витии", не стоит... (выд. Репиным. – В. С.). У меня там в Совдепии есть заложники\* (выд. Репиным. – В. С.): дочь и внучка (учительницы), у внучки уже трое правнуков моих. Полуограбленные они обречены на переселение. И вот, обиженные власти погонят их зимою, куда-нибудь в Сибирь... Кто же их нраву может перечить?!..

Может быть, будут какие-нибудь рецензии в фингазетах и (неразборчивое слово) если что-нибудь дойдет, да и то, пожалуй, не стоит. Предоставляю Вам – С совершенным уважением к Вам

*Илья Репин*

*Письмо не датировано*

Глубокоуважаемый Иван Иванович!

Я совсем очарован Вашим дивным фельетоном\*\*, причиной появления которого на свет посчастливилось быть мне грешному. Да, "Слово

---

\* Татьяна Ильинична с дочерью и внуками. Ее отпустили проститься с умирающим отцом. После его смерти Т. И. домой не вернулась, а уехала в Париж.

\*\* Фельетон не был включен в книгу "Только одна жизнь" – стихи и проза Ивана Савина. Нью-Йорк, 1988.

есть Бог” и без Него не было бы на свете ничего из того Главного – что есть и будет вековечно идти перед нами Облаком, ведущим нас к Разуму. О, недаром Вы похожи на Гоголя. И философ, и психолог в Вас живет с таких молодых лет.

Преклоняюсь и радуюсь – Волею Творца я сподобился еще незаслуженно возвышения ранга.

А я, по старческой рассеянности, не был даже подписан на “Новые русские вести”<sup>\*</sup> и потому только на четвертый день по появлению на свет, удостоился прочтения своего великого аттестата. Даже не смею благодарить Вас, до того чувствую себя недостойным такой славы. И вообще, я очень боюсь, что слава моя преувеличена... Подобно тому как о Брюлове тургеневский Потугин уже говорил: “Двадцать лет поклонялись ничтожной личности Брюлову”.

Прошу прощения – “Студенческие годы” да простят мне мою медленность... (утеряно) как только будет моя акварель мало-мальски сносна, я сейчас же отошлю ее Вам.

Предоставляю вкусу и возможности технических средств – Редакции “Студенческих годов” воспроизвести рисунок по их усмотрению. И в размерах и в формате я предоставляю... (неразборчиво) Я посоветовал бы еще осо-

---

<sup>\*</sup> “Русские вести” – затем “Новые русские вести” – русская газета, изд. в Гельсингфорсе с 1922–1925 гг. Посему письмо должно было быть написанным в 1925 г. В газете печатались Северянин, Савин, Цветаева, Аверченко, Алданов, Тэффи, Амфитеатров и др.



бо издать его в *карточках-открытках*\*: может быть, он пошел бы в отдельной продаже: особенно в России, если его туда рекламировать. Главное разъяснить, что это не есть перепечаток-копия с изданного некогда В. В. Битнером, в пользу "Вестника знания". – Но вообще, чехи *прирожденные художники*, большие таланты, люди с выдающимся вкусом. Я заранее радуюсь, если они возьмутся за выполнение моего труда: их открытки уже давно восхищают меня – особенно. Но разумеется, это всё только в том случае, если они найдут рисунок стоящим такого внимания.

А пока я прошу прощения и за промедление и за эту плохую бумагу\*\* и за длинное письмо мое.

А Вас прошу *принять уверение* (как это всё (неразб. слово. – В. С.) и старо, как я сам) – в моем, совершенно особом, к Вам уважении и преданности.

*Илья Репин*



---

\* Судьба этого проекта неизвестна.

\*\* Письмо написано на очень скверной бумаге, в некоторых местах она рассыпалась – посему несколько слов письма утеряны.

Владимир ЗАПЕЦКИЙ

## Колпашевский яр

### 1.

Описывая широкую дугу, в этом месте Обь течет на запад. Пожалуй, даже на юго-запад. Левый ее берег низок, вровень с водой. За узкой полоской песка, на которой можно разглядеть с пяток лодок, начинается малорослый лес. Левый берег пустынен, и человеку приедем это может показаться странным, потому что на другой стороне стоит город Колпашево. Небольшой, всего тысяч на тридцать жителей, но все-таки город.

Однако ничего удивительного в этом нет. И дело не в том только, что в Сибири места для городов вдоволь, стройся, где душа пожелает. И даже не в том, что по весне невысокий берег будет заливать вода. Еще десяток-другой лет назад даже августовская вода, самая низкая в году, скрывала то место, которое теперь заросло тальником. Именно поэтому так молод поднявшийся на левом берегу лес.

Русло реки медленно, но вполне заметно перемещается, и старики помнят те времена, когда кромка берега по левую сторону реки тоже была берегом, но берегом правым, а там, где сейчас идут по речному фарватеру груженные стройматериалами баржи, тянулись дома примыкавшей к Колпашеву деревеньки Благино или, как её еще называли, Саратовки. А на бо-

лотцах рядом местные охотники, бывало, стреляли с обласков уток и гусей.

Отнимая ежегодно у города по несколько метров суши, Обь до неузнаваемости изменила высокий правый берег. Когда-то он отлого спускался к воде, но теперь его можно видеть таким только у речного вокзала. А выше по течению это совершенно отвесный песчаный обрыв. Время от времени еще какой-нибудь кусок берега, подмытый водой, рушится вниз. Чаще это бывает в конце весны или в начале лета, когда заметно прибывает быстрой воды, и особенно в те дни, когда южный ветер гонит на яр волны.

В 1979 г., накануне майских праздников, в очередной раз обвалился край берега почти в самом центре города, в нескольких десятках метров от того места, где обрывается, упираясь в Обь, улица Ленина. Но случай оказался отнюдь не рядовым.

Со стороны реки, с лодок можно было увидеть страшную картину. Из обрыва, начиная приблизительно с глубины двух метров, торчали человеческие останки: руки, ноги, головы. Открывшийся срез захоронения имел размеры до четырех метров в ширину и до трех метров в глубину. Трупы в могиле были сложены штабелями, и если верхние полностью истлели, то нижние сохранились на редкость хорошо. По сути дела, это были мумии желтовато-коричневого цвета. Лица, волосы сохранились настолько хорошо, что, по свидетельству очевидцев, можно было произвести опознание убитых - в затылочной части черепов были пулевые отверстия. Во многих черепах их было по два, причем второе часто приходилось на височную кость.

Первыми обнаружили захоронение мальчишки. Черепа они закидывали в Обь, носились с ними, надев на палки, по городу.

Тогда-то всполошились и взрослые. На берег хлынул народ. Иные из верующих старушек шли туда с икона-

ми. Милиция появилась только часа через два. По случаю праздников не оказалось на месте кого-то из больших начальников, маленькие, явно не зная, что предпринять, ограничились тем, что выставили оцепление, чтобы не подпускать к обрыву людей. Впрочем, это не очень помогло. Захоронение в Колпашеве видели собственными глазами многие.

В дальнейшем события развивались следующим образом. Городские власти пришли в себя от первого шока. Уже в течение суток солдаты строительного батальона обнесли шурф забором, на помощь прислали дружинников, которые дежурили у могилы и на подступах к ней. Милицейский наряд оставался здесь и на ночь.

А за забором начались работы по ликвидации захоронения.

Прошло немало лет, воссоздать объективную картину нелегко; мне самому эта история известна лишь по рассказам свидетелей. Их оказалось вполне достаточно, и все услышанное было записано добросовестно, однако избежать ошибок трудно. Но что в этом неожиданного? Что удивительного в том, что факты стали обрастать домыслами? Природа не терпит пустот, общество - беспамятства. На пустом месте все равно что-то появится. Если нет здорового семени - вырастет сорняк. Так кто в этом виноват?

Непростой вопрос: что, собственно говоря, я пытаюсь написать? Документальный очерк? Слишком много предположительного, слишком зыбки факты, субъективна их оценка. Эссе? Язык противится попытке употребить слово, все еще ощущаемое чужеродным и манерным, когда речь идет о том диком, что произошло не где-нибудь, а у нас, и что нигде более, пожалуй, произойти и не могло.

Уверен, что отсутствием документальной определенности не преминут воспользоваться заинтересованные,

скажем так, лица. Более того, подозреваю, что эти люди уже позаботились о том, чтобы документальных свидетельств не осталось и в архивах. Но большим злом считаю не возможные ошибки, а молчание, которым до сих была окружена страшная эта находка на берегу Оби. Так и прошу судить написанное: как попытку разобраться - всем миром - в том, что произошло когда-то в сибирском городке.

Поначалу была предпринята попытка раскопать могилу с берега и вывезти останки расстрелянных на автомашинах, но скоро от этого отказались. Просто по той причине, вероятно, что конфигурация захоронения оказалась непростой (многие местные жители утверждали, что ям было несколько), а число трупов - достаточно велико. Использовать же технику на краю обрыва мешал подвижный песчаный грунт. И тогда было решено попросту размыть берег.

К яру подошел мощнейший, двухтысячесильный буксир серии ОТ\*. Его поставили кормой к берегу, намертво закрепив лебедкой. На полных оборотах заработали винты, и отбрасываемая ими вода ударила под обрыв.

Течение разворачивало буксир, поэтому выше встал под углом к первому еще один, поменьше, который был зачален к берегу и в свою очередь тросом удерживал носовую часть ОТ. Позже, для ускорения работ, рядом поставили второй двухтысячник...

Как уже было сказано, многие трупы сохранились исключительно хорошо. Почему? Во-первых, они находились в песчаной почве, что обеспечивало вентиляцию, необходимую для быстрого - в течение нескольких ме-

---

\* Или его модификация ОТА, внешне они очень похожи (предположительно, это был буксир № 2010 с капитаном Черепановым).

сяцев или года - высыхания тел. Во-вторых - при погребении использовалась хлорная (или, может быть, негашеная) известь. На срезе захоронения можно было видеть, что людские останки расположены послойно, и разделяют их настилы из досок и прослойки окаменевшей извести. Отмечался также сильный запах креозота. Наличие дезинфицирующих средств, видимо, оградило от гниения трупы в нижних рядах.

Так вот, если черепа и кости, превращаясь в крошево при обвале берега, тут же шли ко дну, то легкие мумифицированные останки выплывали, и река несла их на виду всего города, потому что большая часть сегодняшнего Колпашева расположена ниже по течению: и речной вокзал, и застроенный частными домами жилой район, именуемый Песками, и грузовой порт...

В это время на Оби, кроме размывавших берег судов, находились еще катера и лодки - для того, чтобы перехватывать плывшие трупы. Но их даже не вылавливали. Их топили, цепляя к ногам либо к поясу металлические болванки или же кирпичи, которые складывали попарно и перекручивали проволокой. К поясу - чтобы трупы не стояли вертикально в воде. Поступали и проще: крошили высохшие тела веслами.

Милиции в те дни работы хватало. Придавленные грунтом, некоторые трупы всплывали не сразу, а ночью, когда работы на реке прекращались. И поэтому часов с четырех утра, едва светало, милиция на катерах обследовала берега Оби и Канеровской протоки. Тем не менее, случалось, река уносила людские останки на многие сотни километров вниз по течению - до Новоникольского и Прохоркино, что на севере Томской области.

Два мужских трупа в ватниках были доставлены в морг колпашевской больницы - по недоразумению, если можно так выразиться. Они отмокли в воде, стали беловато-серыми, волосы выпали, надкожница отслои-

лась. Однако произвести вскрытие разрешено не было. Представители правоохранительных органов забрали тела и увезли их с собой. Известны также случаи, когда местные жители обнаруживали тела и, принимая их за утопленников, сообщали в милицию. Одному из колпашевцев с Песков собственный пес притащил к крыльцу найденную на берегу человеческую руку.

Приблизительно к 9 мая все было кончено.

Теперь на месте захоронения что-то вроде оврага, треугольником врезавшегося в берег. Но внизу уже не вода, а намывтый рекой песок. В этой удобной бухточке швартуются небольшие речные суда, на песке лежат чьи-то лодки. По откосу - другого подобного рядом нет - легко вскарабкаться наверх. Там мусорная свалка. Свалены в кучу ржавые жестянки, битые бутылки, старое тряпье. О могиле напоминают лишь торчащие из обрыва дощатые стенки подземных ходов - это был настоящий, вполне обустроенный подземный склеп.

Ширина оврага достигает метров двадцати пяти, вглубь берега он уходит метров на десять. Но это едва ли треть того, что можно было видеть восемь лет назад, Обь продолжает подмывать яр. Еще через шесть-семь лет на этом месте будет плескаться вода.

Хотя о существовании могилы колпашевцы в массе своей до мая 1979 г. даже не подозревали, вопрос о ее происхождении не возник, потому что именно здесь, на месте бывшего пустыря, в середине тридцатых годов был построен городок НКВД.

Нынешняя улица Ленина в то время называлась иначе, зато пересекающая ее улица Дзержинского сохранила свое, так сказать, традиционное название. Городок НКВД располагался как раз на их пересечении (если стоять лицом к Оби, то по левую сторону от улицы Ленина, на той стороне улицы Дзержинского, что ближе к реке).

Центральное здание - двухэтажное, сложенное из бревен - стояло на самом перекрестке торцом к улице Дзержинского. Здесь было парадное крыльцо. Здание НКВД замыкал с четвертой стороны П-образный забор, который тянулся вдоль улицы Дзержинского метров на сто пятьдесят-двести. Забор был высок, что-то около четырех метров; наверху, кроме того, была натянута колючая проволока. По одному из рассказов, к концу пятидесятых годов он был наполовину разобран и стал гораздо ниже. Так что, вероятно, забор был поставлен по-чалдонски, без гвоздей: для этого рывали столбы с вертикальными пазами, в которые затем вставлялись горизонтальные доски. Такой забор разобрать до нужной высоты очень легко.

Некоторое время над забором возвышались три сторожевые вышки. Две из них стояли по углам внутреннего дворика, третья - ближе к главному зданию, рядом с воротами, выходящими на улицу Дзержинского. Они всегда были заперты. Да и через двери парадного крыльца редко кто заходил в дневное время внутрь. Таким - молчаливым и мрачным - здание НКВД запомнилось колпашевским старожилам. А оно, кстати, сохранилось донныне. Из-за размыва берега рекой его перенесли на улицу Горького. Слегка перестроенное, обшитое свежим тесом, оно служит сейчас общежитием медучилища.

Река почти полностью завладела той территорией, которая когда-то была обнесена забором. А вот двухэтажный дом № 17 напротив заселен и по сей день. В прежние времена это было общежитие сотрудников НКВД. На той же стороне, на пересечении улиц Ленина и Дзержинского, когда-то находился дом начальника НКВД, но его снесли. Исчезли еще несколько зданий, которые когда-то стояли ближе к берегу.

Так по улице Ленина, мимо небольшого сквера под окнами центрального здания НКВД можно было выйти к



клубу "Динамо", правее которого находился магазин № 21 для сотрудников НКВД. Там же - еще два-три общежития для них. Городком НКВД назывался весь этот небольшой квартал, и доступ сюда ограничен для местных жителей не был - за исключением "централа", естественно. На стадионе между "централом" и клубом мальчишки гоняли в футбол, и мяч порой перелетал через забор.

Трудно сказать, что было там. Строго говоря, это здание называлось зданием НКВД только в тридцатых годах. Когда был образован Народный комиссариат государственной безопасности, НКГБ "заимствовал" у НКВД второй этаж, а у парадного крыльца появилась вторая вывеска. В 1946 г. народные комиссариаты были преобразованы в министерства, вывески были вообще заменены. Видимо, по мере всех этих реорганизаций менялся и вид внутреннего двора. С конца пятидесятых годов туда вообще мог зайти любой желающий, ворота были открыты настежь. Но сам двор был тогда уже пуст.

А прежде здесь стояла внутренняя тюрьма: обыкновенная рубленая "в лапу" изба, крытая тесом. На окнах - "ежовские козырьки" (нижняя половина окна заколачивалась наглухо, верхняя также была заколочена, но приоткрыта в небо). По одному из рассказов, стена тюрьмы выходила на улицу Дзержинского. По другому, - тюрьма целиком находилась за забором, причем поперек двора стоял еще забор, так что она была ограждена со всех сторон.

Вероятно, совсем недолго, едва ли до конца войны простоял стрелковый тир. Во всяком случае, человек, который пришел работать сюда в 1949 г., категорически отрицал его существование. Зато другой колпашевец, бывший начальник пожарной охраны, бывал в НКВД и прежде и тир этот даже описал. Это было длинное строение, вытянувшееся параллельно улице

Дзержинского вдоль дальнего забора. Слева - входная дверь. Рядом со входом - барьер, у которого и становились стрелки. На расстоянии 25 метров - стена с мишенью. В правой ее части - дверь, ведущая в глухую комнату. Якобы туда и уводили приговоренных к расстрелу.

Еще один колпашевец пацаненком, случилось, забирался на деревья и заглядывал через забор. Он тоже говорил о каком-то сарае, дровяном складе или конюшне на том месте, где должен был стоять тир. Однако конюшня (вместе с домиком конюха и дизелем, дававшим ток зданию НКВД) находилась за забором с северной стороны. Впоследствии она использовалась как складское помещение, пока несколько лет назад не сгорела. Говорю об этом столь подробно, поскольку несколько раз конюшня упоминалась в рассказах местных жителей как предполагаемое место расстрелов. Нет, скорее всего, это лишь успешнее укорениться заблуждение.

Еще по одной версии, от главного здания вел подземный ход к ямам. Повторяю, остатки каких-то подземных ходов сохранились до сих пор. Если быть точным, сохранились фрагменты трех стенок, поворот под прямым углом (что говорит, кстати, о не слишком простом устройстве всего этого "хозяйства"). Эта версия не покажется такой уж нелепой, если предположить, что для захоронения были использованы какие-то подземные провиантские склады или овощехранилище. Мне приходилось слышать упоминание о каком-то старике-плотнике, который это овощехранилище строил и которого поэтому пытались срочно найти во время ликвидации захоронения. По другим сведениям, из Томска срочно привезли бывшего сотрудника НКВД, ведавшего некогда секретными архивами. Возможно, речь шла об одном и том же человеке.

Увы, опять всего лишь слухи, слухи...

Тогда, в мае 1979 г., слухи Колпашево переполнили. Городским властям пришлось дать разъяснения. Не через печать, разумеется. Местная газета "Советский Север" хранила, - прошу прощения за малоуместный каламбур, - гробовое молчание. Разъяснения были даны полуофициальным, никого ни к чему не обязывающим образом - через секретарей первичных парторганизаций, через профсоюзных работников, депутатов исполкомов... А сводились они к утверждению, что в обнаруженной и поспешно ликвидированной могиле были похоронены расстрелянные во время войны дезертиры.

Дезертиры? Странно, сибиряки - народ не слабодушный...

Давайте разбираться вместе. Каковы были размеры захоронения? Масштабы проводившихся на реке работ говорят сами за себя - не такие уж маленькие. Алексей Николаевич Мальцев, заместитель председателя совета опорного пункта № 1, рассказывал, что только его дружинники отобрали у мальчишек 31 череп. А ведь их отогнали от могилы достаточно быстро.

Вполне достоверным является еще такой факт: букасы вымыли две приблизительно одинаковые по размеру ямы. С другой стороны, слухи разрастались до совершенно фантастических цифр: говорили чуть ли не о 15.000 расстрелянных. Цифра неправдоподобно велика. Вспомните хотя бы о местонахождении городка НКВД и размерах центральной его части. Что поделать, если нет полноценной информации, вместо нее все равно появится суррогат... Рискну предложить весьма осторожную оценку: расстрелянных была не одна сотня, но в пределах тысячи. Не многовато ли дезертиров для маленького сибирского городка, в котором по переписи 1938 г. проживало 14.857 человек? Правда, Колпашево было центром обширного района, возникшего на месте

нарымского округа, но заселен он был, прямо скажем, негусто. Да и какой смысл свозить в Колпашево дезертиров и тайком, так чтобы никто и никогда об этом не слышал, расстреливать их, если единственной целью подобных акций во все времена было установление в армии и обществе железной, беспрекословной дисциплины? Да и вообще, как могло процветать дезертирство среди коренного населения Сибири, если это практически неизбежно должно было повлечь за собой репрессии против остальных членов семьи?

Тогда, может быть, речь идет о каких-то пришлых людюшках, которые пробрались сюда из западных районов страны? Как? Через топи и тайгу - невысказано. А единственный путь - по Оби - всегда находился под жестким контролем.

Спецпереселенцы? Да, во время всеобщей коллективизации в Нарымский округ было сослано немало семей раскулаченных. О масштабах этой высылки, кстати, косвенно свидетельствуют цифры невероятного роста площади пахотных земель за счет раскорчевки леса и осушения болот: в 18 раз в 1939 по сравнению с 1911 годом. И это при обеспеченности землей в 1929 году по 0,8 га на одного едока в хозяйствах единоличников и по 1,4 га - в коммунах. А вот цифры Рассамахина Ю. К., научного сотрудника колпашевского филиала Томского краеведческого музея: спецпереселенцев было 192.000 человек, причем число выживших в течение первых двух-трех лет составляло, по его оценке, около 40%. Последняя цифра ошеломляет, но не забывают, при каких обстоятельствах спецпереселенцы попадали в ссылку: либо в холода, по зимникам, либо, - чаще так оно и было, - на баржах в короткое северное лето. А устраиваться приходилось на голом месте, со стариками и детишками на руках, с минимумом посевного материала и без опыта того, как можно растить на болотах хлеб.

И было бы наивно думать, что среди репрессированного крестьянства не было озлобленных людей. Не могло не быть. Но вплоть до 1943 г., то есть пока в войне не произошел коренной перелом, спецпереселенцев вообще не призывали на фронт.

Конечно, это всего лишь общие соображения. Но можно привести и конкретные свидетельства весьма и весьма информированных людей. Александра Матвеевича Большакова старые колпашевцы помнят хорошо, хотя тот уже давно перебрался в Томск, где и удалось его разыскать. Большаков в свое время занимался хозяйственной и партийной работой, в годы войны был председателем РИК Колпашева. И вот он, Александр Матвеевич, знает о единственном случае дезертирства. У Большакова удивительно ясная память, несмотря на почтенный возраст (он 1899 г. рождения), а вот тут, к сожалению, фамилию человека, о котором идет речь, забыл. История тогда произошла следующая. Некто Тимофей, немолодой уже охотник, был призван в армию в конце 1941 г., но по повестке не явился, укрывшись в тайге. Через год был все-таки пойман и осужден. Однако и его не расстреляли, а отправили на фронт в штрафную роту, где он и погиб\*.

---

\* От своего родственника, Комарова Андрея Константиновича, который сам был заседателем "троек" военного трибунала с 1941 г., слышал, что смертные приговоры в тылу действительно выносились, но лишь до создания штрафных частей осенью 1942 г. На его памяти было всего пять таких случаев. Однако органы НКВД дезертирами не занимались вообще. Во всяком случае, - в Кутаиси, Цхакая и Тбилиси, где Комаров А. К. служил в авиачастях. "Тройки" военного трибунала подчинялись вышестоящим инстанциям того же армейского подразделения, а следственный материал готовила военная прокуратура.

И еще один факт, который с версией о расстрелянных дезертирах никак не согласуется: в могиле встречались и останки женщин.

Короче говоря, разъяснения горкома партии напоминают неловкую отговорку, от которой скверно пахнет. Или, если избегать излишней категоричности: возможная толика правды использована для того, чтобы создать общую неверную картину. Цель не потревожить тихую болотную жизнь - достаточно прозрачна, и если не является простительной, то во всяком случае понятна. Но задумайтесь, пожалуйста, дорогие ответственные товарищи, - так и хочется заглянуть вам в глаза, - какими средствами вы этой цели добивались: фактически вешали на колпашевцев грех массового дезертирства.

Зачем же так собственный народ срамить? И во имя чего? Неужели так вкусен и сытен аппаратовский паек, что страх его потерять заслоняет все остальное?

Впрочем, сами колпашевцы в рассказе о дезертирах не очень-то поверили, оснований для этого достаточно.

Расстрелы явно носили групповой характер - как это и было на самом деле в конце тридцатых годов. Вспомните дощатые настилы (еще их называли "коробами"). Размеры каждого такого "короба" составляли 3-4 метра в длину, 2-3 метра в ширину и немногим более метра по вертикали. Видимо, когда трупы заполняли этот объем - а укладывали убитых плотно, "валетом" - их засыпали хлорной известью для предотвращения гниения, затем закрывали настилом из досок. Ясно, что использовать длительное время такой полусклеп-полумогилу было просто невозможно. Массовые репрессии в истории нашей страны были, о массовом дезертирстве я слыхом не слыхивал. Вот и судите сами, кто мог быть погребен в могиле на берегу.

Дезертиров расстреливали открыто, часто - перед

строем. Здесь же убивали тайком, воровски. В некоторых "коробах" была отдельно собрана одежда. То, что она не попала в магазин, через который распродали реквизированные вещи (подобный магазин в Колпашеве существовал), может свидетельствовать в пользу того, что среди уничтоженных были местные жители, и органы НКВД позаботились о том, чтобы избежать любой утечки информации. Доводилось слышать, что среди найденной в могиле одежды была и такая, которая в сороковые годы из употребления вышла: армяки, лапти.

Наконец, мне известен случай, когда умершего в 1943 г. во внутренней тюрьме подследственного похоронили на городском кладбище. Речь идет о Белягине Парфене Яковлевиче. После шести месяцев пребывания в НКВД он скончался и был вместе с двумя другими умершими арестованными похоронен в общей могиле, в одном ящике на троих вместо гроба. Могилу родственникам позже показали.

## 2.

Если в колпашевской могиле были захоронены останки невинно замученных людей, как тогда расценивать то, что происходило на обском берегу восемь лет назад? Да иначе, как повторным убийством, и не назовешь. Когда-то были истреблены люди, а четыре десятилетия спустя - самая память о них... Если не это варварство, то что же тогда называть варварством?

Ну, а если это была могила преступников? Цивилизованное общество смогло бы найти разумный выход. Как видно, не в достаточной мере свидетельствует о цивилизованности одна лишь способность выжечь кирпич, вытянуть проволоку и построить мощный буксир.

Без обиняков: в дезертиров не верю ни на грош.

Мало ли что приходится пастве слышать свыше во избавление от ненужных душевных волнений. Никаких документов, как это у нас принято, обнародовано городскими властями не было. Пользуясь законным правом верить или не верить на слово, - не верю.

Хочу поделиться скудными, к сожалению, сведениями, через которые можно добраться до фактов, а через факты - и до истины. Может быть, что-то удастся узнать и другим. Для начала - два списка, которые мне посчастливилось получить от журналиста из Колпашева Сергея Уразова. Ничего сенсационного они не содержат, известных имен вы не встретите, но все-таки взгляните на них. Как-то яснее становится, из какого мы родом детства. В них названы около шестидесяти человек, которые потенциально представляли собой, говоря казенным языком того времени, контингент для соответствующих учреждений.

Секретно

**СПИСОК УВОЛЕННЫХ ИЗ АППАРАТА ОКРИСПОЛКОМА  
И ЕГО ОТДЕЛОВ КАК КЛАССОВО-ЧУЖДЫХ СОВ. ВЛАСТИ  
И НЕ ОПРАВДАВШИХ СЕБЯ НА РАБОТЕ**

<u>фамилия</u>	<u>место работы</u>	<u>должность</u>	<u>данные</u>
1. Строганов	окрфо	инспектор товарообо- рота	политссыль- ный-троцкист
2. Турин	-"-	экономист по лесоведению	политссыль- ный-троцкист
3. Востротин	-"-	инспектор по анализу балансов	б/адмсссыль- ный
4. Малахов	-"-	ст. инспектор госдоходов	служил в в белой ар- мии



5. Браунштейн	окрзу	плановик	политссыл- ный меньше- вик
6. Шигаев	-"-	счетовод	адмсссыл- ный
7. Даценко	-"-	ст. агроном	б/адмсссыл- ный
8. Истомин	-"-	бухгалтер	б/адмсссыл- ный
9. Милевский	-"-	птицевод	б/дворянин и полковник белой армии
10. Еремеев	-"-	зоотехник- пчеловод	как разло- жившийся. Пьянство и бездеятель- ность
11. Зуев	-"-	зоотехник	привлекался за вреди- тельство. Уволен за бездеятель- ность
12. Бахтин	-"-	агроном	адмсссылный
13. Брашна	-"-	статистик	дочь кулака
14. Солнцев	окрплан	плановик	троцкист
15. Семенов	-"-	-"-	-"-
16. Кирсанов	окрвну- торг	экономист торг. конвенции	-"-
17. Гинсбург	-"-	экономист торг. конвенции	-"-

18. Файбушевин*	-"-	экономист промтоварной группы	б/адмссыль- ный по ст. 58 УК п. 10, и 13
19. Комарова	-"-	машинистка	б/адмссыль- ная по ст. 58 п. 6, 10
20. Панов	-"-	б/зав. окр- внуторгом	колчаковский доброволец
21. Чернов	-"-	-"-	связь с чуждым эле- ментом, за что был ис- ключен из рядов ВКП(б) и уволен
22. Левицкий	ОМХА	экономист	политссыль- ный троцкист
23. Лебедев	окрнар- хозучет	-"-	б/адмссыль- ный по ст. 58 п. 14
24. Тишин	окрздрав	санинспектор	как разл. осужден** по ст. 154
25. Ракина	секрета- риат ОПКА	машинистка	б/адмссыль- ная по ст. 58 п. 6
26. Канаев	-"-	тех. сек- ретарь	за пьянство и прогулы
27. Сальников	орготдел ОИК	ответ. исполнит. по столу жалоб	то же

**СПИСОК ЛИЦ СУЖДЕННЫХ, ВЫЧИЩЕННЫХ ИЗ ПАРТИИ  
И КЛАССОВО-ЧУЖДЫХ, НО ПРОДОЛЖАЮЩИХ РАБОТАТЬ  
В АППАРАТЕ ОКРИСПОЛКОМА И ЕГО ОТДЕЛАХ**

- |  |                  |                                   |   |
|--|------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Грозина<br>Надежда<br>Львовна         | секрета-<br>риат | машинистка                        | б/ссылная<br>по ст. 58-11<br>ст. 58-11 с<br>с 1931 г. по<br>1933 осво-<br>бождена до-<br>срочно |
| 2. Ляних Илья<br>Александрович           | оргот-<br>ОИК    | инструктор                        | служил в<br>белой армии<br>за что искл.<br>из рядов<br>ВКП(б)                                   |
| 3. Владимирский<br>Гурий Николае-<br>вич | окрзу            | статистик                         | сын священни-<br>ка (Влади-<br>мирскому 64<br>года)   |
| 4. Стус Иван<br>Андреевич                | -"-              | счетовод                          | отец спецпе-<br>переселенец.<br>Сужден за<br>растраты в<br>сберкассе по<br>ст. 111 УК           |
| 5. Орлов<br>Михаил<br>Иосифович          | -"-              | инспектор<br>бюджета              | б/адмссыл-<br>ный по ст.<br>58 по ст. 10  |
| 6. Афанасьев<br>Леонид<br>Николаевич     | -"-              | бухгалтер                         | писарь 12<br>Бугулин-<br>ского полка<br>белой армии   |
| 7. Петров<br>Александр<br>Петрович       | окрфо            | инспектор<br>госнорми-<br>рования | мл. писарь<br>Егерьского<br>батальона<br>белой армии<br>с февр. 1919<br>по февр. 1920<br>гг.    |

8.	Анциферов Виталий Михайлович	-"	инспектор	служил в белой армии в Чистополь- ском полку и Камском десантном отряде с VIII. 18 по V. 19 гг. и в отряде охраны гос- ценностей в Чите с V. 19 по X. 20 гг. Осужден по ст. 58-13 к заключения в лагеря на на 5 лет
9.	Билевич Николай Николаевич	-"	инспектор	из дворян. Штабс-капи- тан белой армии с июля 1918 г. по март 1920 г. В отряде офицеров в офицерском батальоне
10.	Дворников Трофим Никифорович	-"	инспектор	юнкер белой армии с февр. 1919 по дек. 1919 гг.
11.	Добротин Владимир Павлович	окрздрав	санинспектор	сын священни- ка (36 л.)
12.	Биллунская Калерия Ричардовна	-"	машинистка	адмссыльная по ст. 58
13.	Арнольдов Евг. Вален- тинович	окрплан	экономист	мл. офицер 53 стр. п-ка белой армии

- |     |                                    |                   |     |  |   |
|-----|------------------------------------|-------------------|-----|--|---|
| 14. | Громов<br>Владимир<br>Владимирович | окрвнторг         | -"- |  | б/адмссыль-<br>ный по ст.<br>58, п. 10<br>и п. 13   |
| 15. | Русанов<br>Иван<br>Васильевич      |                   | -"- | инспектор<br>торговли                              | в б. армии с<br>сент. 1918 по<br>дек. 1919 гг.<br>В дек. 1919<br>года перешел<br>в партиз.<br>отряд Мамон-<br>това    |
| 16. | Рахметов<br>Вениамин<br>Наумович   | окроно            |     | инспектор<br>по ликви-<br>дации не-<br>грамотности | исключен из<br>ВКП(б) за<br>за прота-<br>скивание<br>троцкизма в<br>теоретич.<br>трудах                               |
| 17. | Степанов<br>Петр<br>Клементьевич   |                   | -"- | инспектор<br>по работе<br>с учителями              | сын священни-<br>ка (35 лет)  |
| 18. | Улитко<br>Мариан<br>Алексеевич     |                   | -"- | экономист-<br>плановик                             | писарь при<br>штабе 47<br>сиб. стр.<br>полка б/ар-<br>мии с мая 19<br>по сент. 19<br>года. Сужден<br>по ст. 111<br>УК |
| 19. | Шаховская<br>Мария<br>Борисовна    | окрдрор-<br>отдел |     | машинистка   | адмссылная<br>по ст. 58   |
| 20. | Лидер<br>Давид<br>Леонтьевич       |                   | -"- | завдор.<br>отделом                                 | служил в<br>белой ар-<br>мии в 1919<br>года. Исклю-<br>чен из<br>ВКП(б)   |

21.	Чекулаев Дмитрий Васильевич	окрнар- хоз учет	экономист	б/адмсссыл- ный
22.	Чернаков Георгий Васильевич	окрис- полком	тех. сек- ретарь	сужден по ст. 116 УК (растрата) в 1935 г.
24.	*** Паль- гунов Михаил Михайлович	окрзу	охотовед	сужден по ст. 116 и 120 (растра- та и подлог)
25.	Овсянников Иван Иванович	окрздрав	бухгалтер	сужден: в 26 г. за ха- латное отно- шение и рас- трату. В 32 г. за превы- шение власти В 34 г. за хулиганство
26.	Карелин Григорий Кириллович	-"-	счетовод	сужден в марте 1937 по ст. 109 и 120 УК - подлог в до- кументах
27.	Евдокимов Кузьма Григорьевич	окрвну- торг	инспектор	сужден за нарушение финдисципли- ны
28.	Чайковский Иван Антонович	-"-	-"-	сужден в 1930 г. по ст. 111 УК
29.	Тель Яков Кузьмич	окроно	инспектор по ликбезу	сужден по ст. 111 УК
30.	Башкиров Григорий Максимович	ОКХА	зав. ОКХА	то же, осво- божден до- срочно

- |     |   |                           |                                     |
|-----|---|---------------------------|-------------------------------------|
| 31. | Калиновский окроно<br>Казимир<br>Леопольдович | инспектор                 | сужден в<br>1925 г. по<br>ст. 98 УК |
| 32. | Бельножко<br>Александр<br>Михайлович          | архивн. секретарь<br>бюро | сужден по<br>ст. 111 в<br>1932 г.   |

\*\*\*\*

Председ. окрисполкома - /подпись/

---

Все примечания автора. - В. З.

\* Файбушевич?

\*\* Здесь и далее сохранено написание оригинала.

\*\*\* Ошибка нумерации?

\*\*\*\* Подпись неразборчива, похожа на "Макаров".

Вы заметили, по какому принципу составлены списки? Не по алфавиту, уж скорее по отделам. Но и он соблюден не слишком строго (во всяком случае, во втором списке). В первую очередь перечисляются люди, у которых в графе, носящей примечательное название "данные", значится: административный ссыльный, "та самая" статья 58, троцкист, бывший белогвардеец и т. д. Это, так сказать, "первородный классовый грех". И лишь позже перечислены те, кто обвинен в растратах, пьянстве, подлогах и т. п., - словно бы в довесок. Причем составитель списков не считает нужным давать какие-либо пояснения к многочисленным пунктам статьи 58. Похоже, он ее зазубрил так же, как во времена иные зубрили "Отче наш". А вот рядом с уголовными "мелочами" вроде статей 116, 119, 120 такие пояснения присутствуют.

Очень часто в качестве "первородного греха" называется троцкизм, что само по себе еще не повод для симпатий. Хрен редьки не слаще. Попытка разрушить товарно-денежные отношения и одновременно обеспечить экономический рост с неизбежностью произвела бы на свет такого монстра принудительного труда, каким был ГУЛаг. Аппарат принуждения, достигнув критической массы, занялся бы самоистреблением... История закономерно проделала бы тот же путь, только другие имена были бы оплеваны в школьных учебниках и другими именами была бы заплевана страна в новоявленных названиях городов и улиц. Но не о том сейчас речь. Существенно другое.

В январе 1924 г. Троцкий выступил с работой "Новый курс", содержащей лозунги свободы фракционной деятельности, защиты внутрипартийной демократии. Для Троцкого это был важный шаг с целью узаконить свое особое положение "главы теневого кабинета", которое его, теоретика и демагога по совместительству, в этот момент вполне устраивало и обещало реальную полноту власти в будущем.

На руках у Сталина оказался крупный козырь. Если бы рядом со Сталиным не было Троцкого - он бы его выдумал. Итак, всякое своемыслие - это уже фракционность, следовательно, - раскол партии, троцкизм чистой воды, который надо вырубать под корень. И вырубали. Так что к ярлыку "троцкист" надо относиться осторожно. Ярлык есть ярлык. Когда дело доходит до того, чтобы поделить общество на чистых и нечистых, без ярлыков не обойтись. Это что-то вроде казенного штампа на тюремном одеяле. После того, как оно наброшено, можно без пощады бить руками и ногами, живого человека не видно. Избиваемый не видит, кто его бьет, бьющие не видят, куда бьют. Политическая темная зиждется на тех же принципах.



За примерами далеко ходить не надо. Так в воспоминаниях Н. Штемпель о Мандельштаме приводится выдержка из воронежской газеты, где поэт обвиняется в троцкизме. Мандельштам - троцкист? Ну и ну! Если бы не расстрелы и концлагеря, идейная борьба того времени весьма походила бы на игры детей, страдающих дебилностью...

Вернемся к спискам. Я далек от мысли, что все названные в них люди - непременно без вины пострадавшие. Мемориальная доска в память о жертвах тирании, уверен, рано или поздно появится в Колпашеве, но какие имена будут на ней выбиты, пока говорить рано. Так, встретив знакомую фамилию во втором списке, одна милая старушка на добрые слова явно поскупилась (да и лихолетье человека этого вообще не коснулось). Но вопрос симпатий и антипатий - отнюдь не вопрос законности\*.

Вопрос стоит по-другому: если искать репрессированных колпашевцев, то логично было поискать таковых и среди тех, кто здесь перечислен. Особого внимания заслуживает первый список, где названы те, кого уже "уволители". Бросающаяся в глаза деталь: фамилии указаны даже без инициалов.

Впрочем, списки небезынтересны и сами по себе.

Ленин, решая вопрос, "на какой работе должны практически выделяться и выдвигаться вверх... организа-

---

\* Кстати, вас не удивляет устоявшаяся реабилитационная политика по отношению к жертвам сталинского террора, когда стыдливо замалчиваются имена тех, кто был непосредственно повинен в преступлениях режима, но позже самим же Сталиным был уничтожен? Прокуратура не считает нужным заявлять протест по их делам. А ведь по отношению к ним судебные процессы были такой же точно фальсификацией, и если они заслуживали возмездия, то за иные свои деяния.

торские таланты”, предлагал в качестве рецепта организацию соревнования. ”В какой коммуне... нет голодных, нет безработных, нет богатых тунеядцев, называющих себя интеллигентами? в какой больше сделано для повышения производительности труда? для постройки новых хороших домов для бедноты, для помещения ее в домах богачей? для правильного снабжения бутылкой молока каждого ребенка из бедных семей?” (ПСС, т. 35, с. 204-205). Вопрос, надо сказать, исключительной важности для тех, кто жаждет подняться по ступенькам власти наверх. Как знать, уж не эти ли слова из статьи с безобидным названием ”Как организовать соревнование?” использовали ”организаторские таланты” образца тридцатых годов в качестве своего ”трудового” манифеста... Тем более, что говорит об этом Ленин в самом значимом месте, в финале, подчеркивая при этом: ”они (организаторские таланты. - В. З.) и только они смогут спасти Россию и дело социализма”.

В 1930 г. с безработицей покончено, биржа труда закрыта. Сельскохозяйственное производство - на уровне 1913 г., это дало основание Сталину заявить во всеуслышание, что отныне советский народ сыт. Что остается? На молоке для детишек карьеры не сделаешь. Хорошие дома быстро не строятся, а время торопит. На третьем съезде комсомола Ленин говорил о поколении, ”которому сейчас 15 лет и которое через 10-20 лет будет жить в коммунистическом обществе” (ПСС, т. 41, с. 318). Это было сказано в 1920 г., и, чтобы подтвердить теорию практикой, которая одна является критерием истины, надо уложиться к 1940 г.

Нетрудно себе вообразить, как излишне ”смышленный” рабфаковец, разбирая по слогам одну из основополагающих работ Ленина, начинает понимать, что с молоком для детей много неясного, а вот взяться за ”тунеядцев, называющих себя интеллигентами” - это

беспроектно. Замечательное соревнование можно устроить. Глядишь, под палкой и производительность труда поднимется. А чем же ее еще поднимать? С деньгами ведь скоро покончим...

В сталинской теории обострения классовой борьбы можно увидеть не только психическую патологию ее автора, но и страшную внутреннюю логику, выражающую потребность в создании механизма для смены руководящих поколений. И такой "механизм", своей конструкцией напоминающий мясорубку, был создан.

Рискую выглядеть смешным, но все-таки напомним, что незадолго до появления "черных списков" колпашевского окрисполкома (сами списки можно датировать по содержанию не ранее, чем мартом 1937 г., года, по году архивной папки - не позже 1938 г.) в декабре 1936 г. вступила в силу вторая конституция, которая в своей 10 главе гарантировала и равноправие граждан, и политические свободы: совести, слова, печати, собраний, объединения в общественные организации, неприкосновенность личности, жилища и т. д. Уже первый список "уволенных" очевидным образом свидетельствует о репрессиях не в соответствии с некими судебными "ошибками", злыми кознями отдельных лиц, а о централизованной, санкционированной сверху, антиконституционной и потому преступной - по меркам сталинских же законов - политике. "Ошибка" и "преступление" - два разных слова. А политика, направленная на уничтожение слоев населения по некоторому признаку, есть, в соответствии с общепринятыми нормами права, геноцид, то есть преступление перед человечеством, не имеющее срока давности, и этого слова не надо бояться. Школьникам младших классов, прежде чем давать пионерскую присягу, следует хорошо уяснить, что такое геноцид и причину, по которой они должны помнить смысл этого слова.

О судьбе людей из "черных списков" могу сказать немного.

Не пострадал Ляних И. А. Уже после войны умерли Анциферов В. М., Громов В. В., Русланов И. В., Чернаков Г. И., Евдокимов К. Г. Впрочем, на всех них либо нет "первородного греха", либо он не слишком велик. А вот фамилии тех, кто в конце тридцатых был репрессирован: Кирсанов, Рахметов Б. Н., Степанов П. К., Улитко М. А.

Что стало с ними? Арест - это еще не гибель. Вроде бы в 1942 году был жив Рахметов Б. Н. За ним значится "протаскивание троцкизма в теоретических трудах". Стало быть, и теоретические труды имелись. Рахметов - это псевдоним, и, думаю, не надо пояснять, откуда он заимствован. Палачи предпочитали псевдонимы "пожестче". Про Рахметова рассказывали, что это был человек высокой культуры, в ссылку привез много книг. Его жена преподавала историю, ее тоже арестовали (напомню, что именно в период подмены подлинной истории ее "кратким курсом" пострадали многие историки и преподаватели общественных наук).

Также преподавала историю жена Степанова П. К., она была арестована с мужем. А тут след, возможно, ведет в колпашевскую могилу. Среди трупов видели останки женщины, которая по приметам (доха, золотые зубы) была похожа на нее. Говорят, была замечательной рассказчицей.

Из письма Николая Ключева Сергею Клычкову в июне 1934 г.:

"Поселок Колпашево - это бугор глины, усеянный от бед и непогодиц избами, дотуга набитый ссыльными. Есть нечего, продуктов нет или они до смешного дороги. У меня никаких средств к жизни, милостыню же здесь подавать некому, ибо все одинаково рыщут, как волки, в погоне за жраньем. Вспомни обо мне в этот

час - о несчастном - бездомном старике поэте, лице-  
зрение которого заставляет содрогаться даже приучен-  
ных к адским картинам человеческого горя спецпересе-  
ленцев. Скажу одно: "Я желал бы быть самым презрен-  
ным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпаше-  
ве!" Небо в лохмотьях, косые, налетающие с тысяче-  
верстных болот дожди, немолчный ветер - это зовется  
летом, затем свирепая 50-градусная зима..."

Да, Николай Клюев тоже был здесь. И в каком-то  
другом списке могло стоять против его фамилии в  
графе "данные": адмссылный, ст. 58 п. 10. Тогда же, в  
первые недели ссылки, Клюев писал с присущим ему  
надрывом и Н. Ф. Христофоровой-Садомской о том месте,  
куда его забросила судьба: "Население - 80% ссыльных  
- китайцев, сартов, экзотических кавказцев, украин-  
цев, городская шпана, бывшие офицеры, студенты и  
безличные люди из разных концов нашей страны - все  
чужие друг другу и даже, и чаще всего, враждебные,  
все в поисках жранья, которого нет, ибо Колпашев -  
давным-давно стал обглоданной костью. Вот он -  
знаменитый Нарым! - думаю я. И здесь мне суждено  
провести пять звериных темных лет без любимой и  
освежающей душу природы, без привета и дорогих лю-  
дей, дыша парами преступлений и ненависти! И если  
бы не глубины святых созвездий и потоки слез, то  
жалким скрюченным трупом прибавилось бы в черных  
бездонных ямах ближнего болота... безмерно сиротст-  
во и бесприютность, голод и свирепая нищета, которую  
я уже чувствую за плечами. Рубище, ужасающие виде-  
ния страдания и смерти человеческой здесь никого не  
трогают. Все это - дело бытовое и слишком обычное. Я  
желал бы быть самым презренным существом среди тва-  
рей, чем ссыльным в Колпашеве. Недаром остряки гово-  
рят, что болотный черт родил Нарым грыжей. Но больше  
всего пугают меня люди, какие-то полу-псы, люто  
голодные, безблагодарные и сумасшедшие от несчастий.

Каким боком прилепиться к этим человекообразным, чтобы не погибнуть? Но гибель неизбежна”.

Но погиб Клюев не в Колпашеве, в октябре 1934 г. он был переведен в Томск. Судьба дала ему еще несколько лет жизни.

Если уж говорить о Клюеве, то предположений, где погребены его останки, немало. Вот еще одно.

От архивиста-историка Н. Г. Охотина мне попало в руки письмо Морозова Игоря Константиновича из деревни Великуша Гдовского района Псковской области с рассказом еще об одном страшном, подобном колпашевскому, случае, который произошел, когда он учился в томском коммунально-строительном техникуме.

”...летом 1956 года две группы ПГС-ников должны были проходить строительную практику. Дали нам строить на пустыре возле Томской пересыльной тюрьмы, у самой стены закрытого для захоронений старинного [...] польского кладбища, здание то ли собственного техникума, то ли артиллерийско-зенитного училища.

Начинать надо было с котлована. Расчетная глубина промерзания в Сибири 2,5 метра, и, следовательно, котлован должен быть глубиной в 3,9 метра. Рядом с нами работала бригада нормальных строителей. Они кувалдой разбивали на бутовый камень скульптуры и памятники польского кладбища и бетонировали фундамент 100-квартирного дома через улицу напротив.

Меня назначили бригадиром этого сводного отряда. Студенты [...] сделали забой, копали, естественно, лопатами, а грунт катали наверх тачками. На пустыре рос могучий бурьян, и из барачков, где жили с семьями надзиратели тюрьмы, ежедневно на веревке приводила коровушку старушка. Однажды, когда я с прорабом Пятовым из подрядного управления закрывал наряд-

ды, меня позвали в котлован. Студенты густой толпой окружили место в забое, где что-то раскопали двое, Тамара Крузова и Францев. Обвалилась тяжелая глиняная стена забоя и [отрылось] жуткое зрелище. Беспорядочно, вперемешку с узлами и чемоданами лежали не скелеты, а люди, но их тела были не из мяса, а из чего-то похожего на воск или мыло\*. Со многими стало плохо. Я попросил всех уйти, а сам пошел звонить директору техникума Горбенко. Он оказался на месте, выслушал меня и обещал приехать. Часа через два на двух "Победах" приехали какие-то руководители. Наши доброхоты на совковой лопате подали голову в зимней шапке с истлевшим верхом. На лице черепа сохранились ткани, из головы текло, а вот все зубы были из золота красноватого, а не желтого цвета.

С края лежал чемодан, сооруженный, видимо, каким-то сельским умельцем. Чемодан из досок, хорошо выструганный, соединенный "в шип", отлакированный черным лаком и с какой-то комодной ручкой. Меня попросили открыть чемодан. Несмотря на нарядный лак, чемодан подгнил и легко развалился. В нем - беспорядочно скомканное белье, шевиотовый черный костюм, несколько книжечек стихов, одна из них - "Москва кабацкая", фотографии и две полных, запечатанных коричневым сургучом бутылки довоенной "Московской особой" водки. [...] Все стали удивляться, что за могила? А старушка с коровушкой на веревке сказал: "Э, милые! Да тут весь Каштак на костях стоит". На одной из фотографий были двое, С. Есенин и мужичок в шляпе. Книжки и фотографии начальство забрало с собой. После их отъезда мы раскупорили бутылку, понюхали - пахнет водкой. Пить не решились ни я, ни заядлые

---

\* Жировоск, образуется из мягких тканей трупов при нахождении тела в болотистой почве. - В. З.

алкаши Сеня Влох и Леха Шахманов. Юра Чупрунов спросил, что делать с золотыми зубами, он их наломал пригоршню. Мы его отлаяли за мародерство, и он при нас забросил зубы в картофельные грядки. На следующее утро мы к работе не приступили. Нам разрешили несколько дней отсутствовать, а я остался, чтобы закончить с прорабом наряды. Снова пришла старушка с буренкой и рассказала, что она вдова надзирателя еще с царского времени, а могил таких еще много. Когда в 37 году арестованных со всей Западной Сибири свозили в Томск, то в самой тюрьме места не было. Люди с вещами ждали ночи во дворе. А тем временем уголовники на пустыре копали ямы. Ночью арестованных без суда и следствия по пять человек выводили на пустырь и из наганов выстрелами в голову убивали, сваливая в ямы вместе с вещами. Решение тройки НКВД выносилось после, по мере канцелярских возможностей. Пока студенты вынужденно отдыхали, были наняты на временную работу "заисточенские" татары (бравшиеся за любые хорошо оплачиваемые работы) и, по цене 25 руб. за 1 куб. метр покойников, ночами их куда-то вывозили. В 1959 году, в первую годовщину окончания техникума, я приехал на вечер встречи, и мне рассказали, что Горбенко теперь уже в техникуме не работает, а работает мастером в РСУ после исключения из партии. Он, оказывается, был членом тройки НКВД, в звании майора руководил этой малопочтенной организацией и, видимо, знал об этих ямах на пустыре"\*.

---

\* Когда я передал томскому отделению "Мемориала" этот отрывок из письма Морозова, оказалось, что томичам удалось получить документы, свидетельствующие о том, что Клюев был расстрелян в Томской пересыльной тюрьме. Предположение о том, что там на Каштаке и был захоронен Клюев, конечно, достаточно зыбко, но рассказ Морозова сам по себе, как мне



И все-таки - не могу не объяснить почему - как-то особенно щемит сердце, когда выплывают из бездны совершенно безвестные имена. О Ключеве уже не забудут, он творчеством своим создал память о себе. А кто не успел, не смог? кто, оболганный, забытый и уже никому не нужный, лег костыми, по которым ретивые служаки карабкались вверх? и память о ком уходит на глазах с уходом старшего поколения?

Существует ли иной, равный по цинизму способ надругаться над тем, что люди называют смыслом жизни, - без всякой нужды, походя растоптать чужую незнакомую жизнь и тут же забыть о ней?

Удалось узнать, что колпашевскими органами НКВД среди многих других были схвачены: работник профсоюза учителей Леонсон, прокурор Пинчук, хирург Ной Яковлевич Иоффе, работник исполкома Ермолович, ленинградцы Александр Ильич Светланов и Евгений Арсеньевич Потехин, первый секретарь Нарымского окружкома Карл Иванович Левиц, врачи супруги Кузнецовы. Трагически погибла другая семья - Девятовых. Муж был арестован, жена потеряла с горя рассудок и покончила с собой, бросившись в прорубь на Оби. Без родителей остались двое детей, учившиеся в то время в девятом и пятом классах.

Ермоловича называли жертвой оговора. Вспомнил Ермоловича и бывший председатель РИК Колпашева Большаков М. А. - без особого сожаления. По его словам, Ермолович, работавший в военном отделе (исполкома? - В. З.), был осужден как колчаковский осведомитель. Но это как раз возможность оговора не исключает.

---

кажется, заслуживает того, чтобы его здесь привести.

Известно, что на свободу вышли Левиц К. И. и Иоффе И. Я. Последнего из них незадолго до войны видели в Томске. Скрюченный и изможденный, выглядел он очень плохо. Говорили, что в тюрьме его страшно били и, вероятно, повредили позвоночник. А погиб он позже, на Курской дуге.

Может быть, о судьбе кого-то из этих людей могли бы рассказать их дети и внуки? После ареста отца уехал из Колпашева сын Рахметова Эрик. Где-то в Москве живет дочь Девятова Галина (в замужестве - Кузьменко), ее муж Иван Кузьменко одно время работал врачом в ансамбле песни и пляски Советской Армии под управлением Александрова.

Еще одно имя - пианистка Мария Александровна Морозова.

В конце марта 1936 г. в Колпашеве состоялись концерты Рейнгольда Морицевича Глиэра. Они были даны в шефском порядке, два в один день, и перед гастрольной поездкой в Сибирь заранее не планировались. Большой мастер захотел сделать подарок сибирякам. Находясь в Новосибирске, он обратился с открытым письмом к редакции газеты "Советская Сибирь", где, в частности, говорилось: "изъявляю желание обслужить северный район края и отправиться на самолете с ансамблем, состоящим из артистки К. А. Булгаковой и балетной пары Г. Е. Кениг и Н. В. Гаев, - в Колпашево".

Ему помогли. После не слишком комфортабельного перелета Рейнгольд Морицевич очутился, как ему казалось, в самой-самой сибирской глубинке. И каково было удивление Глиэра, когда в этом маленьком городке, в таком отдалении от столичных центров он не только нашел людей, способных по достоинству оценить серьезную музыку, но и нашел свою собственную музыкальную жизнь. Да, в Колпашево - "бугре глины,

усеянном почерневшими от бед и непогодиц избями, дотуга набитыми ссыльными”, - были свои таланты. И в первую очередь - Мария Александровна Морозова, прекрасная пианистка с редкостным педагогическим дарованием. Именно благодаря ей преподавание музыки здесь было поставлено столь высоко, что это вызвало у Глиэра радостное изумление.

Давно замечено, что истинный талант способен яркой своей силой высветить одаренность и в других. Среди немногочисленных колпашевских интеллигентов к музыке было особенное отношение. Любопытная деталь: когда преподавателю математики Евгению Арсеньевичу Потехину - ученики его звали Бессемером - надо было навести порядок во время перемены в расшумевшемся классе, он не говоря ни слова садился за фортепьяно. С первыми же аккордами всякий шум тотчас прекращался. Затрудняюсь представить себе подобную сцену в школе, где учился я.

”Кого любит Бог, тот любит музыку...” - кажется, так говорят итальянцы?

Одним из островков культурной жизни в Колпашеве был дом № 16 по ул. Советский Север. Когда-то, - да и сейчас некоторые старожилы помнят об этом, - он назывался ”домом просвещенцев”. Жили там в основном учителя и работники окружного отдела народного образования. Жили дружно, с общими для всех праздниками и горестями. И когда началась полоса арестов - бессмысленных, жестоких - то терзали они маленькую коммуны просвещенцев, словно один живой организм, с садистской методичностью по кусочкам вырывая из него живую плоть. Были тогда арестованы и Потехин, и Морозова...

Многие из этих подробностей я узнал от Галины Михайловны Никифоровой, которая и сейчас живет в Колпашеве. Печальна ее собственная судьба. В 1937 г.,

когда ей было 14 лет, она потеряла отца, Смирнова Михаила Георгиевича.

Их семья также жила в "доме просвещенцев". Отца Галины Михайловны арестовали 3 сентября 1937 г. Сотрудников НКВД было трое. Признаться, в рассказе Галины Михайловны меня ошеломила ее фраза о старшем опергруппы, Калинин: "он был человеком порядочным". Век живи, век удивляйся незлобности русского характера... Оказалось, что, производя обыск, Калинин заметил под вазой облигации государственного займа, но не позволил их забрать своему подчиненному. Тот тоже заметил облигации и протянул было к ним руку, но Калинин его остановил: "Здесь ничего нет", - и поставил вазу на место. Сотрудники тогдашнего колпашевского НКВД не отличались чистоплотностью и порой не гнушались во время обысков набивать себе карманы. А те облигации позже оченьгодились семье. Ее бедствия только начинались.

Когда Галина Михайловна вспоминала былое, у нее в глазах стояли слезы. И мне вдруг стало не по себе.

Хочу быть понятым - правильно и точно. Представьте себе, что вы идете в чужой дом, чтобы узнать какие-то факты, фамилии, даты. Короче говоря, вас интересуют сведения, информация. И вдруг сталкиваетесь с живой болью. И за пятьдесят лет рана не зарубцевалась. А боль какая-то особенная. Словно бы замкнутая сама в себе, словно бы сама от себя уставшая. Словно бы боль эта уже и не надеется ни исцелиться, ни ослабнуть. Потому что не может этого сделать, не умеет. И даже быть в полной мере понятой и прочувствованной другим человеком тоже не рассчитывает.

Мы стали какой-то другой породой людей. Стали слишком склонны к умозрительности и слишком смертны. Слишком быстро в нас вымирает человеческое. Всего половина жизни позади, - а сама способность

человеческой души страдать вот так, в течение пятидесяти лет, приводит в смятение...

В доме Никифоровых память о Михаиле Георгиевиче чтут свято. И днем поминовения служит тот день, когда его навсегда увели.

...а ведь я нечаянно исказил слова Галины Михайловны. Не сразу это заметил. Она сказала: "Калинина считали человеком порядочным". Может быть, и случайное, но отличие есть.

Смирнов Михаил Георгиевич родился в селе Павлово под Ямбургом. Окончил Петербургскую учительскую семинарию, затем - Четвертую Петергофскую школу прапорщиков. С 1915 г. в рядах русской армии, в боях участвовал с 1916 г., но успел отличиться. Был награжден орденами третьей степени Св. Станислава и Св. Анны с мечом и бантом. Революцию 17-го года принял безоговорочно. Выходец из крестьянской семьи, он, как и многие, поверил в декрет о земле и с ним связывал будущее России. Вот примечательный эпизод из жизни Смирнова: явившись в дворянское собрание, призывал офицеров перейти на сторону Советов. В него стреляли, но промахнулись.

В гражданскую войну Михаил Георгиевич воевал на стороне Красной Армии. Участвовал в переходе через Сиваш. Служил в армии Тухачевского, знал его лично. Командармом Тухачевским был подписан его воинский билет. Не исключено, что имя Тухачевского и стало непосредственной причиной гибели Михаила Георгиевича.

После гражданской войны он оказался в Томске, где встретился со своей будущей женой Зинаидой Васильевной. В Колпашеве Михаил Георгиевич занимался тем, от чего был надолго оторван военным временем: учительствовал. Он был первым директором школы № 1 в Колпашеве, преподавал математику.

В августе 1937 г. на короткий срок он уехал по служебным делам в Томск. И у Михаила Георгиевича был шанс спастись. Его друг, Кипреян Петрович Баллот, успел сообщить, что им интересовались люди из НКВД, и посоветовал не возвращаться. Но он вернулся. В Колпашеве оставалась его семья. Да и не знал он за собой вины.

Его арестовали через несколько дней.

...что предшествовало арестам, выразительно свидетельствует публикация В. Костина в "Социалистической индустрии" от 22. 03. 89 г. Он рассказывает о покаянных откровениях некоего Ильясова, работавшего когда-то председателем райисполкома. "Круг забот известный. Но вдруг ежедневно за час до окончания рабочего дня меня и первого секретаря райкома партии стал вызывать к себе начальник НКВД района... Когда мы первый раз собрались втроем, начальник взял шифровку и зачитал: "...Сегодня надлежит заготовить двадцать быков". - Мы недоуменно молчали: ну и что? Обращайся, мол, к заготовителям... Но начальник буквально вложил каждому из нас в руки по толстой книге со списками жителей района. И еще похвалился:

- Мы имеем списки жителей всего района с необходимыми сведениями о каждом. [...] Я без вас уже подобрал десять человек из колхозов и МТС, а вы теперь добавляйте по пятерке своих, - последовала команда.

- Каких это "своих"? - удивился первый секретарь райкома.

- Пять из райкома и пять из райисполкома, - и захихикал тихоненько.

И мы поняли, о каких "быках" идет речь в шифровке [...]

На следующий день опять звонок и опять нужно "заготовить 20 быков". И на третий, четвертый... де-

сятый день... [...] Более 200 человек из района забрали, а шифровки все шли... [...]

В один из таких вечеров сижу, вожу пальцем по страницам в книге переписи населения и чувствую: схватило за живот. А мне же еще троих записать надо, а найти с провинками никого не могу... Ну, думаю, сейчас выйду на двор, так он меня самого и впишет. В двух соседних районах председателей уже замели... Но терпеть дальше не было мочи, и я пошел, вернее, побегал во двор. А вдогонку мне весело так:

- Ага пробрало?! То-то! Это тебе не пустые бумажки подписывать! Людей на смерть посылаешь!

Вернулся я, дописал в список недостающих троих: своего заместителя, заведующего райзо и директора школы. Писал и надеялся, что не посмеет он всех троих - видных людей района забрать. А чекист прочитал, похвалил..."

Такой вот рассказ. И тут упомянут директор школы. А знаете, где это происходило? - все в той же Томской области. Более того, дважды в газетной публикации упоминается Колпашево - и автор статьи, и бывший председатель райисполкома встретились в 1954 г. именно там. Но злоупотреблять догадками не будем. О чем можно говорить определенно, так это о том, что из Томска в Колпашево - область-то одна - летели тогда точно такие же шифровки...

В то время самой Галине Михайловне было четырнадцать лет. Каждое утро она прибегала на улицу Дзержинского к зданию НКВД и ждала, когда откроются ворота. Это случалось крайне редко. Иногда арестованных маленькими партиями угоняли по этапу. Их вели к баржам, чтобы по реке отправить в Томск. Но ожидание было напрасным. Чуда не произошло. Отца не пустили. И среди ушедших к пристани его не оказалось.

Позже матери удалось через знакомую в Томске узнать, что в списках, где регистрировались все доставленные в Томск арестанты, Смирнов Михаил Георгиевич не значился (впрочем, как и Пинчук, и Ермолович, которых забрали в НКВД тогда же).

Из "дома просвещенцев" семья была выселена. Приютили чалдоны, они любили Михаила Георгиевича... Старшей дочери Смирнова, Нине, учившейся в институте, предложили на комсомольском собрании отречься от отца как от врага народа. Она отказалась: "Сегодня отрекись от отца, завтра - от Родины..."

Эх, знать бы, как сложились судьбы тех комсомольских вожаков, которые тогда занимались идеологическим мордобоем? Воевали или в силу особой своей идейной зрелости стояли с автоматами сзади, в заслоне? И главное - какими людьми выросли их дети и внуки?

За своих детей Смирнову стыдно бы не было.

Об отце Галина Михайлована ничего не слышала до 1951 г., когда ее неожиданно вызвали в МГБ. Первым чувством был страх. В четырнадцать лет дочь потеряла отца, и еще ровно четырнадцать лет, регулярно подвергаясь травле, она прожила на положении изгоя. Ей было чего бояться...

Но это была реабилитация. Посмертная реабилитация. В числе немногих он был оправдан еще до смерти генералиссимуса. Следовательно Челноков был внимателен и любезен, он значительно отличался от тех людей, у которых Галина Михайлована когда-то пыталась узнать о судьбе отца. Дело Смирнова было на редкость скудно и состояло едва ли не из единственного протокола допроса, написанного совершенно безграмотной рукой. Директору школы ставилась в вину контрреволюционная деятельность в Сибири, организация мифической подпольной армии, укрывательство складов с оружием и прочая подобная же чушь.



Но под всем этим бредом стояла подпись Михаила Георгиевича. Он расписался не так, как обычно расписывался под документами, полностью выписывая свою фамилию, а ограничился закорючкой - как в ученических дневниках. Почему? Кто знает. Из объяснимого разве что безысходностью ситуации безразличия к собственной участи? Или сама подпись была обыкновенной подделкой?

А следователь, которого Галина Михайловна спросила, как мог отец подписать подобную ахинею, позволил себе откровенность:

- Скорее всего у него не было выбора. Ему могли угрожать, что в противном случае они заберут всю семью.

Тогда же Галине Михайловне сообщили, что Смирнов Михаил Георгиевич скончался от эмфиземы легких в 1945 г. Но ведь известно, что на самом деле означал приговор "десять лет без права переписки". Расстрел. Фальсификация дат смерти для "умиротворения" родственников практиковалась в те годы широко. Повторяю, никаких следов в Томской пересыльной тюрьме обнаружено не было. Не было его и среди угоняемых к пристани, а до завершения навигации оставалось мало времени. Да и не в духе той эпохи было затягивать судебные фарсы, на них тратили не месяцы, а минуты.

Взглянуть на фотографию Михаила Георгиевича не удалось. У семьи ничего не осталось: ни фотографий, ни писем. Все было изъято во время ареста сотрудниками НКВД. Не нашлось фотографий и в школе, где он когда-то работал.

Зато в опубликованном фрагменте письма Глиэра, которое тот написал из Колпашева 30 марта 1936 г., можно прочитать: "посылаю фотографии, где снята аудитория из учащихся и учителей". Вот эти фотографии должны были сохраниться. И на них, пожалуй, можно найти и Смирнова, и кого-нибудь из его кол-

лег, погибших в те годы. Тех, кто мог лежать в братской могиле на берегу Оби.

В изданном двухтомнике воспоминаний и статей Глиэра одна из колпашевских фотографий опубликована - но без аудитории, к сожалению. Сделана она, вероятно, в клубе "Динамо" - том самом, что стоял в сотне метров от места расстрелов.

Был знаком со Смирновым Большаков, вспомнил о нем с грустью.

Место могилы Михаила Георгиевича неизвестно. Уверен, что она была там, на яру... Когда крушили берег, Галина Михайловна стояла рядом. Молодой человек в штатском, из приезжих, попытался ее прогнать. Сквозь слезы она ответила: "Здесь лежит мой отец". Тот молча отошел. Теперь и этого следа на земле нет. Что ж, пусть хотя бы этот рассказ заменит ему надгробный камень.

### 3.

А вот это надгробие в целостности и сохранности. На колпашевском кладбище можно найти расширяющийся кверху, наискось срезанный камень с надписью: "Волков Александр Данилович. 11.X.1911 - 25.XII.1979. Любимому и дорогому мужу и отцу". На белом мраморе не звезда, как на многих других надгробиях, а черный крест. Впрочем, я не вполне прав, что надгробие в целостности и сохранности - не то сорвана, не то отлетела фотокарточка.

Этого-то человека, бывшего сотрудника НКВД, едва ли не в один голос и называли исполнителем смертных приговоров... В городе живут жена, сын и дочь Волкова, и это гнетет. Слышал о них только хорошее. От пересудов за спиной, надо думать, они натерпелись достаточно.

Что касается причастности Волкова к расстрелам, чаще колпашевцы в своих рассказах начинали словами "говорят...". Но были и свидетельства вполне определенные, исключаящие одно другое.

Одно из них - Александра Павловича Глазырина. Он - из загубленного войной поколения 1923 г., был на фронте, а вернувшись, по комсомольской путевке пошел в 1949 г. "на Дзержинку". Многие из прежних сотрудников продолжали работать. Кроме того, позже Глазырину самому приходилось участвовать в пересмотре тех дел. В информированности его можно не сомневаться.

Пожалуй, беседе нашей не доставало откровенности. Александр Павлович сглаживал кое-какие углы, я каких-то вопросов не решался задавать. За рамки официальной версии о дезертирах мы не выходили. Но в отношении Волкова он был категоричен:

- Его оговорили напрасно.

По словам Глазырина, тот работал в НКВД приблизительно с 1944 г. надзирателем внутренней тюрьмы, но ее скоро ликвидировали, и в дальнейшем Волков был лишь телефонистом на коммутаторе. Почему Волков не попал на фронт? Александр Павлович только развел руками. Но в главном Глазырин был тверд: Волков к расстрелам никакого отношения не имел. Как-то неявно предполагалось, что истинного исполнителя приговоров Глазырин знает. Да только мог ли быть такой отдельный палач? Здравый смысл подсказывает, что в системе НКВД должна была действовать система круговой пору-

ки. В убийстве людей повинны слишком многие. Может быть, - все без исключения...

А вот по словам Леонида Сергеевича Коновалова, тоже фронтовика, старого партийца, Волков сам признавал свое участие в расстрелах, даже рассказал об одном эпизоде. Ему было приказано расстрелять молодого парня. Делалось это так: человека вели к яме и неожиданно производили выстрел в затылок. В тот раз то ли нервы у Волкова не выдержали, то ли руку свело. Он промахнулся. Пуля лишь зацепила ухо. Парень повернулся и дико закричал: "Мама!" Тогда Волков выстрелил еще раз.

Может быть, эта история относится к еще более ранним временам? Имя Волкова однажды упоминали и в связи с делом Толстыгина\*. Якобы тогда ему чудом удалось избежать суда. А может быть, это попросту самооговор?

И этого нельзя исключить. В конце жизни Волков стал религиозен, регулярно посещал тогурскую церковь (своей в Колпашеве нет). И когда вскрылось захоронение, колпашевцы стали поговаривать, что Волков, мол, старые грехи замаливает...

В общем-то, можно допустить, что человек в подобной ситуации не только не отрицает обвинений, но даже готов сообщить "подробности". Действует по принципу: клин клином вышибают. Если к тому же душа ищет покаяния, если человек тяготится сознанием неправдо прожитой жизни... Кто может взять на себя сме-

---

\* В начале 30-х годов комсомольский вожак Матвей Толстыгин, чиня самосуд, расстрелял на старом цыганском кладбище (в районе магазина № 24) немало невинных людей. Во время одного из ночных расстрелов кому-то удалось бежать, о деяниях Толстыгина узнали в Новосибирске. По делу Толстыгина были осуждены 15 человек. Четверо, в том числе сам Толстыгин, были приговорены к расстрелу. В тюрьме Толстыгин покончил с собой, вскрыв себе вены.

лость утверждать, что не могло быть ничего подобного?

Те, кто его не знал вообще или знал мало, чаще говорили о нем с неприязнью, в причастности Волкова к убийствам не сомневались. Зато те, кто знал его хорошо, говорили, как мне показалось, с некоторой осторожностью. Нет, сам факт того, что Волков мог выполнять обязанности палача, не отрицали, а словно бы не хотели, чтобы о Волкове была сказана... неправда, что ли?

На мрачного злодея он никак не походил. Малограмотный, но живой, любил побалагурить, подшутить над кем-нибудь. Смешно изображал, как рассказывает по своему кабинету начальник НКВД. Внешность достаточно заурядная: невысокого роста, круглолицый, с острым носом, светловолосый. Но был силен, ловок и подвижен. В молодые годы даже входил в число лучших лыжников Сибири на длинных дистанциях. Его и сейчас часто вспоминают как Сашку Бегунца. Лишь по собственной оплошности, перепутав на финише разметку маршрута, не смог завоевать "серебро" на крупных соревнованиях в Москве.

Страстно любил охоту. Сам чалдон, он и других коренных сибиряков удивлял своим умением. Мог, к примеру, сесть на пенек, положив один конец длинной палки себе на грудь, а другой - на землю, и особым свистом подманивал бурундуков (отличающихся, кстати, большой осторожностью). Когда же бурундук по палке подходил к самому лицу, ловил его петлей, сделанной из конского волоса.

Что я еще знаю о Волкове? Беспартийный, но в комсомоле в свое время состоял. Очень любил порядок, дисциплину и, когда ее кто-то нарушал, воспринимал это едва ли не с обидой. Сам был исключительно исполнительен.

И еще у него был отличный голос. По иным рас-

скажам, он даже пел в церковном хоре, но это не так. К клиру тогурской церкви он отношения не имел. Но легко себе представить, что во время службы частенько подпевал хору. "Кого любит Бог, тот любит музыку?"

Случалось, что верующие старушки, называя Волкова душегубом, гнали его из церкви. Изгоняли и из рейсового автобуса, который ходит между Колпашевым и Тогуром. Но последним из последних, как я понял, он себя не считал. Не только приходил в церковь сам, но и поучал других, убеждая некоторых из своих знакомых обратиться к вере, читать Библию. О себе же говорил: "Только теперь я знаю жизнь истинную и знаю, что буду жить вечно".

Хорошо знала Волкова Галина Михайловна Никифорова. Тот был к ней как-то по-особенному расположен. После того как у нее лет пятнадцать назад начались нелады с сердцем, Волков стал к ней еще внимательней, частенько предлагал мед (на другом берегу Оби у него была пасека).

- И все-таки какой же он был неприятный человек, - вдруг сказала Галина Михайловна.

- А когда вы стали испытывать к нему неприязнь? После того, как река размыва могила?

Ненадолго задумавшись, она честно признала:

- Да, после.

Последняя подробность: когда-то Волков был учеником Михаила Георгиевича Смирнова. Так что на чердаке в доме Волкова мог заваляться старенький ученический дневник с такими же точно закорючками вместо подписи, какую Михаил Георгиевич поставил под протоколом. По сути дела, под собственным приговором. Разум может помутиться при допущении, что в узком подземном коридоре, ведущем в могилу, судьба чрезвычайно исполнительного сотрудника НКВД, комсомольца Волкова, могла сойтись с судьбой его бывшего учителя.

Это было бы уже слишком...

”Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке, знак ГТО на груди у него...”

Чёрт с ним. В любом случае, Волков - человек маленький. Исполнитель приказов. Каких именно, - пока доподлинно не известно. Может быть, и убивал. Но говорить только о нем, не вспоминая о тех, кто эти приказы отдавал, по меньшей мере несправедливо. И все-таки рассказать о бывшем надзирателе внутренней тюрьмы НКВД стоило. Уж не знаю, как передать то смятение, которое я испытал сам, когда понял, что уводил людей в колпашевскую яму какой-то самый обыкновенный парень с комсомольским значком на гимнастерке, с политической полуграмотой в голове, со своими семейными заботами... Это и страшно: даже среди тех, кто убивал невинных, незаменимых людей не было.

А не было ли людей, прямо заинтересованных в том, чтобы Волков ходил в палачах? И кто слухи эти специально поддерживал? Не исключено. Он фигура для оговора очень удобная. В скором времени после размыва берега Волков умер, выгораживать себя не будет.

Рассказать правду о могиле на яру, о том, кто был там расстрелян и кто расстреливал, могли бы разве что те люди, которые когда-то работали в двухэтажном здании на улице Дзержинского. Если бы захотели, конечно. Да и многих уже попросту нет в живых. Но некоторые фамилии, которые я слышал в Колпашеве, на всякий случай назову, хотя возможны и ошибки. Часто люди попросту путали милицию, НКВД, НКГБ и не делали различия между годом 37-м и 57-м, а фамилии следующие: Антон Антонович Мартон, Калинин, Карташев, Подоплеев, Карпов, Давыдов, Павел Ежовкин, Шемнев, Кульменев, Федор Шендель, Иван Алексеевич

Кондратенко, Захар Павлович Шкодский, Воронин, Константин Миронович Ожерельев, Тилисин, Александр Иннокентьевич Терентьев, Александр Павлович Глазырин, Юрий Алексеевич Левицкий, Григорий Антонович Ракитин, еще не то Краснопольский, не то Красносельский.

У вдовы окружного прокурора Литосова должны были сохраниться собранные ее мужем газетные вырезки о тогдашних процессах. Жив-здоров Анатолий Родиков, который работал в милиции, но ему приходилось переправлять арестантов в НКВД. Он может знать что-то о тех, кто попадал туда.

Теперь то небольшое, что я знаю об этих людях.

Мартон, венгр по национальности, был начальником НКВД приблизительно в 1937 г. Сам был арестован и отсидел в лагере два или три года. Карпов и Подоплеев работали в НКВД в 1945 г. Ожерельев, заведовавший клубом "Динамо", много лет назад покончил с собой. Был в свое время репрессирован Шкодский. По одним рассказам, он сам прежде принимал участие в арестах. По другим, - был всего лишь завхозом или комендантом, попал под суд за растрату. Кондратенко после войны работал зампредела горисполкома (вот уж о ком отзывались скверно!). Жив Ежовкин, работавший участковым НКВД, якобы сидел за издевательство. Живы Терентьев, Ракитин, Левицкий. О Левицком, кстати, очень хорошо отзывалась Галина Михайловна Никифорова, которая его помнит со школьной скамьи. Левицкий воевал, награжден многими орденами и медалями, а "на Дзержинку" пришел работать приблизительно тогда же, когда и Глазырин...

Да, еще в этот список следовало включить Волкова.

А ведь и я, рассказывая о Волкове, словно бы боялся какой-то лжи... Понял это сейчас. Если его признание - сущая правда, оно само по себе кое-чего



стоит. Другие-то молчали, молчат и будут молчать. Об одном бывшем сотруднике НКВД далеко не геройского склада сказали так: "даже не скользкий, а склизкий человек, когда берег обвалился - шесть запоров на дверь поставил".

Если Волков сказал правду... то-то и оно, что сказал ее.

По большому счету на это еще не решилась вся страна.

#### 4.

Ладно, если уж выворачивать душу, то начинать надо с себя... Есть во всей этой темной истории одно совсем уж темное обстоятельство, о котором упомянуть сразу язык не повернулся. Показалось - проще промолчать. В Колпашеве упорно поговаривают, что в могиле на яру встречались и останки детей...

Дико? Вот и я испытал что-то вроде шока, когда впервые услышал об этом. Уж какие там политические репрессии! Прикрываемая законом самая грязная уголовщина. Так суть дела, пожалуй, ясней\*.

Неужели такое может быть правдой? Этот вопрос задала в горкома партии Антонина Ивановна Панова, заслуженная колпашевская учительница. Важный для нее вопрос. Всю жизнь учила детишек истории, награждена

---

\* Уже после написания очерка летом 1987 г. в печати появились сведения о принятом весной 1935 г. законе, по которому к высшей мере наказания могли быть приговорены дети с двенадцати лет. Кто бы из историков потрудился добраться до документов, при каких обстоятельствах ВЦИК принял этот закон? кто предложил этот пункт, кто возражал, чьи палаческие подписи под ним? В интервью "Литературной газете" Т. Абуладзе упомянул об уничтожении по приказу Сталина многочисленного старинного рода - и без камуфляжа лжеправосудием. Уничтожались и дети? Значит, могло быть? - В. З.

орденом Ленина. Да только той ли истории, настоящей? Ей ответили приблизительно так: "А вы сами видели? Нет? Не было там детей. Расстрелянные - дезертиры. Ну, были среди дезертиров и остяки..." Остяки - это коренное нерусское население здешних мест, правильнее бы их называть селькупами. Остяки малорослы, именно поэтому горкомовские товарищи постоянно упоминали о них и в других случаях. Так что самый факт того, что в колпашевской могиле встречались останки, которые можно было принять за детские, высосанным из пальца никак не назовешь.

Ну, а дальше, дальше-то как быть? Сказать по совести, страусовая философия так разъела душу, что я сам рад любой зацепочке, лишь бы усомниться в этой мерзости. Да, я без особого труда нашел двух колпашевцев, которые видели могилу своими глазами и говорили о детских останках. Разыскать этих людей не трудно, адреса сохранились. Один из них, когда коснулись версии об остяках, только горько усмехнулся: "Никогда не видел остяков с грудной, клеткой, словно у десятилетнего ребенка". Даже если так, готов допустить, что ребенок попал в тюрьму вместе с родителями случайно и не был застрелен, а умер от крупозного воспаления легких, чахотки, менингита (почему-то от этой мысли вроде бы легче).

И в рассказе Волкова присутствовала существенная подробность: тому парнишке, которого он убил, было лет пятнадцать-шестнадцать. Потому, собственно, и дрогнула у служивого рука. Что ж, согласен поверить в самоговор.

Наконец, несколько раз слышал в Колпашеве о бабе в шубе или тулупе, которую принесло течением в заводь у пристани. Якобы на руках у нее был грудной младенец. Готов допустить, что произошла чудовищная ошибка, не было никакого младенца, а был узел с ве-

щами, который толком не разглядели стоящие на берегу.

Более того, спешу сослаться на Галину Михайловну Никифорову, которая не знает ни об одном случае, чтобы в Колпашеве вместе с родителями забирали детей. Могу сослаться также на Алексея Николаевича Мальцева, у него было достаточно возможностей разглядеть захоронение. Он детских останков не видел.

Так что у меня нет твердого мнения о том, что же могло на самом деле твориться в колпашевском НКВД.

Есть фактическая сторона дела - ее можно установить в результате непредвзятого и объективного разбирательства. Но есть еще и другая, без которой никак не обойтись и у которой свои законы объективной неизбежности. Повторюсь: природа не терпит пустот, а общество - незнания. Если нет достоверных сведений, их заменят слухи, и уже они станут той объективной реальностью, которая будет передана потомству. Было бы наивностью думать, чтобы такое событие, как варварское уничтожение захоронения на месте колпашевского НКВД, начисто выпало из памяти людей. Нет, оно утратит остатки достоверности, исказится до неузнаваемости, но не исчезнет, уйдет куда-то в подсознание, станет какой-то малой, но существенной ее частью. Какой? Можно только гадать.

Думаю, что это будет и отчуждение от государства, - раз государство не намерено быть с ним, гражданином, правдивым и откровенным. И уничтожение личности - раз так мало может стоить человеческая жизнь на ничтожном, в сущности, временном отрезке в пятьдесят лет. И, наконец, страх, - раз миром правят силы, которые по своей прихоти могут изгонять из жизни неугодных...

Что дальше? Дальше останется лишь ждать, - когда гражданин переродится в обывателя.

Может быть, в этом и состоит суть национальной

катастрофы, которая уже произошла? Дошедший до абсурда конформизм давно стал принципом существования целого народа. Новая политика, пришедшая вместе с Горбачевым, дала надежду на будущее, разум общества просветляется, возвращается к жизни истребленное понятие совести. Но если столько лет душой катились вниз, то сколько теперь придется карабкаться вверх? А если не избавиться от того идеологического чертополоха, который совершенно заглушил общественную жизнь, не удивлюсь, если еще через пятьдесят лет какой-нибудь старец - из тех, кто сейчас пребывает в юности и знает о колпашевской могиле лишь понаслышке, будет рассказывать небылицы: "А, знаю, знаю. Как же! Комиссары треклятые в овраг сто тысяч народу загнали, - кого попадя, и баб с младенцами заодно, - и всех из пулеметов порешили..." Или что-нибудь в том же духе.

В обских местах и сейчас подобных историй вам расскажут с избытком - и попробуй доберись до правды. Расскажут и про священнослужителей, уничтоженных в Кетском монастыре, развалины которого еще сохранились на дороге Маракса - Мохово. И про семью крестьян-выселенцев, расстрелянных у села Назино в Александровском районе на севере Томской области. И совсем уж страшные вещи про Назино расскажут. Как на остров поблизости (он так и называется - Назинский) высадили до трех тысяч спецпереселенцев без каких бы то ни было средств к существованию. А в обеих протоках Оби оставили плоты с пулеметами, чтобы никто не мог уйти вплавь (ночи, напомним, в тех краях белые, так что трудно было спастись и в ночное время). Так все эти несчастные, среди которых началось людоедство, и были истреблены - голодом... Кто возьмет на себя смелость утверждать, что эсэсовский газ "Циклон Б" был пределом изуверства? Чем

лучше та нравственная отравка, которой нас заставили дышать берии, молотовы, ворошиловы, ждановы и прочие нелюди?

Право, загадка: как же были устроены головы ответственных товарищей недавней нашей безголовой эпохи? То, что интеллектом они, как правило, не были обременены, в данном случае несущественно. И что в жизни им важна была исключительно внешняя, фасадная сторона дела, тоже не слишком большое открытие. Если какой-нибудь работяга, тараша счастливые глаза при виде телекамеры, радостно повторял: "Одобрям! Поддерживаем! Сделаем!" - то высокому гостю, ради услаждения ритуальной похоти которого был затеян спектакль, этого было вполне достаточно. И было совершенно наплевать, что про себя работяга думает: "Накось, выкуси! У тебя для нас фига в кармане, - так ведь в своем кармане я хозяин".

Но ведь звонкие цацки на груди и мраморные изваяния они любили. Еще как любили! И хоронили друг друга в людных местах. Неужели было безразлично, какими словами, уже вслух, помянет их проходящий мимо потомок? Казалось бы, сами были свидетелями того, что иное из мраморных надгробий просит плевка. Более того, своими собственными руками вынесли из мавзолея мощи главного изувера (в том смысле своими собственными руками, что голосовали "за"). А про себя забыли. Не подумали, что плевательница может оказаться на их могилах нужнее, чем величественный бюст.

Все-таки поразительно, насколько сильной оказалась холуйская преданность своему хозяину, которого они сами же скрепя сердце припрятали поглубже в землю. За сделанную в тени его душегубства карьеру? Потому что у самих были руки в крови?

В разговоре с бывшим председателем колпашевского РИК я случайно узнал вот что.

Как я понял, у Большакова нередко бывали местные журналисты, краеведы, и подобные встречи отвечали определенному регламенту - по характеру вопросов. Я же задавал вопросы, для Александра Матвеевича непривычные. Был он, помнится, одет в полувоенный френч, что тоже говорит о давно устоявшихся взглядах на жизнь.

- И это тоже кто-то из административных ссыльных, - сказал он, услышав от меня очередную фамилию. На лице его появилось не то недоумение, не то досада.

Да, конечно, все эти люди, выпавшие из жизни и, подобно чумным больным, вызывавшие тогда в окружающих страх, были малоинтересны ему... Разговор зашел в тупик. Тогда я попросил:

- Александр Матвеевич, расскажите, пожалуйста, о подавлении кулацкого мятежа на реке Чая.

Об этом событии я успел прочитать в какой-то популярной исторической брошюре, встречал упоминания и на стендах краеведческого музея. Реакция Большакова меня удивила. Ему очевидным образом было неловко за тех, кто писал брошюры и оформлял стенды.

Оказалось, что реальные события лишь с очень большой натяжкой можно было именовать мятежом. Среди спецпереселенцев пошел слух, что большевистское правительство в Москве развалилось. И они решили установить свою собственную власть. Акты насилия с их стороны ограничились тем, что были взяты под стражу несколько милиционеров-комендантов. Вот и все. Ни о каких смертоубийствах, грабежах и прочих бесчинствах и речи не было. При желании можно было уладить дело миром, - но за это орденов не дают.

Для наведения порядка был направлен вооруженный отряд под командованием Ивана Ивановича Долгих. Надо отдать ему должное - это был человек не робкого десятка. Переодевшись, в одиночку отправился в деревню. Нашел школу, где сидели под замком представители

власти, о чем ему простодушно сообщил охранявший их старик с берданкой. Старика этого Долгих застрелил из спрятанного под полой маузера. Потом - еще одного, выскочившего на выстрел с березовым дрынком. На том подавление "мятежа" и закончилось. Позже состоялся суд. Многие крестьяне были осуждены, а зачинщики - расстреляны.

Большаков вдруг оживился.

- А ведь наш Долгих - это отец того самого Долгих, кандидата в члены Политбюро. Он был одним из руководителей Сиблага.

Мать честная! Весьма любопытное обстоятельство, - если Большаков ничего не перепутал, фамилия Долгих в Сибири встречается часто. Тогда тут не только холуйская преданность, но даже родственная преемственность. Да, нелегко ждать в данном конкретном случае покаянных откровений, ордена Долгих-старшего, наверное, до сих пор хранятся в семье...

Кстати, на процессах 30-х годов использовалось и обвинение в организации кулацких восстаний в Сибири. И на реке Чая тоже?

Колпашевская история - лишь маленький эпизод в недавней общей политике сокрытия преступлений сталинского режима. Даже сама попытка говорить об этом была наказуема. Но по странному стечению обстоятельств одна из статей уголовного кодекса, которую для этого использовали, - 190<sup>1</sup> (предусматривающая ответственность за распространение заведомо ложных слухов, порочащих советский государственный строй), соседствует со статьей 189, которая предусматривает наказание до пяти лет за укрывательство преступлений. Военные преступления, геноцид не могут иметь срока давности, и уже поэтому прежнее руководство нашей страны в народной памяти должно остаться преступными пособниками сталинизма.

Даже по меркам безголовой эпохи уничтожение захоронения в Колпашеве - редкостный пример нравственного мародерства. Власти затеяли втихую упрятать концы в воду, - хотя уже этого не следовало делать, - а в итоге устроили то, что тот же Коновалов с горечью назвал "комедией на реке".

И, вдобавок, дикие эти слухи - детей убивали.

Безграничная и бесконтрольная власть всегда порождает и будет порождать злоупотребления. Не мы первые, не мы последние. Так что ж? Проблема эта должна решаться просто. Личной ответственностью. Совершенно преступление - ищите преступника, у которого есть имя и фамилия. Не было преступления - заявите во всеуслышание. Почему бы не проявить минимум уважения к общественности? Почему бы не привлечь к разбирательству хотя бы патологоанатомов колпашевской больницы в качестве представителей общественности? Так нет же, наоборот, запретили вскрывать случайно попавшие в морг трупы. Откровенное издевательство и над здравым смыслом, и над совестью.

Но будем честны с собой. Тогда в Колпашеве происходило то, что не могло не происходить. Так что вряд ли имеет смысл называть фамилии тогдашнего городского начальства. Уточнять, кто пошел на повышение в Томск, а кто застрел в колпашевской болотной низинке. На месте этих фамилий легко представить любые другие. Наоборот, невозможно представить иное, более разумное развитие событий. А если нечто подобное повторится? Не в Колпашеве, так в другом конце страны? Ведь таких ям тысячи. А кто-то и сам может проявить инициативу. Теперь ведь понятно, где искать. Поинтересоваться у стариков, где была тюрьма НКВД - вот и все...

Да и что я заладил: городские власти, городские власти... Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять,



что решения принимались не на уровне горкома партии. Все лето на спасательной станции прожили двое чужаков. Были они одеты в спортивные костюмы, но о ведомственной принадлежности гадать особенно не приходится. В их обязанности входила ликвидация трупов, если таковые будут обнаружены на реке. Поразительно, но за все это время они ни разу не обратились друг к другу по имени. Школа, что и говорить, хорошая. На прямой вопрос, - как звать-то? - один из этих малых мрачно пошутил:

- Меньше будешь знать - дольше проживешь.

Спасатели, - интерес сугубо профессиональный, - диву дались, с какой легкостью заезжие "спортсмены" раздобыли два лодочных мотора "Вихрь", крайне дефицитных в здешних краях. И еще больше - той королевской щедрости, с которой моторы были оставлены "на добрую память". А вот портативные рации были увезены с собой...

Вопрос к нынешнему члену политбюро, любимцу народа Егору Кузьмичу Лигачеву: какие распоряжения он отдавал своим подчиненным в майские праздники 1979 г.? Был он тогда, помнится, первым секретарем томского обкома партии. Не история ли с колпашевским захоронением привела его к высказанному однажды убеждению, что проблема сталинизма подброшена нам с Запада?

Продолжение обязательно последует. Так что пусть заранее ответственные товарищи - особенно из КГБ - подумают, стоит ли мараться в крови, пролитой другими. Почему до сих пор не открыты архивы? Более того, появились сведения о фактах сознательного уничтожения архивов по репрессиям против крестьянства. Не пора ли всерьез подумать о применимости ст. 189 УК?

А уж что касается детской крови, то более маркой,

чем она, нет ничего на свете. В соответствии с атеистическими воззрениями она, даже не будучи пролитой, остается на руках и через две тысячи лет. Не верите? Судите сами. Казалось бы: если не было царю Ироду причины устраивать вифлеемское избиеие младенцев, то и самого избиеия не было. Так? А вот ведь остался в истории - иродом. Именем нарицательным.

Так что пора бы разгрести эти авгиевы конюшни советских спецслужб. Человек не может чувствовать себя хозяином в доме, где есть темные углы с привидениями.

## 5.

Пора бы и поставить точку. Практически всё, что мне известно об этой колпашевской истории, уже рассказано. Почти всё... ну, а о людях - тех, кто помог делом или хотя бы советом, и тех, кто, кривясь, отмахивался, находя глупым ворошить прошлое, - как промолчать? Стоит ли повторять, что день сегодняшний приходит из дня вчерашнего? Подчас непросто в том, что сегодня вошло в силу, пошло в рост, угадать брошенное накануне семя. И запах не тот, и цвет другой, и форма иная. Но родство есть родство и от него никуда не уйти. И сознательная сегодняшняя слепота, и, наоборот, небезразличие все несет на себе отпечаток былых времен, потому что в те времена весь уклад нашей жизни и был зачат.

Вот не сложился разговор с Александром Александровичем Мартемьяновым, главным диспетчером речпорта. А узнать у него было что: какие суда размывали берег? как найти людей из судовых команд? Едва заметив блокнот, вежливо, но твердо сказал:

- Извините, но разговора у нас с вами не полу-

чится. Мы не имеем права сообщать сведения о дислокациях флота.

Жаль. Речники видели больше других. Размывать могилу, как я слышал, их фактически заставили. Добровольцев не искали. А вполне понятное отсутствие энтузиазма компенсировали избытком даровой водки. Все равно, думаю, они тот кошмар запомнили надолго...

Так что поначалу я на главдиспетчера обиделся. Попытался задеть за живое, напомнил старую истину: народ, не желающий знать своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его в будущем.

- А я, сколько мне надо, знаю, - ответил Мартемьянов.

Тут я сплеховал. Его слова прились в такт какому-то своему собственному движению мысли, и я истолковал их неправильно: мол, он, Мартемьянов, знает, а другим незачем на своих плечах лишний груз нести. Как-то в первое мгновение и в голову не пришло, что человек может вполне довольствоваться тем, что ему говорят на политинформациях... И потому сказал невпопад:

- Вот и другие должны знать.

Он промолчал. На том мы и расстались.

Потом досада прошла, остыл. Вспомнил лицо Александра Александровича. Красивое, мужественное. Хорошее лицо. А как говорят французы, после сорока человек сам отвечает за свое лицо. Ему как раз лет сорок пять... Работа сейчас сидячая, хотя и хлопотная, а когда-то, наверное, плавал сам. Среди нашего всеобщего экономического хаоса и бессмыслицы как-то затерялась эталонная мера, кого по праву можно считать дельным и работающим, ошибиться очень уж легко, но все-таки сразу, с первых же минут разговора показалось, что в главдиспетчере побольше... внутренней дисциплины, что ли.

Когда тебя не понимает человек, которому, как ты убежден, цена ноль и которого ты, как тот самый ноль, видишь насквозь, его непонимание не больно трогает. Пройдешь мимо и не обернешься. А когда тебя не понимает человек, который тебе чем-то симпатичен, это уже задевает. Как же! И по здравому размышлению даже начинаешь подозревать, что с правотой твоей не все ладно.

К тому же знакомство с Сибирью способствует пробуждению комплекса вины. Вины более сытого перед тем, у кого ты забрал принадлежащий ему по справедливости кусок. Если в Москве заезжий швед изумляется российской невежливости, с какой ему в лицо зевают пустотой прилавки, то изумляется он прежде времени. Его б сюда, в Колпашево. И пусть он, гость дорогой, посмотрит на тот страшный, словно уже жеванный кусок говядины, которым здесь торгуют по цене пять рублей за килограмм. Да и говядины ли вообще?

Впрочем, что условия для сельского хозяйства в Сибири отнюдь не идеальны, известно давно, потому и ссылали сюда на уничтожение крестьян. Ну, а газ? Тот самый газ, которого пока с избытком и которым Западная Сибирь снабжает половину Европы (надо ведь добывать валюту, чтобы у западного фермера-кулака, не попавшего на наше счастье в спецпереселенцы, покупать зерно - извините за избитое напоминание, куда валюта идет).

Так вот, недалеко от сибирского города тянется магистральный газопровод к черту на кулички, а на отросток в несколько десятков километров труб не хватило. Но в Сибири таким вещам не удивляются, в Сибири привыкли. И топят печи дровами. Работают, в меру поругивая явную житейскую несурязицу.

И когда все это видишь, начинаешь думать, что у тебя самого столько долготерпения не нашлось, сорвался бы, нахамил бы начальству, выпутался бы из

постромок, дал бы деру куда-нибудь поближе к Крыму. Думаешь - и понимаешь, что косточка в тебе не та, что не смог бы тянуть много лет эту ляжку, что успел привыкнуть в Москве к сытости, комфорту, беспроблемности, о которых, может быть, и не подозревает еще более изнеженный швед, недовольный отсутствием в московских гостиницах - проблема номер один! иностранцы с редкостным постоянством жалуются на это - туалетной бумаги...

Так и осталась тяжесть от несостоявшегося разговора с главдиспетчером. Гоняет человек вверх и вниз по Оби баржи с грузами, и от его нежелания оглядываться назад, от ясности жизнеустройства всем прямая выгода. И мне в том числе.

Малюсенькая надежда, правда, на взаимопонимание осталась. Возможно, как раз в том суть, что человек при деле, при должности, и она, мерзавка, вздохнуть не дает. А позже, к вечности, говоря высоким слогом, поближе, а от планерок и парткомов подальше, уже на пенсии, и появится желание пооткровенничать?

Задним числом начинаю понимать, что в целом пожилые люди были со мной разговорчивее.

Другая встреча. Алексей Николаевич Мальцев. Я уже упоминал его имя, помните? В годы войны был первым секретарем горкома комсомола (на фронт не попал по инвалидности). Теперь - заместитель председателя опорного пункта № 1. Туда я и направился, зная, что к ликвидации захоронения косвенное отношение имели и дружинники.

Был почти уверен, что уж здесь-то получу от ворот поворот. А встретил полнейшее понимание и поддержку. Лишний раз убеждаешься, что демаркационные линии проходят не по должностным, партийным, классовым или расовым признакам, а по самой человеческой сути: люди, нелюди и все остальные, кто своего выбора не сделал, кто ни холоден, ни горяч, кого Господь

изверг из уст своих. Этих, последних, на свете хватало всегда, а сейчас их - сверх меры.

Господь из уст своих Алексея Николаевича, хотя тот, надо думать, атеист, не изверг - если судить по тому запасу равнодушия и способности болеть за других душой, которых в нем с избытком и на восьмом десятке лет... Итак, я сидел у него в опорном пункте. Время от времени приходили люди. Кто-то с просьбой, кто-то за помощью, кто-то по вызову. Тогда я отсаживался в угол и слушал. Публика была довольно пестрой. Мамаша, желающая найти управу на сына-гунеядца. Он сам собственной персоной - здоровенный битюг с натужной покорностью во взгляде. На редкость хорошенькая девица лет восемнадцати-девятнадцати, но не по возрасту прыткая, с полгода назад вернувшаяся из Алма-Аты, куда исхитрилась добраться автостопом, и успевшая по возвращении заразить триппером нескольких колпашевских парней.

Запомнился один леченный-перелеченный алкоголик. Сложение ребенка, лицо старика - желтоватое, выдубленное цифирем лицо. Оказалось, посетителю всего тридцать два года. Из них восемь лет провел в лечебно-трудовых заведениях.

Разговаривая с ним, Алексей Николаевич словам любезным предпочитал слова выразительные. А этот полустарик, - все-таки это был полустарик, - не сводил с него влюбленных глаз. Млел от счастья. Наверное, для нарколога он как пациент безнадежен. Но и безнадежным нужна надежда. Надолго его хватит? До завтрашнего утра? Ну, так завтра можно опять потолковать с Алексеем Николаевичем по душам. Глядишь, и еще на денек отодвинется запой...

Пожалуй, нетрудно понять, почему Мальцев не сделал головокружительной партийной карьеры. Хотя и был на виду, но не на самом верху. Чтобы идти вверх, не-

обходимы крепкие локти. А прочие сентименты без надобности, не в цене. Карьеру делают те, кто может подогнать к берегу буксир и вымыть в реку старые кости. Мальцев же с горячей убежденностью сказал:

- Обязательно напиши об этом! Люди должны это знать!

Так что и мне перепало от душевных щедрот неугомонной его натуры. Не говоря уже о том, что он мне многое рассказал.

У Александра Павловича Глазырина, бывшего сотрудника "Дзержинки", приятное благообразное лицо и бесшумная походка. Хороший психолог. Профессия обязывала? До встречи с ним я был уверен, что Александр Павлович работал в упомянутой организации бухгалтером.

- Я занимался разными вопросами, - уклончиво сказал он.

Позже в его словах промелькнуло: вместе с другими он работал над пересмотром дел незаконно репрессированных. Он даже сказал "невинно осужденных", но тут же добавил со значением:

- Вернее, тех, кого по нынешним меркам виновными не смогли бы признать.

Довольно подробно рассказал, что собой представлял "централ" НКВД, но в подробности того, что происходило за его воротами, не углублялся. Мол, каждый работал в своем отделе, а интересоваться, что происходило у коллег, было не принято. Умело выдерживая где нужно паузы, доводя городские пересуды о могиле на яру до абсурда и играя при этом уже на интонациях, Александр Павлович целенаправленно убеждал, что дело выеденного яйца не стоит.

- Вон шум подняли, что там тысячи расстрелянных были! - С иронией говорил он. - Ничего подобного. Дезертиры. Маленькая яма. Такие есть на территории каж-

дой тюрьмы. А тогда репрессии были нужны. Без репрессий мы, пожалуй, не выстояли бы. Еще слухи ходили, что в реке ребенка с простреленным затылком видели... - он снова усмехнулся. - Что там за пятьдесят лет могло остаться? Одни кости.

Я не стал говорить, что знаю про мумифицированные трупы. И не стал уточнять, случайная ли это оговорка: пятьдесят лет. Если пятьдесят лет, то причем тут дезертиры? Что-то похожее на оговорку прозвучало и тогда, когда речь зашла о Волкове.

- Волков не расстреливал. Это я точно знаю, - говорил он с заметной досадой на городские слухи.

- Почему вы так в этом уверены?

- Я об этом слышал еще в 1949 году, когда пришел на работу.

- Значит, уже тогда шли разговоры на эту тему?

- Да. И позже - когда пересматривали дела в связи с реабилитацией. А Волкова напрасно оговорили...

Спрашивается, чего ради толковать о расстрелянных дезертирах и исполнителях смертных приговоров, когда речь идет о реабилитации без вины погибших? Да, еще одна деталь. Когда он сам же упомянул о слухах, будто в Оби видели детский труп, я сказал:

- Мне тоже доводилось слышать нечто подобное. А вы исключаете возможность того, что в ежовщину могли расстреливать и детей?

Александр Павлович молча и несколько картинно развел руками.

С большой симпатией он рассказал про милиционера Лебедева. Тот лет двадцать назад застрелился, и его иной раз вспоминают в Колпашеве как человека, имевшего отношение к могиле и именно по этой причине наложившего на себя руки. Он же к соответствующему ведомству не имел никакого отношения. Так вот, Глазырин очень живо, тепло, с большой симпатией обрисовал Лебедева, такого совестливого правдолюбца, и



уложился рассказ буквально в две-три фразы. Мне это почему-то хорошо запомнилось. Вот и сам Александр Павлович исключительно симпатичный человек. Поговорить бы с ним о чем-нибудь более легком - можно бездну удовольствия получить...

Чтобы уйти от "трудных" вопросов, для разрядки, спросил:

- А были у НКВД, ну, выдающиеся операции, что ли? Борьба с бандитизмом или что-нибудь в этом духе....

Глазырин растерялся.

- Мм... При мне - не было.

- А раньше?

- Нет, не слышал...

Я тоже растерялся. Как-то не думал, что этот доходящий до газетной невинности вопрос и окажется самым сложным. И неумным.

В разговоре с Глазыриным я упомянул фамилию Терентьева, бывшего следователя НКВД.

- Кто вам о нем говорил? - встревожился Александр Павлович.

Ему явно не понравилось, что я могу отправиться в гости и к нему. Терентьев Александр Иннокентьевич, ул. Пойменная, дом 18.

Знаю о нем мало. Высокий, сильный. Любил выпить, а выпив - покуражиться. Бывало, спьяну стрелял из нагана в потолок. Прозвище - Таракан. Как и одно из прозвищ того, всесильного. Надо же! Совпадениям нет числа, в этой обской воде вся страна отразилась, порой оторопь берет... Что еще? Замкнут, зол на несправедливости судьбы. С квартирой его обошли, из органов уволили, а на работу не устроили. Иногда браконьерит, из-за чего недавно опять были сложности с милицией. Так ведь в Сибири не браконьерит разве что ленивый...

Бьюсь об заклад: с Терентьевым связано что-то важное.

Еще один колпашевец. По причинам, которые станут понятны позже, придется обойтись без имени и фамилии.

Столкнулся с ним в первый же день, когда мне показали то место, где вырван и сброшен в Обь кусок берега. Вблизи стояли трое. В руках у них были лопаты, за какой-то надобностью они нарезали дерн. Я поздоровался, назваля приезжим и напрямик, без мелкой дипломатии спросил, что они знают про могилу.

Отвечал один - тот, о котором и идет речь. Это был немолодой низенький человек. Он носил нелепые очки с двойными стеклами какой-то фантастической силы. Резкие складки вокруг некрасивого рта словно бы раздвинули и приоткрыли его, было видно, что в верхнем ряду не хватает нескольких передних зубов - от клыка до клыка. Да, запомнился еще прыгающий кадык ка худой шее.

- Знать-то я знаю, да рассказывать не буду. КГБ живо язык укоротит, - мрачно и совершенно серьезно пояснил он.

Казалось, что этот маленький человек по-прежнему живет в том времени, когда с трибуны мавзолея принимал парады похожий на мафиози член политбюро Лаврентий Берия...

А госбезопасностью меня не надо пугать. Я ее и сам боюсь - как и всякий добропорядочный советский обыватель. Но людям вообще свойственно не замечать криминала в своих действиях, и надеюсь, скромная моя персона не заинтересует организацию на три буквы.

Короче, разговора не получилось. Маленький человек в очках со сверхдиоптриями вспомнил, правда,

Александра Волкова - зло, с отвращением. Сказал, что фотографию с надгробия срывают люди.

- В Колпашеве мало кто остался из тех, бывших. Когда их в пятидесятых разогнали - как крысы побежали. Словно пятки салом намазали...

На том мы и расстались.

За неделю я вполне в городе освоился, появились знакомые. Заговаривать на улице со случайными прохожими уже не было нужды. Поначалу, впрочем, идти без приглашения к незнакомым людям было неприятно. Приходилось себя пересиливать, но и это оказалось временной сложностью. Колпашево - не Москва. Люди не так устали друг от друга, куда радушнее.

И вот иду по очередному адресу. Небольшой частный домик, в каких живет еще половина Колпашева. За годя, с июля собираемая поленница дров. Выходит хозяин. Вот так встреча! Тот самый маленький человек с берега. Узнал меня и он. Помедлив, без особого энтузиазма, тоскливо как-то кивнул на дверь:

- Заходите...

Сибирь в таких случаях марку гостеприимства держит.

На этот раз я разглядел его гораздо лучше. Как видно, в городе плохо не только со стоматологами, но и с окулистами. Очки были подобраны отвратительно. Принаравливаясь к ним, он запрокидывал голову и именно поэтому казался еще меньше ростом и постоянно на виду оказывался беззащитный, дергающийся кадычок.

Худо-бедно мы разговорились. Увы, практически ничего нового я не узнал. Так и не смог он себя перебороть, только доходили до фактов и... стоп, дальше всё, баста. Вот только стоит упомянуть об одной небезынтересной подробности. Оказывается, года за два, за три до вскрытия могилы на этом месте начали делать что-то вроде спуска к воде - то ли затем,

чтобы устроить тут гравийный склад, то ли здесь было удобнее вытащить на берег доставленные баржей секции телевизионной вышки-ретранслятора. Но очень скоро работы неожиданно были прекращены, а бульдозер перегнали на другой объект. Зато в течение некоторого времени на яру работали буровые станки из здешнего геофизтреста (с помощью таких бурстанков в сейсмопартиях закладывают взрывные заряды). Не исключено, что искали могилу. Тогда почему-то это бросили? - непонятно. Может быть, началась какая-нибудь номенклатурная чехарда, и начальству стало не до того? Ведь летом 1978 г. первым секретарем колпашевского горкома партии стал новый человек.

Все остальное, что я услышал от хозяина дома, мне было уже известно. Но меня не покидало чувство, что он не договаривает. Каждое слово давалось ему с трудом. Он боялся. Боялся меня. Боялся городского начальства. Боялся собственного языка, который мог сказать лишнее. Похоже, боялся даже собственной памяти.

Я не выдержал и сказал что-то по поводу его гипертрофированных, атавистических страхов. Он вспыхнул - и его прорвало.

Когда-то и ему довелось побывать "на Дзержинке". История довольно заурядная. В то время, - дело было сразу после войны, - он работал мотористом (если мне не изменяет память, - у тех же речников). Произошла какая-то поломка, стали, ясное дело, выискивать злоумышленника и вредителя. Вот и мотористу пришлось побывать в том самом здании. Допрашивал его некий чин, здоровенный детина. Бить, правда, не бил, но табуреткой замахнуться посчитал полезным. От страха бедолага моторист забился под стол, чем немало развеселил следователя... А что, может, тот и в самом деле пошутил? Если так, то бывший моторист до сих пор шутки той не понял, хотя времени - сорок лет

- было предостаточно. До сих пор уверен, что тем только и спасся, что позабавил гражданина начальника.

Вроде бы беседа пошла легче.

- Извините, а как вас по отчеству? -спросил я.

Маленький человек в очках вздрогнул.

- А зачем вам знать? - спросил он с прежней отчужденностью.

- Гм... Я моложе вас. Мне неловко обращаться к вам по имени.

- Не скажу. Не надо мне это. Не надо... - его голос, став на полтона выше, зазвучал взвинченно.

Ладно, раз такая история, обойдемся не только без отчества, но и без имени и фамилии. Уважим чужие страхи. Оставим за человеком хотя бы право на самоуничтожение, раз уж он не знает за собой иных прав. Что мне о нем известно? Обыкновенный маленький человек. Обидчивый, мнительный, слабый. Для него смертная мука отремонтировать дом, выпросить бросовый горбыль на дрова. Но не надо быть тонким психологом с табуреткой в руках, чтобы сразу понять: этот маленький человек совершенно безобиден и абсолютно добросовестен. О том вышедшем из строя дизеле он рассказывал с редкой дотошностью, словно в очередной раз перебирал все его винтики.

И это же надо в такую подворотню загнать человеческую душу!

Напоследок еще одна зарисовка с натуры, совсем невеселая.

Представьте себе: мужчина лет тридцати, а значит с учетом общего крена в инфантилизм, его можно назвать молодым. Среднего роста, заурядная внешность... М-да. Занятно: лица не могу припомнить. Говорю искренне, без расчета на дешевый эффект. Какая-то очень

нейтральная внешность. В памяти остались разве что руки: грубоватые руки рабочего человека, с окурочной желтизной между пальцами. Он и тогда курил, сидя на низенькой лавочке. Сидел, закинув ногу на ногу, а руки с дымящейся сигаретой держал на коленях, на виду. Вот они и запомнились.

Имени не могу назвать при всем своем желании. Не знаю. И не интересовался. Случайный человек. Вечер был славный, теплый. Вместе с товарищами он вышел из пожарной части посидеть на воздухе. И мне не сиделось в местной гостинице "Заря", она рядом. Время было позднее, но в конце июня в Колпашеве самые настоящие белые ночи, на улице вполне можно читать газеты. Помню, в руках одного из пожарных была книга. Когда я подошел, они травили анекдоты.

Меня интересовал Бурков, начальник городской пожарной службы. Тот будто бы со своими офицерами тоже принимал участие в ликвидации захоронения. Ничего по этому поводу узнать не смог, зато наварвался на встречный вопрос:

- Материал собираешь?

Задал его тот самый молодой человек - с насмешкой и вялым любопытством. Я смутился. Роль собирателя городских сплетен - не самая приятная. Но до обобществления информации мы не доросли, архивы не про нашу честь. Вот и приходится побираться по улице.

- Сто лет те мертвяки не нужны, - добавил он неприязненно.

Эту фразу - если ее выгresti из заносов мата - он повторил на протяжении разговора раз десять. Право, меня просто поразили агрессивность, озлобленность, едва ли не обида, что его тихий быт кто-то тогда потревожил. Если бы это было обыкновенное равнодушие, то куда ни шло. Мало ли их, "кто ни холоден, ни горяч"...

Эх! Откуда только порода эта архаровская, говоря словами Распутина, взялась? И это есть человеческий продукт социализма? Полюбовался бы Владимир Ильич, кого его наследники выпестовали.

Всем недоволен. Но менять бы ничего не стал. Только открыл бы с десятков винных магазинов. А то в Колпашеве сейчас лишь один, 18-й, торгует спиртным (там же, на Дзержинского). В соседнем Тогуре вообще нет. Злорадствовал, что в Белом Яре на июньские выборы голосовать пришли только 25% избирателей - остальные якобы их игнорировали, выражая тем самым протест против антиалкогольной кампании (Белый Яр - это город лесорубов западнее Колпашева).

Но это, конечно, мелочи. В целом он лоялен. На-лейте ему, ответственные товарищи, стакан - и он мигом проявит гражданскую сознательность, побежит голосовать за вас. Или за Маргарет Тэтчер, - как изволите. Только не надорветесь ли штурмовать с такой гвардией светлое поднебесье? Кому наплевать на прошлое, наплевать и на будущее. Или вы уже раздумали его штурмовать? Вам и так неплохо?

И как заодно не вспомнить того недочеловека, нашего с вами соотечественника, который выловил в Оби труп и прислонил его стоймя к дереву недалеко от бивачного места, где иногда останавливаются рыбаки. Чтоб попугать, значит. Шутка такая, понимаете? Еще меня поразило, что мальчишки вываривали головы мумий в ведрах - чтобы отстала кожа. Что поделать, во все времена у родителей были те дети, которых они заслуживали.

Тотальное насилие, уничтожая одних, одновременно уродует души остальных. Это всегда преступление против всех, против каждого. Та часть человека, суть которой его человеческое достоинство, истлевает и заполняется страхом, и нравственная эта каверна передается по наследству. Вот и возможный ответ на шукшинское: что с нами происходит? Вернее - произошло.

А люди, лишённые чувства человеческого достоинства, превращаются в аморфную пластилиновую массу, из которой можно лепить всё что угодно, даже то, что противоречит здравому смыслу и совести. Но ничего - прочного и долговечного.

Первая, наиболее зримая примета болезни - девальвация в общественном мнении человеческой жизни как таковой.

Пару лет назад советские газеты дружно возмущались, что большинство французов, как показал один из опросов, не знает о потерях Советского Союза во второй мировой войне. Помилуйте, а мы-то сами можем ответить на подобный же вопрос из собственной истории: скольких жертв стоила народу гражданская война?

Цифра, которую назвал в "Литературной газете" от 30. 09. 87 член-корреспондент АН СССР Ю. Поляков, должна была поразить всех, кому удалось ее заметить в конце пространного и в целом куда менее информативного текста. Должна была поразить и сама по себе, и как свидетельство нашего всеобщего, насажденного свыше невежества.

Даже Советская историческая энциклопедия в 16 тт. утверждает: потери Красной армии на фронтах соста-



вили 1.000.111 человек, общие потери населения - 8.000.000. Такое отступление от истины одной лишь нехваткой статистических данных объяснить невозможно. Только лишь преднамеренной ложью. По оценкам Ю. Полякова, население России за период с 1918 по 1923 г. сократилось на 13.000.000 человек - вместо того, чтобы увеличиться на 25.000.000. Эмиграцию после революции оценивают в 3.000.000 человек. Еще надо учесть, что не были рождены дети теми, кто умер или уехал. Все равно людские потери составят цифру того же порядка, что и цифра, за незнание которой советские газеты так обиделись на французов.

Какие мы широкие люди! Миллион туда, миллион сюда... Политическая подоплека подобной душевной широты (точнее - растяжимости) понятна и несмысленна. Первая мировая война закончилась Версальским договором летом 1919 г. (а военные действия прекратились и того раньше). А в России еще годы лилась кровь и свирепствовал мор. Обещание мира в соответствии с известным декретом и реальный ход истории разительным образом не совпали.

В "Государстве и революции" Ленин обещал: "подавление меньшинства эксплуататоров большинством вчерашних наемных рабов дело настолько, сравнительно, легкое, простое и естественное, чем подавление восстаний рабов, крепостных, наемных рабочих, что оно обойдется человечеству гораздо дешевле" (ПСС, т. 33, с. 90). Но "дешевле" не обошлось. Не чураясь арифметических выкладок при решении вопросов социальной справедливости, Ленин даже рисковал называть "стоимость" всемирной революции - полмиллиона, миллион человек (ПСС, т. 37, с. 60). А вышло так, что только для России гражданская война обернулась трагедией, соизмеримой с нашествием Гитлера уже в количественном отношении, а в нравственном - во сто

крат еще более страшной: брат убивал брата, сын отрекался от отца.

И тем не менее официальная история, словно в гроб, вгоняла реальность в ленинский канон. Историческая ложь стала государственной политикой. Но разве была бы она возможна, если бы не наша редкостная душевная податливость?

Англия поименно назвала погибших в Фолклендском конфликте. Америке хватило мужества и совести поименно перечислить шестьдесят тысяч убитых и пропавших без вести во Вьетнаме. А уж казалось бы - чем тут гордиться... Лишь недавно случайно узнал - воистину все эти годы мы жили в вылепленном из газетных словес мире! - что подобный же монумент в память погибших во время второй мировой войны немцев воздвигла Западная Германия. Памятник-покаяние трагедии, в которую была ввергнута нация фашизмом. Что ж, мужеству следует учиться и у врагов, тем более - у врагов вчерашних.

Но в нашем самом передовом на свете мировоззрении не в большом почете такие категории, как уважение к врагу и милосердие, терпимость и прощение, грех и раскаяние. Слова эти даже царапают слух своей архаичностью. Прискорбно. Нет пророков в своем отечестве? И авторитет Толстого - только для школьных уроков литературы? "Нет раскаяния - потому что нет движения вперед, или нет движения вперед, потому что нет раскаяния. Раскаяние это как пролом яйца или зерна, вследствие которого зародыш и начинает расти и подвергается воздействию воздуха и света, или это последствие роста, от которого пробивается яйцо... важное и самое существенное деление людей: люди с раскаянием и люди без него".

Тридцать лет назад принять покаяние народ не пожелал. Более возненавидел Хрущева за сумасбродство

и экономические неудачи (зачастую спланированные за его спиной соратниками по партии, готовившими смещение чересчур ретивого и излишне совестливого генсека). Движение прекратилось, духовный столбняк был неизбежен...

Об уважении к врагу и говорить нечего. Скажи кто-нибудь, что афганцу должно быть среди мятежников, что национальная гордость велит гнать в три шеи чужака, который заявился в его дом с оружием, - и люберецкие патриоты тут же устроят такому умнику политсеминар в подворотне. Куда уж тут понять душу другого народа. Вот если бы объявился некий аятолла, вознамерившийся силой оружия устроить в России мусульманский рай - с пятикратным намазом, гаремами, избиением шлях камнями, запретом передавать музыку по радио (Хомейни так и сделал, заявив, что "музыка - это опиум для народа"), - тогда другое дело. Тут патриоту все ясно и понятно, все по уставу. Рвать такого аятоллу на части, побить его камнями есть священный долг и обязанность.

Лучшие из людей способны думать своей головой и чувствовать за другого человека, худшие - чувствуют только за себя и живут чужими мыслями. Еще одна полезная мысль Толстого.

Считаться с человеческим достоинством способен лишь тот, кто сам им наделен - можно взглянуть на проблему и с этой стороны.

Каждый невинно загубленный и с безразличием забытый - свидетельство нравственного одичания народа, и страшно, если счет им идет на миллионы. Уже поэтому полезно знать, какими мы выйдем в глазах тех, кого прочим в соседи по общему европейскому дому.

Исключительно велик вклад в формирования общественного мнения книги историка Роберта Конквеста "Большой террор". По Конквесту, в 1937 г. в советских концлагерях сидело 12.000.000 человек. Из них было

расстреляно около 1.000.000, еще 2.000.000 умерло от эпидемий, голода, обморожения и т. п. Число погибших во время коллективизации Конквест оценивает в 15-16 миллионов человек.

Полезно также знать, что на Западе имеет хождение рапорт ОГПУ, якобы попавший в руки фашистов при захвате Смоленска. Там называется цифра умерших от вызванного коллективизацией голода - 3.500.000 человек. Если этот документ не является фальшивкой, в него могли попасть данные о смертности от голода в центральных районах страны. Но вряд ли в эту цифру включались те, кто без следа сгинул в ссылке. А что творилось среди спецпереселенцев Нарымского края, я уже упоминал. По числу погибших - два тихих, неизвестных миру бухенвальда, где людей убивали не выстрелами, а голодом и холодом.

Существуют оценки западных демографов. Они основаны на разных допущениях и различаются очень сильно. Обобщая их, профессор Максудов из Гарварда называет следующий диапазон цифр, полученных разными авторами. Минимальная цифра потерь населения сверх естественной смертности за период между переписями населения 1927 и 1939 гг. - 2.700.000 человек. Максимальная - 20.500.000. Но большинство демографов обычно называют цифру порядка 10.000.000. Сам Максудов оценивает потери населения в период коллективизации приблизительно в 8.500.000 человек. Причем связывает насильственную гибель людей прежде всего с коллективизацией.

Как бы эти цифры ни соотносились с действительными, они с абсолютной точностью - по природе своей - соответствуют тому, что о нас думают многоуважаемые соседи по ту сторону границы. Почему у них могло укорениться безразличие к принесенным нашей страной жертвам? Народ, занимающийся самоуничтожением, поначалу вызывает ужас. Но всякий стресс

закономерно сменяется апатией и равнодушием, тут ничего не поделаешь.

О голоде на Украине я узнал не из курса Истории КПСС, а от матери. Она родилась в селе под Сумами. В соседних районах люди вымирали целыми деревнями. Семье деда чудом удалось выбраться на Урал. Москва же, в которой они были проездом, мою мать, тогда девятилетнюю девочку, потрясла до глубины души запахом белого хлеба - где-то недалеко от вокзала попалась булочная. И именно такой запомнилась на всю жизнь. На Украине - череда смертей, сосущая изнутри мечта о кружке хлеба. Тут - этот сытый запах. Даже сейчас, став москвичкой, мать вспоминает его. И подобно многим людям ее поколения и схожей судьбы, никогда не оставляет в тарелке недоеденного куска.

Для кого Москва белокаменная, для кого - белохлебная...

И странно было однажды обнаружить среди старых бумаг справку, выданную старшему лейтенанту запаса органов НКВД Запечкой Татьяне Харитоновне, то есть моей маме, в том, что она... Впрочем, это уже не существенно. Смешалось в одной жизни: и голод коллективизации, и работа в течение полутора лет вольнонаемным врачом в ИТК № 5 г. Омска - звание было присвоено задним числом.

Все это безрадостный груз общего прошлого. А будущее?

Решающее слово за экономикой, в конце концов она все подомнет под себя. Сложившаяся на сегодня ситуация не способствует возрождению искалеченного человеческого "я". Более того, реально существующая система - это система экономического унижения человека, автоматически переводящая многие острые социальные болезни в разряд хронических.

Дефицитная и отсталая экономика, взявшая уравниловку за принцип, не только унижает человека очередями и отсутствием необходимого, она с редким цинизмом оставляет в непомерном выигрыше того, кто, мягко говоря, в выборе средств неразборчив. Честному человеку всегда и повсюду жилось труднее, это почти норма, но ведь всему есть мера!

Как-то довелось услышать от друзей-геофизиков об одном унижительном случае. Пригласили двоих коллег-иностранцев, приехавших к нам по делам фирмы, в гости. Сидят за столом, беседуют. Спрашивают иностранцев: "Что на вас в Москве произвело самое сильное впечатление?" Переглянувшись, те отвечают с восторгом: "О, у вас такие дешевые женщины!" Это о проститутках. Знали бы они, что эти девки, обменяв доллары на рубли, исхитряются получить за вечер "вежливой obsługi" зарубежья 5-6 месячных окладов врача.

Шведский порножурнал поместил на обложке фотографию "жертвы общественного темперамента", демонстрирующую свой профессионализм на фоне Кремля (фотографировали в одном из номеров гостиницы "Россия"). Надпись: "За столько-то крон русачки готовы на все!" Что, будем ждать наплыва туристов и валютных поступлений в казну?

А теперь сами рассудите здраво: стоит ли рассчитывать на светлое будущее обществу, поставившему в экономически привилегированное положение уличную шлюху? Или его ожидает что-то другое?

Как-то Лесков заметил, что русский человек, может быть, тем только и хорош, что слишком мало себя ценит. Мимоходом оброненная эта мысль многое дает понять: и в способности к самопожертвованию, и в былой тяге к общинному укладу жизни, и в той природной социальности, которую Достоевский называл всечеловечностью.

Если качество это дает силы выстоять в страшной войне с фашистской Германией, - тут есть чем гордиться. Но есть над чем и призадуматься. В сущности, горестен удел народа, который, как в зеркале, может увидеть подлинное свое лицо лишь в подобных трагедиях... Да и способность к мировому состраданию может обернуться желанием на свой лад осчастливить весь остальной мир - пусть себе в убыток, пусть силой - но осчастливить.

И еще: много ли даст тот самый российский всечеловек за людское счастье или отдельную человеческую жизнь, если речь идет не о всем человечестве оптом, а об отдельной личности? Не получится ли так, что готовность пожертвовать за идею животом своим выродится в готовность не пожалеть и чужого?

С русским человеком революцию сделать было легко. Но есть цели революций, и есть итоги революций. Дистанция между ними может быть огромна. Целью социалистической революции в России была ликвидация эксплуатации человека человеком. Итогом явилось другое зло: принуждение человека государством, часто - жестокое.

Вспоминается анекдотически-грустный рассказ Большакова. Некий двадцатитысячник, посланный Кировым к нарымчанам, агитировал сеять лен. Крестьяне отказывались, затея была бессмысленна. Тогда ленинградец дискуссии прекратил: "Или лен, или сибутлон". Сибутлон - это для рифмы. А имелся в виду Сиблаг, Сибутлаг или что-то вроде того. Но разъяснения нужны нам с вами, крестьяне поняли с полуслова... Стали выращивать лен, в деревне Могильный Мыс существовал льнозавод, принадлежавший ОГПУ, да где все это?

Неудавшаяся попытка создать экономику неэкономическими методами явилась своего рода шаманством, когда с помощью заклинаний и жертвоприношений растят урожай или вызывают дождь. Язык, приходя на

помощь разуму, выдавал внутреннюю абсурдность за-теи: "экономика" и "неэкономические методы".

Единственно достойной целью общественных преобразований является изгнание из жизни общества безнравственных и преступных средств как способа самореализации членов общества. В такой постановке вопроса абсурдность нечаевского принципа "цель оправдывает средства" очевидна, - а принцип этот, надо признать, стал важнейшим для высшего партийного руководства, наполнившись к тому же конкретным и бесчеловечным содержанием: цель оправдывает жертвы. "Люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках, жестоко ошибаются", - заявил однажды Сталин, выдавая индульгенцию исполнителям своей преступной воли.

И как это ни грустно, от российского всечеловека, в слепоте и чрезмерной простоте своей поверившего вождю, оказалось не так далеко до германского сверхчеловека. В намерениях они были на разных полюсах. Но суть человека - его поступки, а поступки - те самые средства, которыми он пользуется. Кровь - непомерно высокая плата за прогресс, ведь заскорузлая человеческая кровь в конце концов принимает коричневый оттенок. Это закон природы...

Любая идея общественного развития может подвергнуться непредсказуемым мутациям, если между ней и человеческой личностью нарушается своего рода паритет. Если в угоду интересам общественного развития поступаются интересами личности, то получаемые при этом выгоды носят ложный характер. Последнее слово всегда принадлежит человеку, а не идее. Ведь именно он является ее носителем, ее толкователем, он обеспечивает ее воспроизведение, он является двигателем общественного механизма. Если идея общественного развития не выражена в категориях нравственно-



сти и личной заинтересованности, она рано или поздно утратит ясность, смысл и силу.

Явившись в Россию, марксизм был идеей свободы - первый марксистский кружок, как известно, назывался "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" - и целью своей ставил освобождение трудящихся от эксплуатации, от рабства экономического. Идея свободы - это как раз то, что близко и понятно каждому индивиду. Но не прошло и десяти лет после революции, и новый класс власть имущих стал ощущать в ней некий не то анархистский, не то буржуазный душок, - так как идея свободы уже противоречила монолиту государственности, которую они олицетворяли собой. Теперь им более по нраву была другая идея: жертвенности. Вчерашний революционер превратился в бюрократа. Вчера он был готов жертвовать собой, теперь он требовал жертв от других. На благо государства, которое, по Марксу, является собственностью бюрократа.

В итоге вытребовано было в жертву человеческое достоинство.

"У миллионов демоса (кроме слишком немногих исключений) на первом месте, во главе всех желаний стоит грабеж собственников. Но нельзя винить нищих: олигархи сами держали их во тьме и до такой степени, что, кроме самых ничтожных исключений, все эти миллионы несчастных и слепых людей, без сомнения, в самом деле и наивнейшим образом думают, что именно через этот-то грабеж они и разбогатеют и что в tomto и состоит вся социальная идея, о которой им толкуют их вожаки... Тем не менее они победят несомненно, и, если богатые не уступят вовремя, выйдут страшные дела. Но никто не уступит вовремя, - может быть, и оттого, что уже прошло время уступок. Да нищие и не захотят их сами, не пойдут ни на какое теперь соглашение, даже если б им всё отдавали: они

всё будут думать, что их обманывают и обсчитывают. Они хотят расправиться сами”.

Эти мрачные пророчества грядущих социальных потрясений высказаны Достоевским в мартовском выпуске "Дневника писателя" за 1876 год, вскоре после Парижской коммуны. Искусство пророка не так уж сложно, надо лишь уметь вглядываться в прошлое?.. И тот же Достоевский устами одного из своих героев назвал социализм "мыслью великой". "Мысль великая" и "страшные дела". История поставила их рядом. Почему? Об этом скорбеть не одному поколению.

Российское крепостническое наследие? Не только. Незрелое личностное самосознание и вытекающее отсюда пренебрежение к святости человеческой жизни, допущение насилия для разрешения конфликтов - лишь питательная среда, благоприятные внешние условия для робеспьеров. Сама идея социального переустройства в своем генетическом коде должна была иметь какую-то особенность, даже изъян, чтобы претворение ее в жизнь допускало возможность аномальных мутаций.

Печально, но идея социальной справедливости была истолкована как идея мести, как идея торжества вчерашних рабов над прежними хозяевами жизни, как "грабеж собственников", хотя это было не единственным возможным ее толкованием. Вот, говоря языком математики, точка бифуркации, точка ветвления.

На Западе часто отождествляют социализм и национал-социализм, объявляя их различными формами одного явления - тоталитаризма. Легко им, посторонним, судить. А нам с идеей социализма еще жить да жить... Идеальный водораздел в исходных посылах. Освобождение человека от экономического порабощения, противодействие агрессии частной собственности не означает физического уничтожения класса имущих и может вестись в рамках демократии - законодательно, налогами. Нацизм же ставил своей целью построение

"идеального" общества как общества "идеальной" породы людей, единственным средством достижения этой цели мог быть только геноцид.

Вот, пожалуй, и ясный критерий, в какой момент идея социальной справедливости способна подвергнуться мутации, покоричневеть. Революция, которая не умеет себя защитить, ничего не стоит. Но и победившей революции, не способной быть милосердной, - грош цена.

Проекты идеального общественного устройства, опирающиеся исключительно на гипотетические достоинства людей, заражены пошлым и опасным идеализмом. Как ни странно, многие виды философского идеализма в плане сугубо практическом как раз вполне безвредны, так как не требуют от реального человека ничего сверх меры. В то же время доктрина, взявшая на себя труд создать идеальное общество как общество идеальных людей, такой безобидной уже не является. Ибо требует от человека непомерно много - совершенства.

При этом планка человеческих достоинств поднимается столь высоко, что человеку, еще не успевшему гармонически развиваться по книжным указаниям классиков, остается лишь украдкой лезть низом, под ней. Или идти в обход. Дело доходит до фарса. Испытуемый делает вид, что он не нарушает установлений. Судьи делают вид, что правила не нарушены. Любопытный случай лжи, когда лгут все, нет обманутых и нет уличенных во лжи. Ложь проявляет себя как универсальный принцип человеческого существования.

Человеческие пороки были, есть и будут. И самая совершенная утопия рискует затрещать по швам, когда придет время практически решать вопрос, что делать с несовершенными человеческими особями и удастся ли на этот раз обойтись без газовых камер и голодного

мора. Тоже, надо сказать, неплохой текст для уяснения, чего стоит та или иная социальная теория...

...а в полном виде слова Достоевского звучали так: социализм - мысль великая, да исповедующие не всегда великаны.

Под всеобщие аплодисменты, ласково улыбаясь, Сталин обнимает своего любимца Александра Косарева и в то же время тихо шепчет: "Предашь - убью". Тот бледнеет. И действительно, жить Косареву осталось совсем немного. Мало заметный эпизод среди всеобщего душегубства. Ну, а если на миг задуматься над смыслом этой сцены? Ведь страшна она не только иезуитством Сталина, но и тем, что совершенно естественна для обоих - и для палача, и для жертвы. В какие еще времена такое возможно? Будто средневековые вновь на монаршем дворе, будто не было и в помине предыдущего золотого века русской культуры... Если сдвиг общественного самосознания лет на двести назад называют прогрессом, то что же тогда называть издевательством над здравым смыслом?

Слишком для многих сцена эта естественна. Какой, мол, спрос с чингисханов и петров великих?

Как и с остальных! Попытка выпестовать демократию в обществе, духовной жизни которого более близка эпоха феодализма, подобна все той же попытке вырастить баобаб в горшке для резеды.

Мы связаны со сталинщиной пуповиной, которая истончилась, оборвалась и отпала, но духовные гены его вошли в плоть и кровь живущих ныне. Страх, правда, ушел куда-то вглубь, сама болезнь приняла вялотекущий характер, да и происхождение ее в силу невыраженности симптомов стало неочевидно. И не страх вроде бы, а так, жизненная установка: выше лба уши не растут. Совсем как в салтыковской "Вяленной вобле", замечательной проницательности, надо сказать, был автор. Далеко глядел, лет на сто вперед...

Я не без умысла то и дело вспоминаю классиков. Жаль, что русские революционеры, потев над Карлом Марксом, не потрудились понять своих великих соотечественников - хотя бы для того, чтобы лучше уяснить, с каким народом они собираются делать революцию. Уж лучше о ежовых рукавицах вычитать у Салтыкова-Щедрина, чем видеть их на известных плакатах того времени. Уж лучше бесноватым бесноваться на страницах романа, чем в огромном государстве. Вот ведь незадача! Архискверный Достоевский, как его назвал Ленин, обидевшись за *тот* роман, оказался архипроницательным.

Если человека унизили страхом, надругались над его правом быть человеком, - об этом следует по крайней мере помнить. Утрата человеческого достоинства состоит из двух стадий. Сначала человек принимает унижение как неизбежность, потом - вообще забывает, что его унизили. То есть воспринимает унижение как нечто должное.

Именно с такой меркой надо относиться к тому, что предавались забвению преступления сталинизма - как к уничтожению чувства национального достоинства целого народа. Если бы о преступлениях Сталина не заговорили как о преступлениях, это слово надо было бы выбросить за ненадобностью из русского языка. Но почему вопрос о них решался не на всенародном суде, а на партийном съезде? Многие достойные люди говорят о невозможности такого суда. А почему, собственно? Демьянюков и Линнасов судить можно, а сталинских палачей нельзя? В чем логика? Уничтожение чужого народа - преступление, а своего собственного - политический перегиб, теоретическая ошибка? Изнасилование случайной прохожей - преступление, а собственной матери или сестры - нет? Не о мести речь, а об исполнении законов. О равном отношении к преступникам, какой бы партбилет они ни носили в кар-

мане. Международную конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, принятую в ноябре 1968 г. на 23-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подписала и наша страна. Если то, что творилось под вывеской коллективизации, - не геноцид, то что такое геноцид\*? Сомневаюсь в праве быть великодушным не за счет себя, а за счет тех, кого сгноило в нарымских болотах урвавшее власть зверье. К тем, кто насильствовал и убивал собственный народ, испытываю исключительную гадливость, и уже поэтому суда над ними жаждать не могу. Но и прощать их нас никто не уполномочил. Как быть, - не знаю.

Мемориал жертвам репрессий будет - теперь это очевидно. И место хорошее для него найдется. Например, там, где находится столичный бассейн "Москва". А заодно восстановить бы храм Христа Спасителя, который был построен когда-то, напомним, в честь избавления России от другого антихриста - Наполеона. Так что соседство - или даже объединение - обоих памятников было бы уместно. Здесь можно было бы создать целый мемориальный центр - с общественной библиотекой, архивами, лекционными залами.

Пока на том месте растекается, как выразился один из нынешних литераторов, хлорированная лужа. А где-то выше по течению, на Фрунзенской набережной, 52,

---

\* Отечественные энциклопедии проявляют некоторую политическую стыдливость, называя геноцидом массовое убийство людей по расовым, национальным и религиозным признакам. А по идеологическим, сословным, классовым, - как в Кампучии, например? Ведь преступления Пол-Пота, злодеяния которого по числу невинно замученных уступают сталинским по меньшей мере на порядок, признаны геноцидом официально (и "Юридическим энциклопедическим словарем", о котором в данном случае идет речь. См. 2-е изд. М., 1987, с. 76).

спокойно доживает свой век человекоподобная мерзость по фамилии Каганович, один из организаторов террора, у которого руки по локоть в крови. Тот, кто и отдал приказ взорвать храм, чтобы на его месте построить здание до небес. Его следовало судить вместе с Риббентропом и Кальтенбруннером. Он же, регулярно получая 120 р. пенсии за тяжкие труды свои, тихо хиреет в ожидании того часа, когда катафалк отвезет его на одно из престижных московских кладбищ. И мы дышим с ним одним воздухом, ходим с ним по одной земле. И пенсию ему платим - тоже мы.

Да... То, что произошло с нашим народом, - недостойно его.

Нравственность - это инстинкт самосохранения общества. Общество подошло к краю пропасти, и он напомнил о себе. Нравственность нормативная, разложенная по параграфам догматиками, затрещала по швам. Зато зримы стали поиски нравственных примеров, воплощенных в целостных человеческих судьбах. Интерес к "возвращенной" литературе - тому свидетельство. Нравственный авторитет сохранился лишь за теми, чья жизнь была подвижничеством. А значительное содержание той литературы, которой не хватает, но которая, смею думать, не за горами, можно определить так: в поисках утраченного человеческого достоинства. В этом проявит себя возрождение человеческой личности. Не эгоцентризм, но исполненное достоинства право сказать по-платоновски: без меня народ неполный. У каждого народа та литература, которую он заслуживает.

Накануне отъезда из Колпашева я еще раз пришел к тому месту, где, зависая над мутной водой изломанной кромкой асфальта, обрывается в никуда улица Ленина.

Было буднично и мирно, близился вечер. На далеком фарватере, отмеченном флюоресцирующим, источающим оранжевый яд бакеном, громоздились два неподвижных нефтеналивника. Мимо, отчаянно мигая проблесковым маячком, тянул тяжелую баржу маленький буксир.

Час назад прошел короткий летний дождь. На дорогах кое-где стояли лужи, но на обочинах земля жадно, залпом впитала влагу и была почти сухая. Ветер успел отогнать облака, и небо, лишь слегка припухшее на горизонте, уже просветлело. Где-то справа висело невысокое, но упорное сибирское солнце, красиво освещавшее противоположный берег. Там как-то попляжному, как-то совсем неуместно розовел песок.

И все-таки посвежело. В здешних местах странный ветер - стервозный, непоседливый. Даже в самый солнечный день. Эта равнина совершенно открыта от Ледовитого океана до Алтая, ветру здесь вольно. Да и в городе просторно. Дома, поднимающиеся выше второго этажа, пока еще можно считать едва ли не по пальцам. На широких улицах много деревьев, и ветер постоянно путается в их кронах над крышами домов, шумит листвою, создавая иллюзию того, что он всегда в силе, всегда в движении. А для убедительности порой еще поднимет и погонит вдоль берега легкую, но едкую тучу светлой пыли... Это после дождя, прибитая к земле, отяжелевшая от влаги, она неподвижна.

Потому так свеж предвечерний воздух.

Пахло рекой, но в ее густой пресный запах врезалась тянущаяся с ближайшего двора, где повизгивала



циркулярная пила, пряная опилочная струя. Обычный здесь запах.

Подавшись вперед, к воде, на самом краю обрыва стоял тополь. Через несколько месяцев дерево рухнет вниз, вслед за другим таким же тополем, чей черед уже наступил. Полуживой, со скудными остатками зеленеющей листвы, тот накрепко вцепился корневищем и ветвями в илистое дно и пока не давал течению унести себя прочь.

Но рано или поздно Обь возьмет свое.

Тополь на обрыве - это все, что осталось от сквера у здания НКВД. Или он из нового поколения? Ведь тополя быстро тянутся вверх и легко отживают свое. Всему свой срок рождаться и умирать: людям, деревьям, идеям. Впрочем, идеи рождаются вместе с людьми и вместе с людьми умирают, не раньше. Как и от собственных детей, люди редко отказываются от выношенных ими теорий. И иногда идеи успевают убить тех, кто их выпестовал.

Когда-то улица, сиротливо уткнувшаяся в обрыв, носила другое имя - Вегмана. В 1938 г. большевика Вегмана расстреляли, улице дали имя Стаханова и лишь позже - Ленина.

Но все кануло в прошлое. Вымощенная торцами лиственничных кругляшей, улица Вегмана сменила название, покрылась асфальтом. Исчез "централ"...

Немалое усилие надо совершить над собой, чтобы вообразить в пустоте у самого берега, над тем местом, где сейчас играет тревожной свинцовой рябью вода, этот мираж: двухэтажное здание из бруса, высоченный забор с колючей проволокой наверху, разбредшееся по пустынной улице стадо коров, злые окрики часового, стоящего на сторожевой вышке, и перепуганный пастушок, торопливо взмахивающий кнутом... И такой же ничейный, бездомный ветерок в вышине.

И еще прячущаяся за углом дома девочка, которая с

надеждой глядит на ворота НКВД и ждет, что ей вернут отца.

Ровно пятьдесят лет назад в этот призрак-острог, в эту повисшую над рекой пустоту навсегда ушел школьный учитель Михаил Георгиевич Смирнов\*. Славный, честный, порядочный и добрый человек. Ушел, как и бесчисленные другие жертвы человеческой глупости, жестокости и подлости. Ушел, чтобы не мешать остальным строить светлое будущее. То самое будущее, которое стало нашим настоящим. Со своими достоинствами, со своими недостатками, но в общем-то довольно обыденным и не таким уж светлым, сказать по совести. Так все же как оправдала цель жертвы? Пора бы и подвести итоги.

Если добираться до Колпашева из Томска по реке, можно увидеть по берегам с десятков поселков. Причем Колпашево - уже крупный город. А так - только низкие безлюдные берега. Такие низкие, что кажется, будто в реке слишком много воды, слишком она полноводна. И ни души. Плыть же больше трехсот километров...

Еще больше поражаешься малой обжитости этого края, когда летишь самолетом.

Петляет, вольно растекается по бесчисленным протокам Обь, оставляя по сторонам старицы, озера. С реки всего этого не видишь. Подчас начинает казаться, что протоки - это следы чьей-то гигантской пятерни, с непонятым умыслом расписавшей таежные просторы. Во многих местах деревья стоят полузатопленные, и

---

\* В апреле 1989 г. я получил из Колпашева хорошее, доброе письмо от Галины Михайловны, в котором она сообщила: "Получили мы такую страшную справку, что Смирнов М. Г. в октябре месяце 1937 г. приговорен "тройкой" к расстрелу. Теперь не может быть сомнений, что папа в нашем яру...2

солнце, отражаясь от воды, бежит по тайге неожиданным слепящим пятном вровень с тенью от самолета. Изредка перерезают тайгу просеки или пустынные дороги. Мир на следующий день после всемирного потопы.

Странно и печально, что на этой бескрайней земле не нашлось места миллионам людей, а сами они оказались пригодны только для того, чтобы лечь костями в страшные поленницы.

Суеверным себя не считаю, но когда думаю о колпашевской могиле, признаться, в душу закрадывается смутный страх. Есть нечто выходящее за пределы человеческого разума в том, что эта земля, сама природа не приняла людские останки, не впитала их в себя, не дала им прорасти травой и деревьями, но сохранила их нетленными и, словно испытывая нас на совесть, сама же их открыла: "Вот что вы творите, звери!"

И начинает казаться, что люди, у которых во имя нашего с вами скудного благополучия были отняты жизни, а после жизни - право на память и могильный камень, так и не ушли. Не могли уйти, потому что был погран тот глубинный закон человеческого бытия, в соответствии с которым человеку надлежит прийти в этот мир, жить в нем и умереть, уступая место своим детям, внукам и правнукам. А этих людей не просто убили. Им не дали жить. Их изъяли из круговращения природы. Выкинули и забыли, сделали всё, чтобы не вспоминать. Оставили на этой земле миллионами безмолвных неприкаянных теней, носимых без цели порывами странного здешнего ветра. Так и суждено нам существовать вместе: безмолвным неушедшим и молчаливым живущим. Тем, кого принесли в жертву. И тем, кто эту жертву принял, - своим молчанием.

Один австрийский психиатр как-то заметил, что человеческое безумие начинается с потери стыда. А душевное здоровье общества, нации? Когда-то слово

”позор” в русском языке означало ”зрелище”, ”то, что видят другие”. Это значение ушло. За ненадобностью? Зато прижился древний азиатский принцип: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. Но как и все чужеродное, принцип был использован не там, где полагалось, а там, где удобнее. И так, как удобнее.

Позора своего видеть не желаем. О позоре своем не желаем слышать. И о позоре своем никому не скажем...

Все было буднично и привычно на берегу Оби.

Там, левее, от треугольной вымоины в береговом обрыве готовилось отойти обшарпанное суденышко. Затарахтел мотор, и из узкой высокой трубы упруго ударила в небо копоть. Через кингстоны, словно из слива стиральной машины, хлынула грязная, пенная вода. Веснушчатый матрос в замасленной робе метнул пустую банку из-под тушенки в сторону кучи мусора и нырнул в трюм машинного отделения...

Говорят, что не весь этот чудовищный песчаный мавзолей был вымыт тогда. Будто бы осталась еще одна яма. Ее нашли с помощью буровых станков и залили не то кислотой, не то щелочью. Опять слухи, слухи...

А вдруг правда? Вдруг *плохо* залили?

И что, снова поплывут трупы по Оби?

*Июнь-октябрь 1977 г.,  
октябрь 1988 г., май 1989 г.*



Карл ГЕЛЬФЕРИХ

## Моя московская миссия\*

### Предисловие

Публикуемая ниже глава их мемуаров германского государственного деятеля и дипломата Карла Гельфериха о Первой мировой войне должна была быть опубликована во втором томе журнала "Летопись революции" (изд. Гржебина), прекратившем, однако, свое существование после выхода первого тома в 1923 году. Перевод, судя по всему, был выполнен меньшевиком Ю. Денике, и им же написано небольшое предисловие к тексту. Рукопись перевода хранится в архиве Института Гувера (Станфорд, США), в коллекции Б. И. Николаевского, ящик 198, папка 19. Материал публикуется с любезного разрешения администрации архива.

Карл Гельферих пробыл в Москве на посту германского посла всего несколько дней. По мнению его критиков, он выступал за жесткий курс в отношении большевиков и за переориентацию в германской политике: от поддержки большевиков (проводимой германским МИДом до начала июля 1918 г.) к поддержанию "правых" политических групп в России. Собственно, столь радикальное изменение германской восточной политики с июня настоятельно рекомендовал МИД германский посол в Москве граф Мирбах. И вряд ли следует считать случайным совпадением тот факт, что всего через месяц после того, как Мирбах изменил свое отношение к большевикам и стал ратовать за переориентацию в германской восточной политике, 6 июля 1918 года он был убит сотрудниками ВЧК Блюмкиным и Андреевым.

---

\* Публикация и предисловие Юрия ФЕЛЬШТИНСКОГО.

В 1919 году (когда Гельферих заканчивал свои мемуары), зная о постигшей Германию катастрофе, не трудно было видеть всю недальновидность германской политики в отношении России, русской революции и большевиков. Сделав ставку на сепаратный мир с Россией, Германия самой логикой вещей вынуждена была помочь ленинской группе въехать в Россию и закрепиться у власти. Вынудив советское правительство подписать 3 марта 1918 года сепаратный Брестский мир, Германия, однако, не смогла ликвидировать свой Восточный фронт, во-первых, потому, что Советы не обладали реальной властью на местах, в пограничных районах, а во-вторых, из-за оппозиции Брестскому миру в партийном и советском активе. По существу в это время у Германии был лишь один союзник - Ленин. Только он от начала и до конца брестского периода советской истории был за подписание, ратификацию и соблюдение условий "тильзитского" мира.

Ленин был политиком ближайшей цели. Он упрямо концентрировал свою волю на поставленной перед собою задаче и абсолютно искренне считал ее самой важной. Это волевое усилие могло длиться миг (пока писалась та или иная телеграмма с неизменным ленинским "архи"), или же год, если речь шла о задаче крупной: устоять, удержать в своих руках власть. Как в детской пирамидке на задачу большую, глобальную, налагалась меньшая, а выше - меньшая и того. И под конец получалось, что выполнение жизненно важного дела зависело от сущей мелочи (за которую Ленин и не устал биться с яростью, ни для кого не объяснимой).

Ленин всегда ясно видел взаимосвязь мелочей в революции и готов был драться за каждое ее мгновение. Видимо, это и отличало его от пустоцвета Троцкого, извечно стремившегося к недостигаемому горизонту и не ставившего перед собой задачи дня. Такой задачей для Ленина в марте 1918 года была ратификация Брестского мира на предстоящем Седьмом партийном съезде. К этому времени большевистская партия фактически раскололась на две.

Самым ярким проявлением этого раскола стало издание противниками Ленина и сторонниками немедленной революционной войны - левыми коммунистами - собственной газеты "Коммунист", начавшей выходить 5 марта 1918 года под редакцией Бухарина, Радека и Урицкого как орган Петербургского комитета и Петербургского окружного комитета РСДРП(б). Конкурент был опасный. Ленин пробовал противостоять левым, в основном, через "Правду". Так, перед самым открытием съезда, 6 марта,

он опубликовал статью "Серьезный урок и серьезная ответственность". Статья, впрочем, производила жалкое впечатление. Основная ее мысль сводилась к тому, что "с 3 марта, когда в 1 час дня прекращены были германцами военные действия, и до 5 марта 7 час. вечера, когда я пишу эти строки, мы имеем передышку, и мы уже воспользовались этими двумя днями для *деловой*... защиты социалистического отечества". Но аргумент этот мог вызвать только улыбку. Очевидно было, что за два дня никаких мероприятий по охране государства провести было нельзя.

Открывшийся 6 марта Седьмой экстренный съезд партии не был представительным. В его выборах могли "принять участие лишь члены партии, состоявшие в ней более трех месяцев", т. е. только те, кто вступил в ряды РСДРП(б) до октябрьского переворота. Делегатов съехалось мало. Даже 5 марта не было еще ясно, откроется съезд или нет, будет ли он правомочным. Собирался съезд в страшной спешке. Нет точных данных о числе делегатов, можно предложить, однако, что в нем участвовало 47 делегатов с решающим голосом и 59 с совещательным.

7 марта в 12 часов дня с первым докладом по вопросу о Брестском мире выступил Ленин. За знакомым сегодня каждому термином - Брестский мир - стояли условия более тяжкие, чем, например, в Версале. Терялась вся Прибалтика, Украина, часть Белоруссии, отдавался ряд территорий Закавказья Турции, окончательно терялись Польша и Финляндия. На отторгнутых территориях общей площадью в 780 тыс. кв. км с населением 56 миллионов человек (треть населения Российской империи) до революции находилось 27% обрабатываемой в стране земли, 26% всей железнодорожной сети, 33% текстильной промышленности, выплавлялось 73% железа и стали, добывалось 89% каменного угля, находилось 278 сахарных заводов, 918 текстильных фабрик, 574 пивоваренных заводов, 133 табачных фабрик, 1685 винокуренных заводов, 244 химических предприятий, 615 целлюлозных фабрик, 1073 машиностроительных заводов.

Именно этот мир и стал защищать Ленин. Он зачитывал свой доклад, как классический сторонник мировой революции, говоря прежде всего о надежде на революцию мировую, в первую очередь германскую, и о принципиальной невозможности совместного существования социалистических и капиталистических государств. Можно с уверенностью сказать, что эта речь стала программной для самого Ленина. С согласия ЦК или без такового он следовал положениям своего доклада

вплоть до ноября 1918 года, когда Брестский мир был разорван. По существу, Ленин солидаризировался с левыми коммунистами по всем основным пунктам: приветствовал революционную войну, партизанскую борьбу, мировую революцию, признавал, что война с Германией неизбежна, что невозможно существование с капиталистическими странами, что Петроград и Москву скорее всего придется отдать немцам, подготавливающимся для очередного прыжка, что "передышка" всего-то может продлиться - день. Но левые коммунисты из всего этого выводили, что следует объявлять революционную войну. Ленин же считал, что передышка, пусть и в один день, стоит трети России и, что более существенно, - отхода от революционных догм.

В этом левые коммунисты никак не могли сойтись с Лениным и считали, что мир с Германией уменьшает шансы на победу европейской и, прежде всего, германской революции. И поскольку без европейской революции не мыслилась победа революции в России, с точки зрения левых коммунистов подписание мира было предательством интересов мировой революции и вело к ее поражению (а, следовательно, во всех случаях, и к поражению революции в России).

С изложением "третьей позиции" - ни мира, ни войны - на съезде выступил Троцкий, который "воздержался от голосования в Центральном комитете при решении этого важнейшего вопроса", потому что не считал "решающим для судеб революции то или другое отношение к этому вопросу..." (пример неспособности Троцкого придавать значение мелочам революции и бороться за задачу дня). Троцкий признал, что шансов победить больше "не на той стороне, на которой стоит тов. Ленин", но не решился призвать делегатов не ратифицировать Брестский договор. В результате при поименном голосовании по вопросу о войне и мире за ратификацию высказалось 30 человек, против - 12. Четверо воздержались.

Теперь предстояло добиться ратификации мира съездом Советов, что не могло казаться Ленину легкой задачей, так как в шаткой обстановке тех дней любое событие могло повлиять на решение делегатов резко и стремительно. Случись в Германии новая волна забастовок, и, кто знает, может быть, съезд проголосовал бы против ратификации. Ленин должен был поэтому быть готов и к отказу съезда ратифицировать мир, и к началу революционной войны. В том и в другом случае предстояла эвакуация Петрограда, над которым нависла угроза германской оккупации и падения там советской



власти. Съезд Советов решено было созвать в Москве, куда постановлением СНК была перенесена столица советской России.

Съезд Советов начал свою работу 14 марта, с опозданием в два дня. Как и Седьмой партийный съезд, съезд Советов не был представительным, а потому получил название "чрезвычайного". Положение Ленина было тяжелым. В оппозиции к Брестскому миру находились часть левозероветской партии, анархисты-коммунисты, эсеры и меньшевики. Действительную и главную оппозицию Ленину составляли левые коммунисты. И не было уверенности, что большевистская фракция при голосовании на съезде Советов вновь поддержит Ленина и резолюцию о ратификации мира, как произошло на партийном съезде. Поэтому 13 марта, за день до начала работы съезда Советов, Свердлов и Ленин провели генеральную репетицию голосования по вопросу о ратификации мирного договора: на состоявшемся заседании фракции большевиков Четвертого чрезвычайного съезда Советов после выступления Ленина 453 голосами против 36 заключение мира было одобрено.

Однако на открывавшемся на следующий день съезде Советов присутствовало много большее число делегатов: 1172, в том числе 814 большевиков и 238 левых эсеров. И хотя предварительный итог голосования во фракции для Ленина был обнадеживающим, в больших делах он не имел привычки успокаиваться раньше времени. Ленин ожидал срыва даже в последнюю минуту. Его опасения подтверждались и телеграммами, присланным в адрес съезда местными партийными организациями большевиков и левых эсеров. На местах не было единого мнения, и между сторонниками и противниками ратификации установилось известное равновесие. На самом съезде вместе с левыми коммунистами против мира высказалась большая часть левых эсеров, меньшевики, эсеры и анархисты. Но при итоговом голосовании Брест-Литовский мирный договор был ратифицирован большинством в 784 голоса против 261 при 115 воздержавшихся.

Брестское соглашение, однако, так и осталось бумажной декларацией — прежде всего потому, что ни одна из сторон не смотрела на него как на деловое, выполнимое и окончательное. В случае победы Германии Брестский мир должен был быть пересмотрен и конкретизирован в рамках общего европейского соглашения. В случае поражения Германии в мировой войне договор, очевидно, потерял бы силу и потому, что его расторгла бы Россия, и потому, что не допустила бы Антанта. Неподконтрольное советской власти население вообще не

признавало Брестского мира. Внутри советского лагеря и те, кто голосовал за договор под давлением Ленина, и те, кто поддерживал соглашение с немцами под давлением обстоятельств, рассматривали Брестский мир как кратковременную передышку, которая может оборваться в любой день. Неудивительно поэтому, что с военной точки зрения Брестский договор не принес желаемого облегчения ни Германии, ни советской власти.

Германская оккупация была фактом. Германская оккупация была актом войны. Даже если бы немцы не продвинулись больше ни на сантиметр восточнее уже занимаемой ими линии – не могло бы быть речи о мире. Война продолжалась. И это было главным провалом в ленинском расчете на передышку: Брестский мир был безоговорочной капитуляцией на неограниченных для врага условиях. Это был мир, который мог быть оборван любым выстрелом, любым инцидентом. Мир, о котором не знали, разорван он уже или еще нет. Мир, при котором русских солдат продолжали брать в плен и даже расстреливать. Чем ближе к демаркационной линии, тем очевиднее становилось, что подписанный Лениным договор – это лишь начало всех проблем, связанных с вопросами войны и мира. Прежде всего это относилось к районам, отданным Лениным под турецкую и германскую оккупацию: Закавказью и Украине.

В оппозицию к Брестскому миру Закавказье стало еще в феврале 1918 года, когда туда дошла информация о возможном подписании сепаратного мира между Россией и странами Четверного союза, в числе которых была Турция, и о том, что Россия по требованию Германии и Турции может отдать Закавказье под оккупацию, а некоторые закавказские территории, прежде всего Карс, Ардаган и Батум – передать Турции. С точки зрения закавказского населения советская власть в России откупалась от немцев за счет закавказских территорий, причем турецкая оккупация обещала быть жестокой. Не удивительно, что Закавказье решительнее других территорий высказалось против Брестского мира.

Закавказский сейм, в котором доминировали меньшевики, стоял за сепаратный мир с Турцией, но "почетный, без аннексий". Впервые собравшись 23 февраля 1918 года, сейм, по предложению турецкого командования, начал переговоры о сепаратном мире. 1 марта, отвергнув предложение о предварительных переговорах с представителями Антанты, сейм объявил себя правомочным заключить окончательный мир с Турцией и в тот же день постановил послать делегацию для ведения

переговоров. Однако отъезд в Трапезунд, где находилась ставка турецкого главнокомандования и где должны были проходить переговоры, был отложен: 2 марта секретарь русской мирной делегации Карахан сообщил телеграммой о том, что на 3 марта назначено подписание Брестского мира, согласно условиям которого Батум, Карс и Ардаган будут переданы Турции. В Трапезунд об этом был послан запрос, и мирная делегация Закавказья ожидала на него ответа, находясь в столице Закавказья — Тифлисе.

Когда Брестский договор был подписан, Закавказский сейм и правительство разослали телеграфный протест министрам иностранных дел воюющих держав против Брест-Литовского мира, в части, касающейся Закавказья, и объявили договор, заключенный без ведома и одобрения правительства Закавказья, "лишенным всякого значения с точки зрения международного права и необязательным для себя". В ответ турецкое командование потребовало от закавказской армии очистить Батум, Ардаган и Карс, как то предусматривал Брест-Литовский мирный договор. Тогда Закавказский комиссариат официально уведомил Турцию о непризнании Закавказьем Брестского мира и предложил вести самостоятельные сепаратные переговоры.

По разным причинам Германия и Турция против этого не возражали. По Брестскому договору Германия не получала в Закавказье никаких территорий. При сепаратном договоре с Закавказьем она могла укрепить там свое политическое и экономическое влияние. В приобретении территорий для Турции Германия заинтересована не была, а потому ее не слишком волновало, сумеет ли Турция отстоять территории, отошедшие к ней по Брестскому миру, или нет. Турция, со своей стороны, безусловно надеялась воспользоваться слабостью еще до конца не оформившегося Закавказского государства, подчинить его своему влиянию и оговорить для себя аннексию территорий не меньших, чем те, которые уже отходили к ней по Брестскому миру.

14 марта мирная конференция начала работу. Турецкая сторона отказалась признать "заявление Закавказской делегации о недействительности Брест-Литовского договора в части, касающейся Кавказа", и "выразила желание, чтобы Закавказье решилось объявить независимость и форму правления, прежде чем начатые переговоры примут окончательный характер и приведут к благоприятному результату". Не все приветствовали идею отделения Закавказья от России. Против, в частности, высказалось русское население За-

кавказья. Сам Закавказский сейм шел на провозглашение независимости со смешанным чувством. Ироничным казалось, что в независимости Закавказья оказывался заинтересованнейший враг — Турция. Риск был и в том, что Закавказье могло при прямых переговорах с Турцией потерять больше, чем по Брестскому миру. Так и случилось.

14 апреля Закавказский сейм постановил разорвать переговоры с Турцией. В тот же день турецкие войска заняли Батум. Одно за другим следовали военные поражения. В этих условиях Закавказская федерация просуществовала чуть больше месяца: 26 мая Грузия, в надежде избежать турецкой оккупации, заявила о выходе из федерации и провозгласила независимость. Лишившись основного звена, Закавказский сейм объявил себя распущенным. 27 и 28 мая о независимости заявили Армения и Азербайджан. Тогда же, 28 мая, Грузия подписала предварительный договор с Германией о вводе в Грузию немецких войск (и так избежала турецкого вторжения). При содействии Германии 4 июня Грузия и Армения заключили с Турцией формальный мир, что, однако, не спасло Армению от нашествия турецкой армии — в том же месяце мир был разорван и военные действия между Турцией и Арменией возобновились. Азербайджан мира с Турцией не заключил, и 15 сентября 1918 года город был занят турецкими войсками.

Получалось, что Ленин по Брестскому миру уступил не три закавказских округа — Карс, Батум и Ардаган, — а все Закавказье. Ленин, казалось, уже не спустился с вершины пирамиды к ее основанию, а скатывался вниз. Кольцо оккупации сжималось все уже и уже. Из-за этого в последовавшие после ратификации Брестского мира недели Ленин продолжал оставаться объектом резкой критики. Его критиковали враги и друзья, союзники и противники. Он завел партию в тупик, из которого, казалось, не было выхода. Брестский мир не работал. Брестский мир приносил поражения. Но с необъяснимым для посторонних умрямством Ленин продолжал защищать теперь уже обсмеиваемый всеми Брестский договор. Казалось, он не видел того, что происходит вокруг, не слышал, что говорилось другими. Ленин не видел того пути, по которому шел. Как иначе можно было объяснить согласие Ленина на отторжение Украины?

С точки зрения экономической, политической, военной или эмоциональной отдача Украины под германскую оккупацию была для революционеров шагом

исключительно драматичным. Уже побеждавшая на Украине советская власть (а может быть, так только казалось легковерным коммунистам) была принесена в жертву все той же ленинской прихоти: получить передышку для советской России. Будучи самым искренним интернационалистом, трудно было отделаться от ощущения, что русские большевики предадут украинцев, которые уже с декабря 1917 года предпринимали попытки захватить власть на Украине в свои руки.

Как и в Петрограде, киевские большевики первоначально пытались организовать переворот, опираясь на съезд Советов солдатских и рабочих депутатов. Однако украинский "Крестьянский союз", своевременно влив в число делегатов съезда крестьянских делегатов, нейтрализовал эту первую попытку. Тогда большевики покинули Киев, перебрались в Харьков и провозгласили себя органом советской власти Украины. Из России советским правительством на помощь украинским большевикам немедленно были посланы войска. Советские части наступали, вот-вот могли занять Киев, и правительству "Украинской народной республики" ничего не оставалось, как срочно, 9 (22) января 1918 года, провозгласить независимость и подписать сепаратный мир со странами Четверного союза, дабы избежать советской оккупации (и променять ее на немецкую). Германия взяла на себя роль защитницы Украины от анархии и большевиков. Однако мир, который она заключила с Украиной, был "хлебный", а не политический.

Тот факт, что немцы вывозили из страны продовольствие, делал Германию в глазах населения ответственной за экономические неурядицы (в которых немцы не обязательно были виноваты). Недавняя угроза советской оккупации была скоро забыта. Ревнителю украинской независимости были настроены теперь антигермански, так как видели в немцах оккупантов. Сторонники воссоединения с Россией также были настроены антигермански, поскольку справедливо считали, что именно под давлением Германии Украина провозгласила независимость и отделилась от России. В результате в скором времени антинемецки были настроены все слои украинского населения.

К объективным факторам прибавлялись и субъективные. Германские войска на Украине вели себя как в оккупированной стране (отчасти спровоцированные противниками Брестского мира). Самым ярким указанием на это было введение на Украине германских военно-полевых судов, которые по немецким законам могли начать свое действие лишь во время войны и на окку-

пированной территории врага. Были случаи разоружения германскими войсками украинских частей, по украинско-германским соглашениям имевших право на существование. Более красноречивых доказательств отсутствия реального мира трудно было представить.

Очевидно, что ужесточение оккупационного режима на Украине было связано прежде всего с продовольственным вопросом внутри Германии. Именно для обеспечения нормального вывоза украинских продуктов и проводила германская армия те или иные военные мероприятия на Украине. "Хлебный мир" был слишком легкомысленно разрекламирован перед германским общественным мнением. Украинский хлеб стал легендой. В его спасительную силу в Германии верили все, от членов правительства до простых рабочих. Поэтому военная политика Германии на Украине была подчинена продовольственным целям. Для организации вывоза продуктов из Украины нужно было создать там стабильный режим, ввести туда войска, обеспечить непрерывную работу транспорта. Многие земли пустовали. Засеивались далеко не все обрабатываемые ранее поля. Это крайне волновало германское руководство. Немцы и тут встали на путь принуждения: по распоряжению главнокомандующего германскими войсками на Украине генерала Эйхгорна крестьяне обязаны были засеивать все имеющиеся земли. Приказ предусматривал принудительную запашку крестьянами полей, военную реквизицию сельскохозяйственных продуктов с уплатой "справедливого вознаграждения" собственникам; вменял помещикам в обязанность следить за крестьянскими посевами, а в случае отказа крестьян производить посев — обращаться к военным властям. Для обработки таких полей местным земельным комитетам предписывалось под угрозой наказания предоставлять необходимый рабочий скот, сельскохозяйственные машины и семена. Но поскольку распоряжение не указывало, кто именно должен был засеивать земли, оно привело главным образом к самочинным захватам чужих полей. Немецкие же офицеры на местах толковали распоряжение по-разному, то прогоняя, то поощряя захватчиков. И это, разумеется, приводило лишь к росту аграрного бандитизма на Украине, т. е. к целям, прямо противоположным тем, которые изначально ставило перед собою германское правительство: стабилизировать режим Украины для обеспечения спокойного вывоза продуктов в Германию.

Такую политику нельзя было назвать ни мудрой, ни разумной, ни последовательной. Со временем против

нее стало выступать даже зависимое от Германии правительство Рады. Решающие заседания, посвященные германской политике на Украине, происходили в Киеве 27 и 28 апреля, вскоре после обнародования на Украине приказа Эйхгорна о введении военно-полевых судов. Критика была всеобщей. Германское правительство сделало из этого соответствующие выводы. 28 апреля, прямо во время заседания Малой Рады, в 3 часа 45 минут дня, правительство Украины было арестовано вошедшим в зал немецким отрядом. Германия, не заинтересованная в сохранении руководства, саботировавшего (по ее мнению) выполнение продовольственных соглашений, совершила на Украине государственный переворот. К власти пришло правительство гетмана Скоропадского, придерживавшееся куда более прогерманского курса. В ответ на это 30 июля левым эсером террористом Донским был убит главнокомандующий германскими войсками на Украине фельдмаршал (генерал) Эйхгорн.

После переворота на Украине критика в адрес Ленина и Брестского мира перестала зависеть от партийных или политических позиций. Брестский мир стал ахиллесовой пятой большевистского правительства. В этих условиях большевики могли либо уступить своим политическим противникам, признать их критику правильной и формально или фактически разорвать мир, либо пойти еще дальше по пути углубления контактов с германским правительством. Ленин предпочитал второй путь. Под его давлением ЦК согласился обменяться с "империалистической Германией" послами. С позиций сегодняшнего дня шаг этот не кажется из ряда вон выходящим. Но в апреле 1918 года, когда германская революция могла разразиться в любой момент, официальное признание советским правительством "гогенцоллернов", никак не оправдываемое необходимостью сохранения ленинской "передышки", с точки зрения интересов германской (и мировой) революции было уже не просто ошибкой: это было преступлением.

Если бы стороннику мировой революции и противнику Брестского мира левому коммунисту А. А. Иоффе в декабре 1917 - марте 1918 года сказали, что он станет первым полномочным представителем советской России в империалистической Германии, он, вероятно, счел бы это неудачной шуткой. Посылка в Германию яркого противника Брестского мира и левого коммуниста была тем компромиссом, при котором большинство ЦК соглашалось на установление дипломатических отношений с империалистической державой: Иоффе ехал в Германию для координации действий немецких и рус-

ских коммунистов по организации германской революции. Германское правительство, со своей стороны, назначило послом в РСФСР графа Мирбаха, бывшего сотрудника германского посольства в России, проводшего ранее несколько недель и в советском Петрограде, а потому знакомого с ситуацией.

Мирбах прибыл в Москву 23 апреля. Посольство разместилось в двухэтажном особняке, принадлежавшем вдове сахарозаводчика и коллежского советника фон Берга (ныне улица Веснина, дом № 5). Приезд посла совпадал по времени с переворотом на Украине, с занятием германскими войсками Финляндии, с планомерным (пусть и постепенным) продвижением немецких войск восточнее линии, очерченной Брестским соглашением. Разумеется, советское правительство дало знать Мирбаху о своем недовольстве, как только для этого представился случай — при вручении верительных грамот 26 апреля.

Как человек Мирбах не симпатизировал коммунистическому режиму. Как дипломат он был объективен и тонок. Его донесения рейхсканцлеру Г. Гертлингу и статс-секретарю по иностранным делам Р. Кюльману в целом говорят о верном понимании им ситуации в советской России. Он всегда был скептически настроен в отношении большевиков и осторожен в выводах. Но к концу мая он пришел к заключению о том, что дни советской власти сочтены. В донесении от 2 июня Мирбах рекомендовал своему правительству отказаться от поддержки большевистской партии. Он продолжал настаивать на изменении курса в послании в МИД от 13 июня и в личном письме министру иностранных дел Германии Кюльману от 25 июня. 28 июня, в последнем своем донесении из Москвы, Мирбах открыто и с надеждой на успех писал о готовящемся в Москве перевороте, организуемом, по его сведениям, правыми кругами. Именно в этот момент, 6 июля 1918 года, граф Мирбах был убит проникшими в посольство чекистами. В ответ на убийство немцы предъявили ультиматум о вводе в Москву для охраны германского посольства батальона немецких солдат. Но такой ультиматум не мог принять даже Ленин. Ультиматум был отклонен: Германия уже не имела сил настаивать на его принятии. 28 июля в Москву прибыл новый германский дипломатический представитель — Карл Гельферих.

*[Юрий Фельштинский]*



## Предисловие переводчика

В предисловии к третьему, последнему тому своей книги о великой войне, из которого взята печатаемая здесь глава, Гельферих говорит, что во время писания он еще раз пережил последние два года войны, о которых здесь идет речь. Всегда особенно существенно учесть, в какой мере автор является и сознает себя человеком прошлого или же активным политическим деятелем, борющимся за свою политику и надеющимся на победу. Гельферих принадлежит к числу последних. Долгое время в годы войны он был главным экономическим экспертом правящих кругов и прямым руководителем финансовой политики. Еще задолго до войны приобретший репутацию крупного теоретика (его труд о деньгах часто упоминается с эпитетом "классический"), и в то же время финансист-практик (с 1906 г. один из директоров Анатолийской железной дороги, с 1908 г. директор Немецкого банка). Во время войны - с февраля 1915 г. стал одним из влиятельнейших членов правительства - сначала как статс-секретарь в министерстве финансов, затем - как статс-секретарь внутренних дел и вице-канцлер - до ноября 1917 г., когда Гельферих ушел после образования правительства с канцлером Гертлингом во главе. После этого он руководил еще работами по подготовке будущих мирных переговоров, а затем закончил свою активную "военную" деятельность летом 1918 г. кратковременным пребыванием в роли дипломатического представителя Германии при правительстве РСФСР.

Глава, посвященная Гельферихом его московской миссии, во многих отношениях имеет особое значение. Ее, конечно, не может обойти историк, изучающий внешне-политическую сторону русской революции. Но, извлекая ее из общего контекста книги Гельфериха, мы должны до некоторой степени кратко восстановить этот контекст и указать читателю на значение печатаемой здесь главы для всего построения Гельфериха.

В своей книге Гельферих всячески старается возложить возможно большую ответственность за несчастный исход войны на "парламентское" правительство Германии. Русской политике этого правительство он придает исключительно большое значение и идет в этом так далеко, что приписывает этой политике спасение советского правительства от неминуемо грозившей ему гибели. В главе, следующей за печатаемой здесь, он утверждает, что немецкая политика помогла большевиз-

му преодолеть его самый тяжелый кризис и разбила все надежды в лагере русских противников большевизма вместо того, чтобы помочь сделать тот "легкий толчок", который требовался для сокрушения советской власти, и тем приобрести себе новых друзей в лице новых, с немецкой помощью пришедших к власти, правителей России. В своей слепоте немецкое правительство пошло дальше: чтобы загладить неприятное для большевистского правительства впечатление от деятельности Гельфериха, оно стало проявлять демонстративно дружеское отношение к русскому представителю в Берлине Иоффе. Оно создало условия, позволившие русскому посольству стать центром подготовки и организации германской революции. Кроме того, заключением дополнительных к Брестскому договоров Германия сильно повредила своим отношениям с союзниками. Словом, эта русская политика оказывается одной из главных причин катастрофы. Гельферих хочет доказать, что он предвидел это и пытался спасти Германию. Но правительство Гертлинга пожертвовало им ради дружбы с Советским правительством и тем принесло Германии непоправимый вред. Вот почему окончил Гельферих свою московскую миссию с чувством, что "боги хотят нашей гибели".

Описание его московской миссии еще в одном отношении представляло для Гельфериха задачу, в высокой степени деликатную. Как он сам утверждает, инициатива назначения его в Москву на место убитого Мирбаха исходила от него самого, и он указывает, какие большие задачи он при этом себе ставил. А между тем вся его миссия свелась к тому, что он пробыл в Москве неполных десять дней: 26 июля выехал в Москву из Берлина, а уже 6 августа выехал обратно, вызванный для личного доклада, чтобы больше в Москву не возвращаться. Такая судьба московского назначения Гельфериха набросила на него весьма неприятную тень, вызвав объяснение кратковременности его пребывания страхом за личную безопасность. Ехал он в Москву, по-видимому, с расчетом, что получит надежную внутреннюю немецкую охрану, и легко возникла мысль, что оставил он свой пост потому, что посылка этой охраны не состоялась. Во всяком случае, почти немедленно после приезда в Москву Гельферих уже запросил о разрешении перевести немецкое представительство в Петербург или в другое, лежащее близ границы место (что, как известно, и состоялось).

*[Ю. Денике. 1923 г.]*



Тем временем и на Востоке дела принимали крайне невеселый оборот. После ратификации Брест-Литовского мира г. Иоффе прибыл в Берлин в качестве "дипломатического представителя Российской Социалистической Федеративной Советской Республики" и, после некоторого раздумья, расположился во дворце бывшего императорского Российского посольства на Унтер ден Линден. Большое кроваво-красное знамя развевалось над зданием, обитатели которого очень скоро установили теснейшие отношения с нашими независимыми социал-демократами и сторонниками Либкнехта, почти не скрывавшими уже своих революционных намерений.

В качестве "дипломатического представителя Германской империи" в Москву был командирован граф Мирбах. До войны граф в течение многих лет был советником посольства в Петербурге, где и действовал, по окончании срока перемирия, во главе комиссии по восстановлению экономических сношений, обмена гражданских пленных и т. д. Теперь в его распоряжении находился многочисленный штаб сотрудников, экспертов, комиссаров и комиссий. Его задача состояла не только в том, чтобы восстановить нормальные дипломатические отношения с Россией, следить за дальнейшим развитием политических интересов Германии и принимать меры к их защите, но и в том, чтобы возможно скорее вернуть на родину наших военнопленных и гражданских интернированных, собрать в переправить в Германию "обратных переселенцев" из многочисленных в России немецких поселений и, наконец, озаботиться установлением добрых, равно выгодных

для обеих сторон экономических отношений и открыть доступ Германии, крайне стесненной в хозяйственной сфере, к товарной наличности и вспомогательным источникам России.

Положение, которое застал граф Мирбах, прибыв в Москву в конце апреля 1918 года, было крайне тяжелым и запутанным. Как показали результаты выборов в Учредительное собрание, большевистское правительство могло рассчитывать как на прямых своих сторонников лишь на скромное меньшинство русского населения - даже если считать только Великороссию. Правда, за ним шла, вначале, и партия "левых социалистов-революционеров". Но уже на вопросе: принять или отклонить Брестский мир, между обеими партиями возникли разногласия, которые впоследствии приняли очень острую форму.

Военная сила, которой располагало советское правительство, состояла, главным образом, из некоторого количества хорошо дисциплинированных и испытанных в бою латышских полков. Так называемая "Красная гвардия", по существу, представляла собой пеструю, наспех собранную толпу людей, которых еще только предстояло организовать и обучить.

Вовне советская республика находилась в войне с Финляндией, Украиной, Донским казачеством, с горскими племенами Кавказа и большей частью Сибири. [...] Вставала, далее, опасность и со стороны турок, продвижение которых на Кавказ вышло далеко за пределы округов Карса, Ардагана и Батума; они угрожали прежде всего бакинскому нефтяному району, имеющему столь важное значение для снабжения России топливом. И, наконец, в течение июня месяца показались войска Антанты на побережье Мурмана.

Германия открыто встала на сторону финнов и украинцев, помогая им оружием против советской России. Эта борьба не прекратилась и с официальным за-

ключением мира, по которому Россия обязывалась признать Финляндию и Украину. Ибо внутри этих стран продолжалась борьба между правительственной властью и большевиками, причем мы оказывали помощь правительственной власти, а советская Россия - большевикам. Кроме того, немецкие войска, стоявшие в южной России, поддерживали донских казаков, воевавших с советской Россией под командованием генерала Краснова. И, наконец, Германия оказывала поддержку Грузии в ее борьбе за самостоятельность.

Тот факт, что вне границ Великороссии - совершенно еще не установившихся - мы по-прежнему вели вооруженную борьбу с большевиками и их Красной гвардией, должен был, естественно, затруднить установление добрых отношений с Великороссией, находившейся под властью советского правительства, и чрезвычайно затруднить для Германии доступ к великорусским запасам и вспомогательным источникам. Но, независимо от этого усложнения задачи, нельзя было с самого начала не усомниться в том, возможно ли вообще достижение нашей цели в Великороссии, имея дело с таким правительством, которое заключенный с нами мир совершенно открыто называло только "передышкой" и снова и снова провозглашало мировую революцию, начиная с Германии, своей целью.

Во всяком случае, скоро обнаружилось, что осуществление Брестского договора и установление экономических отношений наталкивается на чрезвычайные трудности. Наши попытки получить доступ к русским товарным запасам потерпели крушение не только в отношении съестных припасов, которых и в самой России было чрезвычайно мало, но и в отношении фактически имевшихся в наличности и лежавших без пользы столь важных для войны сырьевых материалов, как медь, никель, резина, масла и т. д. Внешне эти трудности проявлялись, главным образом, как следствие предпри-

нятой большевиками "социализации" предприятий и товарных запасов, благодаря которой свободная торговля стала невозможной. Внутреннее же противодействие сказалось в том факте, что все без исключения деловые переговоры с большевистским правительством, в распоряжении которого находились все запасы, постоянно им откладывались и не доводились до конца.

Таково было смутное и безотрадное положение вещей, когда 6 июля 1918 года пришло известие об убийстве графа Мирбаха в здании германского представительства и о попытке левых социалистов-революционеров непосредственно вслед за этим овладеть властью путем восстания, которое, однако же, быстро было подавлено. Сведения, поступавшие из различных источников, о связи между этими двумя событиями были вначале противоречивы и не давали ясной картины. Но уже сам по себе факт преступления бросал, подобно молнии, достаточно яркий свет на те тяжкие, прямо невыносимые условия, с которыми нам приходилось считаться в России.

Со времени брестских переговоров тревога о том, как сложатся наши отношения с Востоком, не покидала меня ни на минуту. Все сведения, которые поступали из наших миссий в Москве, в Гельсингфорсе, в Киеве и на Кавказе, только усиливали ее. Еще больше она возрастала благодаря тому обстоятельству, что в нашей политике на Востоке не было выдержанной линии, что она была полна противоречий, не давала никакой сколько-нибудь реальной пользы и вела лишь к распылению наших сил, прикрепляя их к отдаленным от главного фронта пунктам. Основное зло по-прежнему коренилось в старой ошибке - в столь безмерно затруднившей брест-литовские переговоры несогласованности политического и военного руководства, несчастное влияние которой так сказалось на Брестском мире. Граф Мирбах и его сотрудники, судя по

тому, что я и тогда уже мог констатировать и что подтвердилось впоследствии, стали на правильный путь, пытаясь придать нашей политике на Востоке единство направления и действуя в смысле постепенного поворота и изменения ее курса. Министерство иностранных дел, глава которого разделял, конечно, взгляды графа Мирбаха, не сумело, однако же, провести эту точку зрения в жизнь и даже, в конце концов, само предложило свои услуги для существенного ухудшения Брестского мира. Внесение ясности в вопросы восточной политики представилось мне вдвойне необходимым после того, как в ходе военных операций на Западе выяснилась призрачность надежд на решительную победу на Западном фронте, и с тех пор, как мне стало известно, что наше верховное командование высказалось за вмешательство дипломатии в интересах окончания войны.

Потребность на непосредственном опыте уяснить себе восточные вопросы и путем личного участия способствовать установлению такой политики, которая обеспечила бы нам на Востоке надежное прикрытие тыла, была настолько сильна во мне, что я предложил рейхс-канцлеру свои услуги в качестве преемника графа Мирбаха. Решиться на такой шаг мне было тем легче, что после опыта переговоров в Брест-Литовске и Бухаресте у меня отпала всякая охота к продолжению порученной мне задачи по сводке предварительных работ к мирным переговорам в экономической области. Я сделал еще одну попытку путем планомерного привлечения сведущих кругов нашей хозяйственной жизни к этим работам поставить будущие переговоры на более благоприятную основу. С этой целью я предложил организовать обширную анкету. Компетентные представители отдельных отраслей народного хозяйства должны были, руководствуясь пунктами тщательно разработанного опросного листа, высказаться, в порядке прений

и в присутствии и при участии лиц, намеченных к ведению экономических мирных переговоров, о своих пожеланиях и нуждах, долженствующих быть принятыми во внимание в будущих мирных договорах. На первом плане при этом имелись в виду мероприятия, необходимые для обеспечения нас иностранным сырьем и съестными припасами, а также для восстановления наших экспортных возможностей, которые вызывались автоматическим влиянием войны, с одной стороны, и военными мерами противников, с другой. После того как план организации такой анкеты был проведен мною в жизнь и осуществление его поручено подлежащему ведомству, Министерству имперского хозяйства, я не видел деловых оснований к сохранению за собой той особой задачи, которая была на меня возложена. Напротив, мне казалось более целесообразным поручить сводку подготовительных работ к мирным переговорам тем инстанциям, в непосредственном ведении которых будут находиться сами эти переговоры. Только таким путем могли бы быть устранены трудности и трения, возникшие ко вреду для дела во время переговоров в Бресте и в Бухаресте. Я рекомендовал поэтому включить в ведомство иностранных дел созданное мною бюро с его персоналом.

Мое предложение принять московский пост было поддержано рейхс-канцлером перед императором и одобрено последним после того, как вновь назначенный статс-секретарь Министерства иностранных дел, г-н фон Гинце 20 июля, по возвращении из Христиании, где он вручил свою отставку, также дал свое согласие.

Положение между тем усложнилось еще более. По предложению русского народного комиссара по иностранным делам были начаты в Берлине переговоры для выяснения некоторых вопросов, связанных с Брестским миром. С германской стороны переговоры эти



велись заведующим юридическим отделом министерства иностранных дел, министериаль-директором доктором Криге, которого в качестве тонкого знатока международного права, обладающего исключительным богатством знаний, я всегда столь же высоко ценил, сколь сильно сомневался в дальновидности и верности его политических взглядов. Поскольку дело касалось чисто финансовых вопросов, г. Криге познакомил меня в общих чертах с сущностью переговоров еще до того, как зашла речь о моем назначении в Москву. О всей же совокупности предполагавшегося соглашения, которое наряду с финансовыми и экономическими договорами включало также весьма важные политические и территориальные изменения Брестского мирного договора, я впервые получил представление только теперь.

Существенное содержание этих "дополнительных договоров" состояло в следующем:

### *1. Политические и территориальные статьи*

Германия обязывалась в будущем не вмешиваться в какой бы то ни было форме во взаимоотношения России и внутренних ее частей - в особенности же, не вызывать и не поддерживать самостоятельных государственных образований во внутренних областях России.

Были, однако же, предусмотрены и исключения:

Россия отказывалась от суверенных прав на Лифляндию и Эстляндию, подобно тому, как Брестским договором она отказалась от них в отношении Курляндии, Литвы и Польши. Определение будущей судьбы Лифляндии и Эстляндии предоставлялось Германии в согласии с волей населения этих областей.

Россия обязывалась признать государственную самостоятельность Грузии.

Зато Германия принимала на себя обязательство, по установлении границ Эстляндии и Лифляндии, вывести свои войска из местностей, расположенных к востоку от этих областей. Равным образом Германия обязывалась очистить оккупированные местности к востоку от Березины - по мере поступления платежей, возложенных на Россию дополнительными договорами. Точно так же Германия должна была вывести свои войска из черноморских областей России, как только будет ратифицирован мирный договор между Россией и Украиной. Германия, далее, обязывалась не поддерживать военных операций Турции в областях Кавказа, не уступленных Россией по Брестскому договору, и должна была гарантировать невступление турецких войск в определенный район вокруг Баку.

## *2. Финансовые и экономические статьи*

Предусмотренные Брестским договором финансовые обязательства в отношении Германской империи и германских подданных Россия обязывалась погасить уплатой твердо установленную сумму в шесть миллиардов марок, покрытие которой должно было последовать частью в золоте, в рублях и в товарах, частью же путем нового займа, предоставляемого Германией России. Эти финансовые обязательства должны были включать в себя платежи процентов и погашения по русским займам, аннулированным советским правительством после ноябрьской революции и находящимся в немецком владении, а также уплату вознаграждения за отчуждение германского имущества какого бы то ни было рода, последовавшее до определенного срока. Таким образом, нами были признаны все до того имевшие место акты отчуждения германского имущества. Дальнейшие акты отчуждения допускались лишь на основаниях, установленных в отношении российских обывате-

лей и подданных третьих держав и только за уплату вознаграждения наличными.

Кроме того, должны были быть выработаны соглашения о возврате каждой из сторон банковских вкладов и текущих счетов, об урегулировании правовых отношений, вытекающих из вексельных, чековых и валютных сделок, о защите промысловых прав, об отсрочке права давности и учреждении третейского суда для разбора конфликтов гражданского и коммерческого характера.

В отношении юридической техники проекты юридического отдела Министерства иностранных дел отличались строгой отчетливостью и точностью. Но и в отношении сути дела я был согласен с существенной частью их содержания. Особенно счастливой представлялась мне мысль об установлении твердой суммы русских финансовых обязательств, устранявшая необходимость бесконечных переговоров с русским правительством единичного характера и, следовательно, бесконечную затяжку в их разрешении. Эта мысль была удачна, поскольку установление твердой суммы относилось к тем обязательствам, которые к моменту переговоров уже возникли или, благодаря уже предпринятым в области отчуждения мерам правительства, находились в процессе возникновения. Но я уже тогда предостерегал против предложенного русскими участниками переговоров распространения этой мысли и на те обязательства, которые могли бы возникнуть из отчуждения немецких предприятий или имущества *в будущем*, причем срок, в течение которого такого рода обязательства могли бы возникнуть, еще должен был быть установлен. Ибо установление твердой суммы обязательств *на будущее время* представлялось мне прямо-таки премией за радикальное и поспешное отчуждение всех еще оставшихся в России немецких предприятий и ценностей.

Но больше всего сомнительными показались мне те статьи, которые устанавливали окончательное отделение Лифляндии и Эстляндии от российского государства.

При независимости Финляндии, потеря Лифляндии и Курляндии означала для России полное оттеснение от Балтийского моря, за исключением узкой полосы его, ведущей к Петербургу и в зимние месяцы несудоходной. По моему глубокому убеждению, никакие соглашения о свободном пользовании прибалтийскими портами и железными дорогами не могли бы примирить с этой потерей будущую Россию, каков бы ни был ее государственный строй. Россия в будущем неотвратимо и неизбежно должна была всю силу своего давления направить на эти области, оттеснявшие ее от Балтийского моря, и на Германию, охранявшую доступ к ним. Восстановление добрых отношений с будущей Россией, и без того сильно затрудненное благодаря условиям Брестского мира, теперь, с аннексией Лифляндии и Курляндии, становилось положительно невозможным. Такое направление нашей политики я не мог не считать роковым. Достичь необходимого обеспечения экономических, национальных и культурных интересов немецкого населения этих областей представлялось мне возможным и другими путями.

Из единственной беседы о существовании проектировавшихся дополнительных договоров, которую я незадолго до отъезда в Москву вел с новым статс-секретарем, я вынес впечатление, что г. фон Гинце в глубине души держится одинакового мнения со мной относительно этого важного пункта и что все это дело ведется исключительно по желанию верховного командования. Так как положение вопроса было еще неопределенным, то я не терял надежды оказать решающее воздействие из Москвы на окончательную формулировку дополнительных договоров в духе моей точки зрения. Впоследствии, правда, я упрекал себя за то, что вообще при-

нял московский пост, когда спорный пункт еще не получил ясного и недвусмысленного решения в моем духе.

Не менее сомнительным, чем отделение Лифляндии и Курляндии, казалось мне и ручательство, которое должна была принять на себя Германия перед Россией за невступление турецких войск в бакинский район. Я указал на то, что принятие на себя такого ручательства, в случае если бы это произошло без предварительных переговоров с Турцией и недвусмысленного согласия последней, могло бы при соответствующих обстоятельствах вовлечь нас в вооруженное столкновение с турецким союзником нашим, причем мы выступали бы в союзе с вчерашним общим нашим врагом. Но и независимо от столь категоричного принятия на себя гарантии бакинского района, мне вообще представлялось опасным заключать с Россией какие бы то ни было соглашения по кавказским делам, направленные против нашего турецкого союзника. Я сомневался, выдержит ли союз наш с Турцией такое испытание после того давления, которое пришлось нам оказать на союзную Турцию в спорных вопросах ее с Болгарией.

Эти опасения мои были до некоторой степени приняты во внимание министерством иностранных дел в переговорах его с русской делегацией, и в окончательном тексте договора о принятии "ручательства" уже не говорится. Вместо этого выражения избрано более мягкое: Германия будет "за то", чтобы на Кавказе войска третьей державы не переступали той линии, которая обозначена в договоре. Но и в такой формулировке соглашение это, по моему мнению, впоследствии подтвердившемуся, явилось опасным испытанием наших союзных отношений с Турцией.

В то время как в Берлине между министерством иностранных дел и русской делегацией мирно шли переговоры о дополнительных договорах, в Москве, где

после убийства графа Мирбаха руководство делами нашего дипломатического представительства перешло к тайному советнику доктору Рицлеру, положение вещей до некоторой степени обострилось.

Убийцами графа Мирбаха были Блюмкин и Андреев, известные члены партии левых социалистов-революционеров и служащие "Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией", в составе которой было очень много сторонников этой партии. Непосредственно перед покушением на собраниях левых социалистов-революционеров велась сильная агитация против германского представительства, причем подкреплялась она ссылками на помощь, которую Германия оказывала на Украине контрреволюционному гетману Скоропадскому, и на те поставки съестных припасов и товаров, которые она вымогала у русского народа. Вожди этой партии, главным образом госпожа Спиридонова, за день до покушения держали страстные, возбуждающие речи против Германии на Всероссийском съезде Советов, вызывая яростные манифестации против графа Мирбаха. После покушения убийцы графа Мирбаха скрылись на главную квартиру левых социалистов-революционеров, в бывшую казарму на Покровском бульваре. Здесь, вместе с несколькими своими единомышленниками, убийцы были окружены и осаждены, но, в конце концов, все же сумели бежать - при обстоятельствах довольно загадочных. Русское правительство, показав, правда, большое усердие по части извинений за случившееся, обнаружило, однако же, гораздо меньшее усердие в преследовании убийц и зачинщиков. Хотя оно и представило в конце концов нашему представителю список, в котором значилось свыше ста человек, расстрелянных за участие якобы в покушении. Однако же в этом списке не было имен ни убийц, ни главных зачинщиков. [...]

Ввиду такого положения и неослабевающей угрозы

благополучию посольского персонала, управляющий делами германского представительства, с согласия министерства иностранных дел, обратился к русскому правительству с предложением впустить один батальон германских солдат военного состава для охраны посольства. Это предложение вызвало большое возбуждение со стороны советского правительства. Господин Иоффе обратился в министерство иностранных дел в Берлине, которое отказалось от первоначального предложения, удовольствовавшись допущением трехсот германских солдат - одетых в гражданское платье! - для охраны посольства. Благодаря энергичному и ловкому поведению управляющего делами германского представительства, нам в связи с этим случаем удалось, по крайней мере, добиться удаления военных миссий Антанты, все еще продолжавших свои бесчинства в Москве.

Все это случилось еще до окончательного назначения меня в Москву, и наиболее существенное об этих событиях я узнал в министерстве иностранных дел в короткий промежуток времени между назначением моим и отъездом в Москву. При этом я узнал также, что управляющим делами нашего представительства, при поддержке военного атташе, испрошено было во время кризиса, вызванного восстанием Муравьева, разрешение в случае необходимости оставить Москву вместе со всем персоналом нашей миссии. Оставшись неиспользованным, ввиду быстрого подавления муравьевского мятежа, разрешение это, данное статс-секретарем Министерства иностранных дел, было продлено им на случай необходимости в будущем. Но только в Москве, со слов управляющего делами нашего представительства, мне стало известно о том, что московское представительство усматривало в убийстве графа Мирбаха важный повод к тому, чтобы порвать связь с большевизмом, все равно непрочную, и таким образом открыть путь для последовательной политики соглашения с небольшо-

вистской Россией. В Берлине эта политика не встретила, однако же, сочувствия. Явное разногласие с нашим представительством в Москве статс-секретарь фон Гинце объяснял мне чрезмерной нервозностью наших московских представителей. Что же касается других лиц, с особым усердием работавших над составлением дополнительных договоров с советской Россией, то уже тогда они производили на меня такое впечатление, как будто московские донесения являются для них нежелательной и досадной помехой их переговорам с советским правительством. Да и содержание самих договоров этих, как я впоследствии, будучи в Москве, установил, никогда не доводилось до сведения нашего московского представительства, несмотря на неоднократные жалобы на этот счет со стороны последнего. Проект дополнительных договоров, привезенный мною в Москву, был первым экземпляром, который вообще довелось увидеть членам тамошнего представительства нашего. Министерство иностранных дел не могло не знать, какие тяжелые опасения вызывали у московского представительства существенные пункты дополнительных договоров.

Как бы там ни было, но статс-секретарем было выражено пожелание о всемерном ускорении моего отъезда в Москву, чтобы как можно скорее на месте составить себе ясное представление о положении вещей. При этом решение вопроса о перенесении местонахождения германского представительства было предоставлено всецело на мое усмотрение.

Таким образом, уже 26 июля, через несколько дней после моего назначения, я выехал из Берлина в Москву. Я выговорил себе право, по выяснении общего положения, вернуться в Берлин для доклада и устройства личных дел.

У военной границы, в Орше, на вокзале ожидал меня представитель Народного комиссариата иностранных



дел с отрядом сильно вооруженных латышей-телохранителей и экстренным поездом. Следование по русской территории шло быстро и беспрепятственно. Мы могли свободно быть в Москве между 7 и 8 часами вечера. Однако же приблизительно километров за сто от Москвы машинисту было отдано строгое распоряжение не прибывать в город ранее десяти часов. Ввиду этого поезд пошел черепашьям шагом. Около Кунцево, приблизительно в 14 километрах от Москвы, поезду дан был сигнал остановиться. У моего вагона появился доктор Рицлер и пригласил меня и моего спутника, прикомандированного к московскому представительству, советника посольства графа Басевича, оставить поезд: желательно-де избежать моего прибытия с вокзала. На дороге нас ожидал г-н Радек, тогдашний начальник средневропейской секции народного комиссариата иностранных дел, и на своем автомобиле незаметно доставил нас в город. Не возбуждая внимания, мы приехали на Арбат, в одной из боковых улиц которого, в тихом Денежном переулке, находилась вилла Берг, местопребывание нашего представительства. Господин Радек заметил, что хотя ничего особенного опасаться нет оснований, но о моем прибытии могло стать известным и меры предосторожности не мешают.

В тот же вечер и на следующее утро я познакомился поближе с важнейшими из моих сотрудников, послушал их доклады о положении дел и познакомился с их оценкой общего положения. Все как военные, так и гражданские лица, были согласны в том, что большевистскому правительству угрожают большие опасности как вне страны, так и внутри ее; что у этого правительства нет ни малейшего стремления к искренней совместной работе с Германией; что хотя оно, при нынешнем тяжелом его положении, старается избежать разрыва с нами и хотело бы даже заручиться по возможности нашей материальной и моральной поддержкой, но,

тем не менее, всякое мероприятие, выгодное для Германии, будет сведено им на нет посредством упорнейшего пассивного сопротивления и под маской самого предупредительного отношения и самых любезных обещаний; что очевидное стремление известных лиц, влиятельных в министерстве иностранных дел, к интимному сотрудничеству с большевистским правительством и к заключению с этой целью дополнительных договоров с ним прямо-таки натравливает против Германии всю небольшую большевистскую Россию, не принося в то же время нам ни малейшей осязательной пользы; и что, наконец, положение германского представительства в Москве, несмотря на усиленную охрану его отрядом латышей, по-прежнему остается серьезно угрожаемым и продуктивная деятельность его невозможна. Предполагаемая присылка из Берлина трехсот человек в гражданском платье была признана со стороны военных членов представительства совершенно недостаточной охраной.

С первым визитом я направился к г-ну Чичерину, народному комиссару иностранных дел, квартира которого помещалась в отеле Метрополь на Театральной площади. Следуя настояниям своих сотрудников, я отправился к нему без предварительного оповещения и притом не в посольском автомобиле, а в небольшом экипаже. Через несколько минут лошадь потеряла подкову. Вместе с сопровождавшим меня доктором Рицлером, неузнанные и не обращая на себя внимания посторонних, мы отправились пешком по опасной Москве, производившей почти такое же впечатление, как и впоследствии революционный Берлин. Г-н Чичерин, производивший впечатление встревоженного и запуганного ученого, с печальными глазами и меланхолическим взглядом, тотчас же заговорил со мной о своих опасениях за Баку, которому угрожает непосредственная опасность со стороны турецких войск, и напомнил о данных г-ну Иоффе обещаниях германского правитель-

ства относительно защиты этого города. На основании моих берлинских сведений я усомнился в намерении Турции направить удар на Баку и заверил г. Чичерина в том, что германским правительством будут приняты все совместимые с союзными силами средства, чтобы сдерживать турок. Относительно дополнительных договоров г. Чичерин сказал, что еще не имеет текста договоров в редакции, принятой в Берлине обеими сторонами, и что по получении окончательно отредактированного проекта договоры должны подвергнуться подробному обсуждению в Совете народных комиссаров прежде, чем он сможет установить свое отношение к ним. Он оживился лишь тогда, когда заговорил о внутреннем положении. Революцию совершили промышленные рабочие, но в России они в численном отношении составляют незначительное меньшинство населения. Поэтому судьба революции зависит от деревни, отношение которой до сих пор было безразличным или даже враждебным. Ввиду этого большевики мобилизуют теперь "деревенскую бедноту" против "деревенских богатеев". Повсюду в деревнях образуются Советы, и к ним переходит вся власть. Право избирать в эти Советы принадлежит, конечно, только неимущим. Таким образом, советскому правительству удастся распространить свою власть и на деревню.

В последующие дни я старался путем интенсивнейшей работы и бесед с моими сотрудниками и другими сведущими лицами, поскольку таковые были доступны мне, составить себе точную картину положения и заложённых в нем возможностей для германской политики. Картина получилась следующая:

Советская Россия переживала тяжкий кризис, внешний и внутренний.

На востоке чехо-словаки и кооперирующие с ними сибиряки достигли угрожающих успехов. Они овладели средним Поволжьем с важными городами Казанью, Сим-

бирском, Самарой, Сызранью и угрожали Саратову. Как раз в это время, по прибытии моем в Москву, с Восточного фронта приходили известия одно тяжелее другого.

На юго-востоке шло наступление казаков под командою Алексеева, Дутова, Деникина и Краснова. Была велика опасность их соединения с чехо-словаками у Царицына, на изгибе Волги, угрожавшая отрезать большевистскую Россию от связи с Каспийским морем и с Баку. С самим Баку связь была прервана, и точных сведений о судьбе этого города не было. По одной версии, в нем захватили власть армяне и призвали англичан, стоявших в Реште, на персидском южном побережье Каспийского моря; по другим же сведениям, турки находились непосредственно у Баку или даже уже заняли его.

На севере войска Антанты продвигались с Мурманского побережья в направлении на Петрозаводск и Петербург. В начале августа англичане заняли Архангельск на Белом море и оттуда направились на Вологду.

Почти на всех фронтах Красная гвардия сражалась плохо. Из Петербурга и Москвы были вызваны латышские полки и в качестве "корсетной пружины" распределены между красногвардейцами. Среди самих латышей усиливалось недовольство большевистским режимом, сильнейшей и надежнейшей опорой которого они до сих пор были. Недовольство зашло так далеко, что видные вожди латышей зондировали почву в германском представительстве, выражая готовность вместе со своими войсками перейти в наше распоряжение, если мы разрешим им возвращение в будущем в оккупированную нами Латвию и вернем их земельную собственность.

Насколько серьезным представлялось положение самому советскому правительству, было ясно из тех

сообщений, которые сделал мне г-н Чичерин по поручению Совета народных комиссаров, явившись вечером 1 августа в представительство, без предварительного оповещения, прямо из совещания в Кремле.

Г-н Чичерин сообщил мне прежде всего о том, что советское правительство, ввиду продвижения войск Антанты от Мурманска и высадки англичан в Архангельске, уже не заинтересовано в отсрочке - пожелание о каковой им было выражено ранее в Берлине - германо-финских операций в Карелии, направленных против Мурманского побережья. Открытый военный союз с нами для него, конечно, невозможен, ввиду общественного мнения; но зато вполне возможна фактическая параллельная акция. Для прикрытия Москвы его правительство намерено сконцентрировать войска у Вологды. Разумеется, условием параллельной акции является незанятие нами Петербурга; лучше было бы не занимать также и Петрозаводска. Фактически смысл этих сообщений сводился к тому, что для спасения Москвы советское правительство вынуждено было просить нас о прикрытии Петербурга. Это было подтверждено 5 августа сообщением г. Чичерина о том, что правительству его приходится вывести войска и из Петрозаводска, для переброски их в Вологду, вследствие чего путь от Мурмана на Петербург открыт и скорейшее вмешательство наше является желательным. Далее он сообщил также о том, что в Вологде объявлено военное положение, ввиду чего должен просить меня о выводе оттуда нашей подкомиссии по делам военнопленных.

Не меньше тревог внушал ему и юго-восток. Его правительство решилось не настаивать на очищении нашими войсками Ростова и Таганрога - требование, на котором до сих пор оно настаивало со всей решительностью - но удовлетвориться предложенным нами свободным пользованием железнодорожными линиями, при-

чем основным условием ставилось, что эти линии будут нами "освобождены от Краснова и Алексева". Оба генерала действуют заодно, несмотря на то, что Алексеев является сторонником Антанты, а Краснов прикидывается германофилом и принимает нашу помощь. На мой вопрос Чичерин, в конце концов, более точно формулировал желанное ему вмешательство с нашей стороны следующими словами: "Активное вмешательство против Алексева, никакой больше помощи Краснову". И здесь тоже, по тем же основаниям, что и на севере, речь не может идти об открытом союзе, но лишь о фактической кооперации. Последняя же является необходимой. Таким образом, большевистское правительство просило о вооруженной интервенции Германии на великорусской территории - яркое доказательство того, как велика была угрожавшая ему опасность.

Не более утешительным для советского правительства было положение и внутри страны.

Коммунистические эксперименты большевистского правительства привели к полной дезорганизации и параличу хозяйственной жизни страны. Создать новый порядок большевикам не удалось. Большая часть промышленных предприятий бездействовала; те же, в которых производство еще продолжалось, могли держаться лишь с помощью больших субсидий от государства. Сельскохозяйственное производство также сильно сократилось. Кроме того, крестьяне давно уже отказывались отдавать свои продукты за обесцененные бумажки. Попытка ввести систематический обмен промышленных продуктов на сельскохозяйственные кончилась крахом. Возникли весьма напряженные отношения между голодающим городом и деревней, припрятавающей свои отнюдь не изобильные съестные припасы. Много раз отправлялись по деревням вооруженные экспедиции промышленных рабочих, чтобы насильственными мерами добыть себе продовольствие. Деревня давала отпор; во

многих местах вспыхивали крестьянские волнения. Большевизация деревни посредством организации "деревенской бедноты" только начиналась.

Старый аппарат управления был разбит; новый еще не построен. Власть московского центрального правительства была ограничена тесными рамками. Местные Советы, образовавшиеся повсюду, действовали, как им хотелось.

В самой Москве господство большевиков также было непрочным. Отношение большевиков к левым социалистам-революционерам было по-прежнему неопределенным. Было очевидно, что советское правительство не решается предпринимать мер против этой группы. Несмотря на мои настояния, правительство бездействовало в преследовании участников покушения на графа Мирбаха, принадлежавших к левым социалистам-революционерам. В Германии распространялись сведения - конечно, из кругов, близких к г-ну Иоффе - будто советское правительство, по требованию Германии, велело арестовать Камкова и Спиридонову, публично призывавших к покушению, и расстрелять их. Граф Гарри Кесслер, находившийся в доверительных отношениях с г-ном Иоффе, еще накануне моего отъезда посетил меня, чтобы сообщить об этом якобы факте как о доказательстве доброй воли советского правительства. Но когда известие это появилось в немецких газетах, то народный комиссариат иностранных дел опубликовал в советской прессе заметку о том, что известие это, конечно, является вымыслом. Но немецкие газеты, под давлением цензуры, не могли опубликовать такого опровержения. Об этой заметке я сообщил в Берлин и просил разъяснений. Министерство иностранных дел ответило мне, что опубликование такой заметки в немецкой прессе никем в Германии воспрещено не было. Когда же я обратился за разъяснениями по поводу этого любопытного явления к г-ну Радеку, то он

признал себя автором заметки, о препятствиях же со стороны немецкой цензуры к появлению опровержения в германских газетах он заключил из того, что на его предложение в Берлин об опровержении известия о расстреле Камкова и Спиридоновой получился ответ, что этому мешают "непреодолимые препятствия". По возвращении в Берлин я узнал от германских журналистов, что сам г-н Иоффе просил не опровергать этого известия и что одна из инстанций министерства иностранных дел тоже считала появление такого опровержения нежелательным! По-видимому, у нас, в интересах скорейшего заключения дополнительных договоров, хотели таким путем ослабить раздражение общественного мнения, вызванное безнаказанностью виновников покушения. Только после моего вмешательства опровержение было опубликовано телеграфным агентством Вольфа.

Но советское правительство не только не предпринимало серьезных шагов против левых социалистов-революционеров, причастных к покушению. В первые же дни моего пребывания в Москве оно вернуло милость и благоволение членам этой партии, еще недавно, непосредственно после покушения и восстания, удаленным из состава "Чрезвычайной комиссии" и прочих ответственных учреждений.

В отношении же всех правее стоящих партий и групп она, напротив, применяла самый жестокий террор. Из газет допускались только органы большевиков и левых социалистов-революционеров. Органы всех прочих направлений преследовались беспощадно. Всякие собрания, устраивавшиеся не большевиками или левыми социалистами-революционерами, воспрещались. "Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией", располагавшая безграничными полномочиями над жизнью и имуществом граждан, свирепствовала прямо-таки ужасным образом над всяким, кто не принадлежал к пар-



тии большевиков или левых социалистов-революционеров. В провинции террором руководили местные Советы. Казнь бывшего царя, в середине июля совершенная по постановлению Екатеринбургского Совета и задним числом одобренная Центральным исполнительным комитетом в Москве, была лишь отдельным случаем в ряду многих и обращала на себя внимание только личностью своей жертвы.

Несмотря на столь невыносимый террор, или, может быть, как раз благодаря ему, умеренные элементы решились на последнюю попытку к объединению своих сил. В тогдашней обстановке, при неустойчивости основного ядра большевистских войск, при глубоком озлоблении голодающих рабочих в городах и крестьянства, угрожаемого насильственными реквизициями в деревнях, казалось возможным, что коалиции буржуазных партий удастся объединить вокруг себя разрозненные элементы порядка.

Само советское правительство находилось в серьезной тревоге. В первые дни августа им приняты были в широком масштабе меры предосторожности на случай контрреволюционного восстания. Вокруг Кремля, резиденции Ленина и Совета народных комиссаров в большинстве квартир верхние этажи были очищены и в них установлены пулеметы. С удвоенным рвением днем и ночью производились облавы на контрреволюционеров — главным образом, на офицеров. Эти меры завершились назначением общей регистрации офицеров на 7 августа. При этом многие тысячи из явившихся были арестованы. Сколько было расстреляно из числа арестованных, об этом мы никогда, конечно, не узнаем.

Советское правительство с полным основанием считало свое положение опасным. В те дни количество надежных войск в Москве было невелико, а настроение населения выражало равнодушие или колебание. Для отражения внешнего врага правительству пришлось от-

править на фронт все без остатка латышские части; моя охрана из латышей, оставление которой мне категорически было обещано, тоже ушла временно на фронт и была заменена красногвардейцами, производившими довольно скверное впечатление. Население терпело тягчайшие лишения от недостатка продовольствия. В Москве царил буквально голод. Все, что вообще прибывало из съестных продуктов, забиралось, по большей части, Красной гвардией для себя. Хлеба вообще нельзя было достать. Хлеб для персонала германского представительства нам приходилось доставлять катером из Ковно.

Сильнейшей опорой большевистского правительства в это критическое время явилось, хоть и бессознательно и непреднамеренно - германское правительство. Уже самый факт заключения мира и возобновления дипломатических отношений с большевиками был воспринят в кругах небольшевистской России как моральная поддержка большевистского режима со стороны Германии. Явное стремление политики Берлина к лояльному сотрудничеству с большевиками в Великороссии; легкость, с которой господа, ведущие переговоры в Берлине с г-ном Иоффе, мирились с ущербом и уничтожением германской собственности и германских предприятий, причиняемым коммунистическими мероприятиями большевиков; легкомыслие, с которым известные германские публицисты пропагандировали мысль о необходимости для Германии путем содействия большевизму окончательно разрушить российское государство и сделать его бессильным на будущее время, - все это создавало и усиливало в России впечатление, неверное само по себе, будто Германия решила сохранить большевистский режим в Великороссии в целях окончательного уничтожения могущества России. В российских кругах эту политику считали вредной даже с точки зрения интересов самой Германии. Ибо неизбежное ее послед-

ствии усматривали в том, что большевизм, в конце концов, обратится против нас самих, - предостережение, которое я в течение короткого пребывания в Москве неоднократно и в самой настойчивой форме слышал со стороны русских. Но с нашей поддержкой большевистского режима в России не могли не считаться как с фактом, тяжесть которого подавляла всякую мысль о самостоятельном восстании против большевиков.

Убийство графа Мирбаха и предпринятые в связи с этим шаги германского представительства вызвали надежду на поворот германской политики. Антибольшевистские, и притом не только реакционные, элементы искали в нас поддержки и одобрения. Г-н Милюков, ранее принадлежавший к непримиримейшим противникам Германии и еще в бытность министром иностранных дел в революционном правительстве князя Львова решительно высказывавшийся против всякого соглашения с Германией, теперь публично выступал за сотрудничество с нами.

Велико было разочарование, когда германское правительство отказалось от требования о вводе в Москву военного батальона германских солдат и удовлетворилось вялым преследованием убийц графа Мирбаха. Это разочарование еще больше усилилось, когда в России стали известны отдельные подробности берлинских переговоров между нашим министерством иностранных дел и г-ном Иоффе. В предполагавшемся отчлении Лифляндии и Эстляндии от российского государства увидели подтверждение того, что Германия ради осуществления своих разрушительных планов относительно России вошла в союз с большевиками. Такое же подтверждение усматривали и в соглашениях экономического и финансового характера, представлявших большевистскому правительству за твердо установленную сумму полную свободу применения его губительных планов отчуждения и социализации также и в сфере

германской собственности и германских прав. Такое впечатление не могло не создаваться еще и потому, что со времени моего отъезда из Берлина г-ну Иоффе удалось провести пункт о том, что уплачиваемая нам общая сумма включает в себя вознаграждение и за те случаи отчуждения, которые вызваны - спешно изданным уже после начала переговоров - законом от 28 июня 1918 года, проведенным в общих чертах, но еще не осуществленным в деталях и в отдельных случаях. Эта уступка, позволившая советскому правительству по собственному усмотрению распорядиться отчуждением германского владения, была сделана вопреки моему настоятельному предостережению, сделанному еще в Берлине и потом вновь подтвержденному телеграфно из Москвы, против такого установления твердой суммы вознаграждения за *будущие* акты отчуждения. В России это было понято прямо-таки как поощрение большевистской политики отчуждения и социализации.

Все в Москве в один голос мне говорили, что заключение дополнительных договоров на намеченной в Берлине основе отбросит всю небольшевистскую Россию на непредвидимо долгое время в стан наших злейших врагов.

Следовало ли нам считаться серьезно с мнением небольшевистской России, или же мы могли третирировать его как *quantité negligible*?

Как раз в то время власть большевиков была до такой очевидности слаба, что нельзя было не считаться с возможностью перемены, и перемены очень близкой. Даже и теперь, после того как вопреки всеобщим ожиданиям и моему личному мнению, составившемуся тогда, эти господа, Ленин и Троцкий, - не в последнем счете благодаря политике, проводившейся в Берлине руководящими лицами - удержались у власти, я не могу считать правильной политику, отождествляющую большевизм с Россией и считающую возможным игнори-

ровать мнение небольшевистской России, хотя бы в данный момент и угнетенной. Но случись эта перемена, и притом в такой обстановке, когда мы еще до ее наступления не порвали наших отношений с большевиками, тогда эта перемена была бы направлена против нас и непосредственно возглавлялась бы Антантой, со всею очевидностью действовавшей именно в этом направлении, чтобы поставить нас лицом к лицу с новым восточным фронтом.

Просьба Чичерина о военной помощи со стороны Германии являлась для меня подтверждением, что большевистской власти угрожает большая опасность. Советское правительство могло решиться на такой шаг только в том случае, если само пришло к убеждению, что без нашей помощи оно погибло.

Следовало ли нам оказать ему эту помощь не только против войск Антанты на севере, но и против казаков на юго-востоке и, таким образом связать свою судьбу с судьбой большевиков? Или же нам следовало предоставить большевиков своей гибели и присоединиться к небольшевистской России, искавшей в нас поддержки? Основания, далеко перевешивавшие все возражения, подсказывали мне второе решение вопроса. Мы должны были покончить, наконец, с двойственностью нашей политики, которая выражалась в том, что в оккупированных нами балтийских провинциях, в Финляндии, на Украине, на Дону и на Кавказе мы с большевиками вели войну, а в Великороссии делали с ними общее дело. Мы не вправе были ради большевиков подвергать опасности наши отношения с будущей Россией. Только в том случае, если бы в самой Великороссии удалось одолеть большевистскую власть, можно было рассчитывать на установление более спокойных отношений на востоке и на освобождение большей части разбросанных там дивизий.

Только в том случае, если бы вместо большевист-

ского режима в России установился новый порядок вещей, который восстановил бы разрушенную большевиками до основания хозяйственную жизнь страны и дал бы возможность - большевиками неизменно саботируемую - завязать торговые отношения с Россией, только в этом случае могли мы надеяться получить некоторое облегчение для нашего хозяйства и для ведения войны, благодаря русским запасам и вспомогательным источникам. Ибо до сих пор, в течение всего того времени, которое отделяло нас от заключения Брестского договора и исчислялось месяцами, вся работа многочисленных экономических экспертов при нашем представительстве и все усилия купцов, приглашенных или допущенных нами, оставалась совершенно бесплодной. Ни одной единственной отправки в Германию продовольственных продуктов, сырья или других товаров какого бы то ни было рода нельзя было сделать. Вся деятельность нашего большого экономического штата сводилась к молотье пустой соломой. Ни в ком не было ни малейшей надежды, что в этом отношении что-либо может измениться при господстве большевиков.

Наконец, к этому нужно добавить и то, что большевики по-прежнему заявляли с откровенностью, едва ли могущей быть превзойденной, - причем заявляли и мне лично - о своих намерениях революционизировать Германию всеми средствами и что у нас, после тех примеров настойчивости и энергии в достижении намеченных целей, которые мы видели со стороны Ленина, Троцкого, Радека и компании, отнюдь не было оснований считать эти слова брошенными на ветер.

Конечно, решившись на разрыв с большевиками, мы, чтобы не очутиться в пустом пространстве, должны были бы заблаговременно вступить в соглашение с теми элементами русского общества, о которых могла идти речь при создании нового порядка.

Разумеется, предпосылкой такого соглашения яв-

лялся не только отказ - и об этом заявляли нам повсюду - от той части дополнительных договоров, которая территориально означала новую ампутацию России, а в экономическом отношении расценивалась как грабеж и препятствие ее хозяйственному развитию, но и принципиальная готовность наша к пересмотру отдельных статей Брест-Литовского мирного договора, о чем мы и должны были заявить совершенно определенно. При этом указывалось на совершенную невозможность сохранения в силе тех пунктов договора, которые предусматривали отчленение от России Эстляндии и Лифляндии, равно как и отделение Украины от Великой России; относительно же Польши, Литвы и Курляндии соглашение было возможно.

Вообще же господствующее мнение было таково, что при резком обострении положения было бы достаточно явного отхода нашего от большевиков, чтобы дать толчок антибольшевистскому движению. В случае необходимости военной демонстрации наших войск в петербургском направлении, почти совершенно очищенном большевистскими отрядами, было бы довольно, чтобы довершить падение большевиков.

О моих впечатлениях и моей точке зрения я сделал доклад министерству иностранных дел и просил полномочий на ведение переговоров с латышами, сибиряками и политическими группами, ищущими соглашения с нами на основе указанных ими необходимых уступок. В то же время мною испрашивалось полномочие на объявление советскому правительству в момент, который я сочту наиболее благоприятным, о переводе нашего представительства в Петербург или другое место поблизости от границы.

В связи с изложенным выше я считал необходимым еще раз испросить категорическое полномочие на перевод нашего представительства из Москвы, несмотря на то, что в этом пункте статс-секретарь иностранных

дел перед моим отъездом из Берлина предоставил мне полную свободу действий. Ибо тогда речь о переводе представительства шла исключительно под углом зрения личной безопасности персонала миссии, между тем как теперь политическая цель такого шага - демонстративный отход от большевиков, - которую в Берлине до сих пор старались пропускать мимо ушей, получая из московской миссии предложения о переводе, снова выдвигалась на первый план.

Просимого разрешения на ведение переговоров министерство иностранных дел мне не дало, а наоборот, поставило отныне своей целью ускорение соглашения о дополнительных переговорах с большевиками. Далее, министерство снова подтвердило свое согласие на оставление Москвы мною и персоналом представительства в случае, если по соображениям безопасности я найду это нужным.

Я ответил, что, по моему мнению, и дополнительные договоры, и Брестский мирный договор обречены стать ненужным хламом в случае политики, предуказанной Берлином. Далее я указал на то, что оставление Москвы мною и персоналом миссии, даже мотивированное соображениями безопасности, все равно произведет впечатление нашего отхода от большевиков, ввиду чего я не оставлю Москвы только по мотивам личной безопасности.

Мой ответ не изменил точки зрения министерства иностранных дел. Что же касается вопроса об уходе из Москвы, то мне было прислано формальное распоряжение об оставлении Москвы и переводе миссии в более безопасное место, если мне или персоналу миссии будет угрожать опасность. И, наконец, 5 августа мною было получено телеграфное предписание немедленно прибыть в Берлин для устного доклада, передав все дела доктору Рицлеру, в отношении которого сохранялось в силе упомянутое выше телеграфное распоряже-



ние касательно оставления Москвы или дальнейшего пребывания в ней. [...]

Моим отозванием в Берлин решался вопрос о моей личной безопасности. Но на мне оставалась категорически возложенная на меня министерством ответственность за безопасность многочисленного персонала миссии. В связи с переводом миссии из Москвы меня могли упрекнуть в том, что при решении вопросов большой политической важности я поддавался влиянию порывов личной безопасности. Уже одна эта мысль побуждала меня сопротивляться настояниям своих сотрудников как военных, так и гражданских, равно как и советам моего болгарского коллеги, хорошо знакомого с московскими условиями, г-на Чапрачикова - откладывать переезд, несмотря на то, что положение сильно ухудшилось, как это видно из нижеследующего обзора событий дня.

В понедельник, 29 июля, в день моего прибытия в Москву, на публичном собрании по предложению ЦК партии левых социалистов-революционеров была принята резолюция, одобрявшая убийство графа Мирбаха и призывавшая следовать этому примеру. На следующий день эта резолюция была опубликована в московском органе левых социалистов-революционеров "Знамя борьбы".

В среду, 31 июля, рано утром мною было получено известие об убийстве в Киеве генерал-фельдмаршала фон Эйхгорна. Известие дополнялось сообщением о том, что убийца, схваченный на месте, заявил, что убийство совершено им по постановлению московского комитета партии левых социалистов-революционеров.

В тот же день пополудни я был у Чичерина, чтобы поставить ему на вид неслыханную резолюцию левых социалистов-революционеров, сообщить о заявлении убийцы Эйхгорна и указать на связанные с этим последствия. По поводу смерти генерал-фельдмаршала г-н

Чичерин формально выразил мне сожаление; в отношении же всего остального он только пожал плечами: Россия-де - революционное государство, пользующееся свободой печати и собраний, и у него, Чичерина, нет средств против резолюций левых социалистов-революционеров. При этом он не преминул заметить, что наличность большого немецкого гарнизона не спасла генерал-фельдмаршала фон Эйхгорна и что отсюда для меня должно быть ясно, какую ценность может иметь тот батальон германских солдат, который первоначально был потребован нами для охраны германской миссии в Москве.

В среду же в течение первой половины дня я посетил моего турецкого коллегу Галиб-Капаль-бея и обещал провести у него вечер в тесном кругу. По его предложению мы условились держать в тайне наше вечернее свидание. Незадолго до условленного часа меня с русской стороны предупредили о том, что о предполагаемом мною визите к турецкому посланнику стало известно и что по дороге на меня совершенно будет покушение. Окружающие настоятельно просили меня отнестись к этому предупреждению со всей серьезностью. Я возражал, но решил подчиниться настояниям друзей и остался дома. Едва пробило одиннадцать часов, как раздались ружейные выстрелы и забили тревогу: то была попытка нападения на часового-латыша, дежурившего у садовой калитки нашего здания. Приблизительно час спустя снова забили тревогу по той же причине.

В последующие дни участились сообщения о готовящемся покушении на меня лично и предполагаемом нападении на здание представительства. Советское правительство не только усилило состав охраны - правда, сомнительного вида красноармейцами, сменившими латышей, отправленных на фронт, - но и заботливо устраняло всякий повод для меня оставлять здание

посольства по служебным делам. Г-н Чичерин посещал меня каждый раз, как только имелся повод для переговоров, не дожидаясь, вопреки установленному обычаю, моего визита к нему. На мое указание на то, что это меня стесняет, он возразил: "Предостережений, мне кажется, у вас достаточно". При первом моем визите в Кремль было условлено, что вручение моих верительных грамот председателю Исполнительного комитета Советов Свердлову состоится в присутствии всего состава народных комиссаров. Церемония была, наконец, назначена на понедельник 5 августа. Но в последний момент г-н Чичерин попросил меня еще повременить с этим, так как советское правительство не рискует взять на себя ответственность за благополучный исход моего путешествия из квартиры в Кремль! Положение становилось недостойным и невозможным.

Оно еще более обострилось благодаря тому, что "Знамя борьбы" жирным шрифтом на своих страницах безвозбранно прославляло убийство фельдмаршала фон Эйхгорна как подвиг московских левых социалистических революционеров. Я решительно протестовал перед г-ном Чичериным против этого, предприняв такой шаг по собственной инициативе и под свою ответственность, так как из Берлина, несмотря на мои доклады, не поступало никаких распоряжений предпринять что бы то ни было по поводу кровавого злодеяния, имевшего связь с Москвой и так открыто прославляемого. В 1914 году убийство австрийского эрцгерцога имело последствием объявление войны, теперь же убийцы германского фельдмаршала могли безнаказанно похвалиться своим преступлением!

Получив предложение выехать в Берлин, я не мог предоставить моему преемнику решение вопроса о переводе нашего дипломатического представительства в более безопасное место - переводе, необходимом по единодушному мнению всех, с кем я советовался об

этом. Я был бы в моих собственных глазах жалким трусом, если бы не взял на себя ответственности за это решение как раз потому, что с моим отъездом из Москвы отпадал вопрос о моей личной безопасности. [...]

Заблаговременно увести многочисленный персонал нашего представительства из московской мышеловки, где он в случае серьезных осложнений обречен был на участь заложников у большевиков, я, разумеется, считал своей обязанностью не только ввиду данных мне на этот счет категорических указаний министерства иностранных дел, но и потому, что я, таким образом, обеспечивал моему правительству свободу действий на случай тех или иных его решений.

Впоследствии неоднократно приписывавшаяся мне мысль произвести "государственный переворот" и разрывом с советским правительством предопределить решения моего правительства, была мне совершенно чужда. Я поэтому, в добром согласии с г. Чичериным, сошелся с ним на том, что миссия наша должна быть перенесена в Петербург, ввиду очевидно невозможной обстановки, создавшейся для германского представителя в Москве. Я сослался также и на тот факт, что все посланники и представители нейтральных держав находятся по-прежнему в Петербурге. Я, далее, условился с ним и о необходимых мероприятиях для облегчения деловых сношений между Петербургом и Москвой. Мое сообщение не показалось неожиданным г-ну Чичерину; он выразил лишь некоторое сомнение в том, представляет ли Петербург в смысле безопасности большие гарантии, нежели Москва. В этом отношении он, пожалуй, был прав, поскольку речь шла о возможности покушений на отдельных лиц. Но для персонала миссии переезд в Петербург, находившийся на расстоянии одного часа автомобильной езды от финляндской и эстляндской границы, представлял собой несомненное облегчение

положения по сравнению с Москвой, отделенной от германской военной границы расстоянием в шестьсот километров.

Вечером 6 августа я выехал с курьерским поездом из Москвы. Мне был предоставлен отдельный вагон и отряд красногвардейцев для охраны. Ехали мы не без инцидентов. 7 августа, пополудни, поезд наш имел долгую стоянку под Смоленском, на станции Ярцево. Вдруг железнодорожники начали отцеплять находившийся в конце длинного поезда мой вагон, вагон с моей охраной и вагон для курьеров. На мой запрос начальник станции ответил, что из Смоленска имеется предписание задержать наши вагоны. Не получив ответа, на каком основании дан такой приказ, я стал протестовать. Ко мне присоединился комендант охраны и заявил, что силой не допустит отцепки вагонов. После длительных переговоров и телеграфного запроса в Москву начальник станции получил телеграмму от народного комиссара путей сообщения с распоряжением отцепить вагоны, вернуть в Вязьму и там ожидать дальнейших распоряжений. Я настоял на том, чтобы по железнодорожному телеграфу меня соединили с народным комиссаром иностранных дел. После долгого ожидания у аппарата появился заместитель Чичерина, г-н Карахан, и сообщил: приказ о возвращении в Вязьму отдан с согласия представителя германской миссии ввиду того, что в Орше, на пограничной станции, вспыхнули военные волнения, вследствие чего дальнейшее следование не представляется безопасным; в Вязьме меня будет ждать г. Радек, с которым я могу условиться о дальнейшем.

Действительно, русский гарнизон Орши, получив приказ об отправке на чехословацкий фронт, взбунтовался, частью перебив, частью прогнав большевистских начальников, объявил об образовании социально-революционной республики и сообщил пограничным

германским войскам, что считает себя в состоянии войны с Германией. Для восстановления порядка советским правительством тотчас же были командированы войска из Смоленска и Витебска. Сведений о дальнейшем развитии событий еще не было, как нам сообщили. Я требовал от г. Радека, чтобы нас все же доставили в Оршу. По нашем прибытии в город уже не было взбунтовавшихся войск, которые окопались на соседней высоте. На немецкой стороне были обеспокоены моей судьбой и уже сделаны были приготовления к тому, чтобы в случае необходимости вызволить нас силой.

Прибыв 10 августа утром в Берлин, я, к немалому изумлению своему, узнал, что статс-секретарь иностранных дел, не дожидаясь моего прибытия, отдал распоряжение о дальнейшем переводе нашего представительства из Петербурга в Псков, находившийся за германской военной границей и занятый нашими войсками. Это распоряжение было вызвано тем, что, по мнению статс-секретаря, Петербург не представлял большей гарантии безопасности, чем Москва. Явившись к статс-секретарю, я узнал, что, ввиду нездоровья, он может принять меня только на следующий день в 5 часов пополудни. В министерстве мне сказали, что статс-секретарь предполагает поехать в тот же вечер в Спа на доклад к императору и рейхсканцлеру. После этого я сообщил статс-секретарю, что предполагаю тоже отправиться в Спа.

Я узнал далее, что дополнительные договоры уже готовы и что г. Криге намерен в тот же день, пополудни, парафировать их с г-ном Иоффе. Уход из Москвы германского представительства, очевидно, сильно обеспокоил русскую делегацию, решившую во что бы то ни стало добиться немедленного принятия дополнительных договоров и, таким образом, заново укрепить видимо пошатнувшуюся опору в германском правительст-

ве. Г-н Иоффе намеревался тотчас после парафирования отвезти договоры в Москву, чтобы там добиться немедленного принятия их без всяких изменений. Точно так же и советское правительство в Москве, отнесшееся вначале весьма спокойно к уходу из Москвы германского представительства, стало испытывать сильнейшую тревогу за сохранение тылового прикрытия, каким была для него политика германского правительства. Оно поэтому решилось отправить г. Радека с особой миссией в Берлин, чтобы устранить всякое недоразумение, какое только могло бы там возникнуть в связи с принятием договоров. Когда же г. Радек по дороге в Берлин встретился в Орше с г-ном Иоффе, везшим в своем кармане парафированные договоры, то все тревоги его были рассеяны и он мог спокойно вернуться в Москву вместе с г. Иоффе. Мои протесты против парафирования договоров прежде, чем мне была дана возможность защитить свою точку зрения, оказались напрасны. Договоры действительно были парафированы 10 августа.

Равным образом бесплодна была и моя беседа с господином фон Гинце на следующий день. Статс-секретарь остался при своем мнении, что дополнительные договоры должны быть приняты во всяком случае и что мы должны сохранять отношения с большевиками. Это "сохранение отношений с большевиками" шло так далеко, что министерство иностранных дел воспрещало опубликование отчетов немецких корреспондентов о положении дел в России и о подлинной физиономии большевизма.

Столь же мало удалось мне отстаивать мою точку зрения и в Ставке главного командования, несмотря на то, что генерал Людендорф заявил, что при общем положении вещей, сложившемся в данный момент, он никакого значения не придает больше ни признанию дополнительных договоров вообще, ни отделению Эстляндии и

Лифляндии в особенности. Что же касается канцлера, то он ответ свой отложил до 26 августа - предполагаемого дня его возвращения в Берлин. Я совершенно недвусмысленно заявил о том, что поскольку, вне сомнения, вопрос о принятии того или иного решения уже предрешен, мне ничего не остается, как подать в отставку. У императора я просил разрешения высказать свои соображения в письменной форме. Свою записку 20 августа я послал рейхсканцлеру с просьбой передать ее кайзеру. Я, однако, имею основание полагать, что Его Величеству она представлена так никогда и не была.

Рейхсканцлер вернулся в Берлин только 29 августа. За день до того (27 августа. - Ю. Ф.) были подписаны парафированные 10 августа договоры. 30 августа я передал канцлеру подробно мотивированное прошение об отставке. В нем я снова подчеркнул те опасности для будущих отношений наших с Россией и для нашей собственной союзной системы, какие заложены в важнейших пунктах дополнительных договоров, подписанных вопреки моим настоятельным предостережениям. Я обосновал далее невозможность успешного сотрудничества с большевистской властью, сотрудничества, дающего нам действительную помощь и облегчение нашего положения, и добавил:

”Я предвижу наступление обратных влияний этой политики не только вовсе, но и внутри страны. Систематическое подкрашивание в немецкой печати большевистского режима, в своих неистовствах едва ли превзойденного якобинцами, отношение к этому режиму на равной ноге, солидаризация с ним или, по крайней мере, видимость такой солидаризации вплоть до того, что не принимается никаких мер против вялого преследования большевистским правительством, вернее, отсутствия всякого преследования им групп и лиц, причастных к убийству графа Мирбаха и фельдмаршала Эйх-



горна, - все это не может не иметь опасного влияния на душу германского народа и на внутривластные отношения в нашей собственной стране”.

Принятие моей отставки, прошение о которой было представлено 30 августа, последовало лишь 22 сентября. На основании некоторых вполне определенных намеков у меня создалось впечатление, что в интересах целесообразности меня решили держать как можно дольше под гнетом ”параграфа Арнима”, дабы таким образом лишить меня возможности открытой борьбы с политикой правительства, которую я считал роковой. Не было удовлетворено и мое желание, чтобы в официальном сообщении о моей отставке было открыто указано - как на ее причину - на непримиримые разногласия в вопросах нашей политики на Востоке.

Одновременно с этим Министерство иностранных дел сообщило в печать и лидерам Рейхстага такого рода информации о событиях в Москве, которые освещали в ложном свете мое поведение. В беседе с журналистами статс-секретарь иностранных дел между прочим сказал, что будто бы я хотел подбить его на ”измену” большевистскому правительству! В целом ряде газет, открыто ссылавшихся на информацию надлежащего ведомства, мне был брошен упрек в оставлении московских ”окопов” по соображениям личной безопасности. Крылатое словцо было с удовольствием подхвачено и теми органами печати, которые сохранили доброжелательное отношение ко мне еще со времен прежней моей деятельности. Личные нападки меня не трогали; к ним я был уже нечувствителен. Но тяжело было сознание надвигающейся роковой беды, предотвратить которую я не мог, несмотря на все мои предостережения.

Так кончилась для меня моя московская миссия - не только глубоким разочарованием личного характера, но и гнетущим чувством и сознанием того, что боги хотят нашей гибели.

## Генерал Власов, каким он был

Недавно в издательстве Кембриджского университета вышла книга Екатерины Андреевой "Власов и русское освободительное движение"<sup>\*</sup>. Книга эта написана по-английски, поэтому, к сожалению, малодоступна русскоязычным читателям. Говорю "к сожалению", так как среди довольно обширной литературы о генерале Власове на Западе мало русских публикаций.

Если фигура самого А. А. Власова за последнее время перестала быть столь однозначно-одиозной даже в СССР, то по отношению к его армии дело мало изменилось. Клеймо "власовец" для советской пропаганды равносильно клейму "предатель".

Что представляла собой вообще Русская Освободительная Армия и самый Комитет Освобождения Народов России, возглавлявшийся генералом Власовым? На этот счет существуют разные мнения. В издательском предисловии к книге Андреевой говорится, что власовское Освободительное движение было поддержано и поощряемо теми германскими военными, которые не разделяли гитлеровскую политику по отношению к народам СССР и репрессии, скоро вызвавшие сопротивление народных масс, поначалу встречавших немцев как "освободителей от большевизма и Сталина".

Освободительное движение, таким образом, включало в себя как русских, так и немцев, но цели их были различны. Надежды Власова и его соратников связывались с борьбой за будущую свободную Россию и демократические изменения в ней; что же касается немецкого командования, то для них идеи Власова являлись лишь альтернативой неразумной политики на Востоке. Потом уже, в самом конце войны, Верховное командование

---

<sup>\*</sup> Vlasov and the Russian Liberation Movement, by Catherine Andreyev. Cambridge University Press, 1987. 251 pp. Русский перевод готовится к печати в изд. OPI, London.

вермахта было вынуждено искать помощи Русской Освободительной Армии, как последний шанс, могущий если не спасти Германию от поражения, то хотя бы оттянуть его.

Понятно, что при такой ситуации союз Власова с немцами не мог быть ни слишком прочным, ни долговечным. В военном отношении Русская Освободительная Армия, при всех своих достоинствах, конечно, не могла противостоять миллионному войску Сталина, поддерживаемого западными союзниками. Хотя надо признать, что, по свидетельствам очевидцев, и в 44-м, и в 45-м годах, едва ли не у порога Берлина, к Власову переходило большое число советских солдат и офицеров. Это показывает, что идея борьбы со сталинизмом никогда окончательно не умирала в России.

Идеям Освободительного Движения, главным образом, и посвящена книга Е. Андреевой. Она начинается с описания жизненного пути А. А. Власова как командира Красной армии, сына крестьянина, внука крепостного, рядового участника гражданской войны, добившегося затем высших командных должностей и генеральского звания, военного советника в Китае, кавалера ордена Ленина, одного из лучших советских военачальников перед Второй мировой войной. (Остается загадкой, как он уцелел в период чистки армии - тем более, что поговаривали о его дружбе с Тухачевским...) И тем более удивительно, что такой человек, воспитанный советским строем и, казалось бы, всецело преданный этому строю, вдруг стал идейным врагом коммунизма!

Было бы наивным предполагать, что взгляды Власова коренным образом переменялись в немецком плену. Скорее наоборот, он попал в плен уже подготовленным к той миссии, которую добровольно взвалил на свои плечи. Но, возможно, повернись военная ситуация к лету 1942 года иначе - судьба Власова и его сподвижников сложилась бы совсем по-другому.

До этого времени, как показывает книга Екатерины Андреевой, путь Власова - это путь честного русского офицера, находившегося, как и многие другие его коллеги, в скрытой оппозиции к сталинскому режиму, хотя и вынужденного этот режим защищать. Альтернативы у них не было. Если бы не началась война с Гитлером, недовольство высших армейских кругов могло превратиться в заговор, даже в мятеж (недаром Сталин всегда не доверял военным). Но война отодвинула все остальное на задний план. Сражаясь за родину, армия сражалась за Сталина - эти два понятия пропаганда сливала в целое, общее и неразрывное. И все же нена-

висть к существующему строю и надежды на перемену к лучшему с приходом немцев были так сильны в 41-м году, что ни народ, ни армия воевать не хотели. Такой массовой сдачи в плен, как на русском фронте летом 41-го года, еще не знала история. По немецким сведениям, за первые месяцы войны, в плен было взято, или сдалось добровольно, свыше трех миллионов советских военнослужащих! Достаточно сравнить эту ситуацию со всеобщим патриотическим подъемом начала Первой мировой войны, чтобы понять, как деградировала Россия под большевиками.

Генерал-лейтенант Власов относился как раз к тем немногим военным, чьи успешные действия помогли замедлить победоносное продвижение немцев на восток. Когда разразилась война, пишет Е. Андреева, он командовал Четвертым механизированным корпусом в составе Украинского фронта (правильнее было бы сказать - "в составе войск Южного направления". - В. Г.). Против него находились превосходящие силы группы армий "Юг" фельдмаршала фон Рунштедта. Упорная оборона Львова и Киева была организована Власовым. Эта оборона была заранее обречена на провал по вине высшего руководства, но Власов сумел вывести свои войска из окружения, несмотря на то, что связь с командованием Киевского военного округа была потеряна. Приказ командования об отходе был получен всеми армиями, кроме 37-й, которой к тому времени руководил генерал Власов. Она продолжала сражаться за Киев вплоть до 19 сентября, когда нависла смертельная угроза с флангов. В советской истории Отечественной войны упоминается 37-я армия, но не упоминается ее командующий. Это не удивительно: любая положительная оценка его в СССР запрещена.

В ноябре 41-го Власов был вызван в Москву для обороны ее от надвигающихся немецких танков. Он был принят Сталиным (впервые), и Верховный Главнокомандующий спросил, что он думает о сложившемся положении. Власов ответил, что сейчас, когда противник реально угрожает Москве, мобилизация старых рабочих и дивизий народного ополчения (с одной винтовкой на двоих), без поддержки регулярных воинских частей - дело бессмысленное. Он настаивал на скорейшей переброске под Москву сибирских и дальневосточных резервов. Сталин якобы заметил на это, что "всякий сможет защитить столицу, если имеет резервы", но в конце концов усилил армию Власова 15-ю танками. Это было все, чем Ставка располагала тогда. Так утверждают, но проверить трудно.

Е. Андреева приводит слова профессора Дж. Эриксона, специалиста по советской истории о том, что "Власов был одним из любимых военачальников Сталина", всегда назначавшимся на самые важные участки фронта. В декабре 41-го он командовал 20-й армией, успешно защищавшей Москву. Зимнее наступление советских войск на Солнечногорск и Волоколамск осуществлялось 16-й армией Рокоссовского и 20-й армией Власова. При этом Рокоссовский упоминается во всех энциклопедиях и справочниках, а Власов опять "забыт"...

Любопытно, что перед взятием Волоколамска 16 декабря 1941-го Власов дал интервью двум иностранным журналистам, американцу Л. Лейзеру и французцу Иву Гури. Они отметили большую популярность Власова у солдат, его способность быстро ориентироваться во фронтовой обстановке, оптимистичный взгляд на вещи. За спиной у этого сравнительно молодого генерала (Власов родился в 1900 году) было уже 23 года военной службы, и он, по словам журналистов, мыслил "стратегическими категориями". Он упоминал Наполеона и Петра Великого как выдающихся стратегов-полководцев. Из современников он назвал имена Гудериана и Шарля де Голля. По словам Гури, генерал Власов подчеркивал роль Сталина как своего непосредственного руководителя, военного и политического. Он также выразил уверенность, что фашизм будет уничтожен русскими.

13 декабря 1941 года Совинформбюро опубликовало официальное сообщение о разгроме немцев под Москвой и фотографии тех полководцев, которые внесли главный вклад в эту первую победу. Среди них был и Власов. Через десять дней он получил орден Красного знамени вместе с повышением в чине - стал генерал-лейтенантом.

Екатерина Андреева отмечает, что сам факт интервью Власова иностранным журналистам (такое во время войны случалось не часто) говорит о полном доверии к нему высшего руководства. Вероятно, это так и было, но никогда нельзя смешивать руководство партии и государства с лично Сталиным. Он не доверял никому, а с тех пор, как его обманул "лучший друг" Адольф Гитлер, - особенно. К военным он вообще всегда относился с подозрением и неприязнью. Все лучшие советские деятели армии и флота пали жертвами Сталина, опасавшегося появления "нового Бонапарта". Имена их, героев гражданской войны и революции, достаточно широко известны - Троцкий, Фрунзе, Миронов, Тухачевский, Блюхер, Егоров, Якир, Гамарник, Уборевич, Кузнецов и сотни других, меньшего ранга... Новое по-

коление тоже не избегло своей участи: генерал Рокоссовский, например, был захвачен волной арестов и, не начнишь война, вероятно, погиб бы в лагере или в ссылке. Уже летом 41-го несколько десятков генералов, комбригов и комдивов, отступивших перед превосходящими силами противника, были обвинены в "измене" и расстреляны по приказу Сталина. Среди них находился и герой войны в Испании, командующий Западным Военным Округом генерал армии Павлов. Конечно, Власов не мог этого не знать, и не питал никаких иллюзий по поводу отношений к нему верховного владыки.

Разрыв Власова со Сталиным не может быть назван и "неблагодарностью", ни "мстью", ни простым инстинктом самосохранения. Переходя на сторону немцев, он действовал, вероятно, побуждаемый сложными импульсами, подобно князю Курбскому, за четыреста лет до него бежавшему к литовцам от царя Ивана Грозного. Ни Курбский, ни Власов не были опальниками, ни придворными лакеями - оба отличались слишком независимым характером. Как мыслящие люди, они хорошо понимали, куда ведет неограниченная тирания.

В условиях войны у Власова не было иного пути бросить вызов Сталину. Как военный человек, он мог бороться со сталинизмом только военными средствами, только под знаменами недавних врагов.

...В марте 42-го Власов был назначен заместителем командующего на Волховский фронт. Его непосредственный начальник генерал Мерецков упоминает Власова в своих мемуарах как "человека с трудным характером, несговорчивого и амбициозного, и недостаточно инициативного". Андреева пишет, что эта характеристика могла быть вставлена позднее, по прямому указанию властей, запрещавших упоминания о Власове в положительном смысле. Но, добавляет она, такая характеристика могла отражать и существовавшие трения между Мерецковым и его заместителем. Позднее Власова утвердили на должность командующего Второй ударной армией в составе того же фронта. Двенадцатого июля 42-го года, после долгих тяжелых боев, Вторая ударная была разгромлена немцами и взята в кольцо. Советские историки объясняют это поражение как результат "трусости и предательства" Власова. Однако сам Власов сдался в плен лишь тогда, когда был окружен со всем своим штабом и дальнейшее сопротивление потеряло всякий смысл. О "трусости" же Власова говорит тот факт, приводимый Штрик-Штрикфельдтом, что когда, по указанию Ставки, за командующим Второй ударной армии был прислан самолет, чтобы вывезти его из

окружения, он отказался лететь, заявив, что разделит судьбу своих солдат. Впрочем, Сталин мог вызвать его не из желания спасти, а из намерения судить как изменника.

Первая половина 42-го года была вообще охарактеризована провалами и неудачами для Красной армии на всех фронтах. Ситуация на Волховском фронте сложилась особенно тяжелой.

После разгрома Второй ударной армии Власов, с немногими оставшимися в живых подчиненными, около трех недель блуждал по лесам и болотам, решаясь, должно быть, на самый важный шаг в своей жизни. Это, пишет Е. Андреева, противоречит официальной советской версии о том, что он сдался немцам сразу же, и даже (что совсем уже нелепо) имел контакты с руководством вермахта еще со времен боев за Киев. По мнению Андреевой, именно эти три недели были критическими в жизни Власова, еще недавно выдающегося советского военачальника, теперь же - генерала без армии, решившегося на сотрудничество с врагами. Но кто были его враги?..

Как и всякий русский, Власов мог не любить немцев, но он отдавал им должное. Как военный-профессионал, он понимал, насколько гитлеровская армия превосходит сталинскую. В то же время он видел - хотя бы на примере собственных успехов под Москвой - что русский солдат при желании умеет воевать не хуже немца. Будет ли он воевать за новую Россию; не за Сталина, не за коммунизм, а за счастливую жизнь, свободу и освобождение от большевистского террора? Этот вопрос, очевидно, много раз задавал себе Власов перед тем как перейти на другую сторону.

Если бы политика немцев на Востоке (Ostpolitik) соответствовала их лозунгам спасения народов России, - Гитлер одержал бы полную победу за первые три месяца войны, как и планировал. Но его директивы превращать славян в рабов и колонизировать их земли, его призывы к тотальной жестокости оказались губительными прежде всего для самих немцев. Считая русских варварами и "недочеловеками", Гитлер не понял простой истины: этих варваров сплотит именно тот патриотизм, о котором они уже, казалось бы, забыли под властью "еврейского большевизма".

Ставку на патриотические чувства сделал Сталин - и выиграл уже проигранную было войну. Но тогда, летом 42-го, у многих еще сохранялись иллюзии, что немецкое нашествие покончит со сталинской тиранией,

сохранив при этом Россию как государство, пусть и не в прежних границах.

Андреева упоминает генерал-лейтенанта М. Лукина, командующего 19-й армией, который был взят в плен осенью 41-го под Вязьмой и тоже, подобно Власову, пытался организовать антисталинское движение. Но Лукин, как видно, не доверял немцам полностью, и отказывался от всяческих союзов с ними, пока не получит людей и вооружение. Он также требовал признания Германией полной автономии будущей России - на что немецкое верховное командование, не говоря уже о Гитлере, не могло согласиться.

Власов, согласно утверждению Андреевой, ступил на путь сотрудничества с немцами и оппозиции сталинскому режиму сразу же после сдачи в плен. Однако измена и оппозиция - вещи разные. Если согласиться, что Власов предал доверие Верховного тирана, то нужно помнить, сколько раз сам Верховный предавал доверявших и веривших ему беззаветно соратников. Это было его политикой, и, несомненно, генерал Власов, как и остальные, рано или поздно пал бы жертвой этой иезуитской политики.

Он предпочел открытую борьбу против Сталина пассивному ожиданию. В немецком Рейхе, среди высшего военного руководства, дипломатов и государственных деятелей нашлись трезво мыслящие люди, которые поддерживали Власова в его создании новой Русской Освободительной Армии. Особенно много таких людей было среди среднего офицерского состава вермахта, воевавших на Восточном фронте. Они не питали вражды и ненависти к России. С их помощью уже в конце 42-го года удалось добиться придания вспомогательным частям, сформированным из бывших русских военнопленных, статуса союзников по общей борьбе с большевизмом. Тогда же был образован так называемый "Смоленский комитет", прообраз будущего Комитета Освобождения Народов России.

Вот что писал Власов в своем "Открытом письме" всем русским людям:

"...Ни Сталин, ни большевики не борются за Россию. Только в рядах антибольшевистского движения создается действительно наша Родина. Дело русских, их долг - борьба против Сталина за мир, за новую Россию. Россия - наша! Прошлое русского народа - наше! Будущее русского народа - тоже наше!

Многочисленный русский народ всегда находил в себе силы для борьбы за свое будущее, за свою национальную независимость. Так и сейчас не погибнет наш



народ, так и сейчас он найдет в себе силы, чтобы в минуту тяжелых бедствий объединиться и свергнуть ненавистное иго, построить новое государство, в котором он найдет свое счастье!"

Это слова, конечно, не предателя, а патриота, может быть, даже слишком горячего патриота - не потому ли немцы все медлили с вооружением его армии?.. Власов, возможно, был слабым политиком, но способным полководцем, искренне любящим свою родину и свой народ. Самый факт публикации его "Открытого письма" и его широкая популярность на оккупированных немцами советских территориях подтверждают это. По Андреевой, письмо было напечатано в марте 43-го, но есть сведения, что списки его появились ранее.

О том, что Власов не питал никаких иллюзий относительно сталинской тактики, красноречиво говорит фраза из его воззвания: "Сегодня большевизм говорит о Руси и о русском только для того, чтобы с помощью русских добиться победы, а завтра еще больше закабалить русский народ и заставить его и дальше служить чуждым ему интересам".

Как видим, ни о каком "духовном перерождении" Власова в немецком плену не может идти речь. Плен и разгром его армии, фактически обреченной на гибель, только ускорили его решение выступить против Сталина - решение, к которому внутренне он был давно готов.

Позицию Власова разделяли многие генералы и высшие офицеры Красной армии, некоторые еще с дореволюционным стажем. Кроме уже упоминавшегося командующего 19-й армией Лукина, это были: М. Шаповалов, Ф. Ершаков (командарм 22), С. Огурцов, П. Абрамидзе, В. Боярский, Ю. Музыченко, Буняченко, Трухин, Меандров и сотни других командиров более низкого ранга. У них, собственно, и не было другого выбора - если рядовых, попавших в плен, а затем бежавших оттуда, после строгой проверки могли еще отправить обратно на фронт, то для генерала, сдавшегося врагу, помилования быть не могло. По мнению Андреевой, Власов прекрасно понимал, что его ждет по возвращении: расстрел или, в лучшем случае, ссылка.

Очевидно, что у Власова было в Красной армии больше единомышленников, которые по разным причинам не присоединились к его движению, хотя втайне сочувствовали ему. По мнению О. Красовского, лично знавшего многих их власовского окружения, сам Власов упоминал о некоем Союзе русских офицеров, будто бы существовавшем в России (СССР) и готовившем военный переворот. Это был период 42-43 годов, один из наибо-

лее драматичных периодов советской истории. "Я дружил с большинством генералов, которые сейчас занимают командные должности, - говорил Власов, - и я знаю совершенно определенно, как они относятся к советской власти. И генералам этим известно, что я это знаю. Нам не нужно объяснять что-то друг другу". Но в условиях тотальной слежки за всеми и каждым в армии, установившейся с конца 30-х годов, - политотделы, особые отделы, затем СМЕРШ - в условиях страха и доносительства, когда своих боялись больше, чем чужих, шансов на успех переворота было немного...

Мысль о том, что даже будущий маршал и герой войны К. К. Рокоссовский придерживался взглядов Власова, который был с ним в дружеских отношениях, называл его "Костей" - находится и в книге Андреевой. Но с лета 1942 Власов потерял связь с Рокоссовским. Возможно, что сталинская секретная полиция что-то пронюхала о военном заговоре и следила за его участниками на фронтах. По крайней мере, Власов получил предостережение. Будучи уже командующим 2-й Ударной армией, пишет Андреева, он прочел в письме жены короткую фразу: "Гости были". Это значит, что сотрудники НКВД приходили к ним на квартиру.

Такой визит вряд ли мог быть случайным. Власов наверняка понял, что он уже на подозрении у Сталина, и любая оплошность может быть вменена ему в злой умысел и расценена как предательство. По словам Андреевой, он вспоминал, что, блуждая в лесах, заново переосмыслил судьбы страны и свою собственную судьбу. Власов часто сравнивал себя с генералом Самсоновым, который в 1914 году также командовал 2-й армией, и после августовского разгрома пустил себе пулю в лоб. Мысли о самоубийстве приходили и Власову. Но, как говорил он впоследствии, "Самсонову по крайней мере было за что умирать. Мне же казалось глупым кончать с собой из-за чужих ошибок и злой воли, приведшей страну к краю гибели".

Власов, утверждает Андреева, не искал немцев, чтобы сдать им, но и не уклонялся от встречи с ними. Однако, решив отныне больше не сражаться за Сталина, он автоматически должен был начать сражаться против Сталина. Это было бы легко, если бы в глазах всего мира Сталин не олицетворял весь советский народ и всю Россию...

Тепло принятый генералом Линдемманом, командующим немецкой 18-й армией, Власов через несколько дней был направлен под Винницу, в "спецлагерь" для высших офицеров. Там оказалось около ста военноплен-

ных, среди которых Власов нашел многих знакомых. С одним из них, полковником В. Боярским, они составили письмо германскому правительству, где просили поддержать идею создания новой Русской Национальной Армии. Эта идея не нашла отклика у высших чинов Рейха - тогда Гитлеру были не нужны союзники. Лишь год спустя, когда положение на Восточном фронте начало ухудшаться, о Власове и его единомышленниках вспомнили. К сожалению, было уже поздно. Еще целый год прошел в долгих переговорах, встречах, военной и организационной подготовке, пока наконец 14 ноября 1944 года на конгрессе в Праге было официально провозглашено создание Комитета Освобождения Народов России во главе с генералом Власовым. Тогда же началось формирование 1-й дивизии Русской Освободительной Армии - РОА.

Большим энтузиастом власовского движения был капитан из Восточного отдела германского Генерального штаба В. Штрик-Штрикфельдт. Как многие немцы, особенно прибалтийские, этот человек любил Россию и русских. Андреева приводит некоторые интересные факты из его биографии. Вильфрид Штрик-Штрикфельдт родился в Восточной Пруссии, районе Балтики, с незапамятных времен тесно связанном со славянами (об этом говорит и сходство языковых корней). Он провел юность в Петербурге, учился там и был призван в русскую армию, когда началась война 14-го года. Подобно Власову, он воевал против "своих", правда, в штабе, а не на фронте. Но и русские не были для него чужими... После войны он жил в Риге, бывшей тогда столицей независимой Латвии. После пресловутого русско-германского пакта 39-го г. Штрик-Штрикфельдт переехал в Познань, а в 41-м получил приглашение служить при штабе фельдмаршала фон Бока. Встретившись с Власовым уже в 42-м году, Штрик-Штрикфельдт проникся к нему сочувствием и уважением. Они быстро подружились, и, как пишет Андреева, это именно благодаря уговорам своего нового друга Власов согласился стать лидером нового Освободительного движения. Лидером не только духовным, но и политическим. Штрик-Штрикфельдт был убежден, что судьба России неразрывно связана с судьбой Германии, считал, что "восточная политика" вредит именно германским интересам, и надеялся, что она будет коренным образом изменена.

После войны Штрик-Штрикфельдт написал книгу "Между Сталиным и Гитлером", посвященную судьбе власовской армии. К сожалению, в среде Верховного германского командования многие относились к Власо-

ву с опаской, как к потенциальному провокатору Сталина, или же просто недооценивали ту помощь, которую он мог им принести. Даже геббельсовское Министерство пропаганды не использовало идеи Власова в полной мере. Уже в 43-м году, по приказу одного из заместителей Гитлера, фельдмаршала Кейтеля, Власов был возвращен в лагерь для военнопленных - официально для набора своей армии, но на самом деле из-за того, что ему просто не доверяли. Микроб недоверия и подозрительности перелетел из СССР в Третий Рейх... Штрик-Штрикфельдт однажды сказал Власову: "Фюрер все еще окружен слепцами!"

Но таким же слепцом, вернее, не желающим видеть реальность, был и сам Гитлер. Возможно, отчасти им был и Власов, человек весьма наивный в политике, как пишет Андреева, несмотря на его ум и практицизм. Но что же такое политика, если не трезвый взгляд на вещи? Гитлер отвергал практическую пользу ради утопии, хотя считал такой же утопией создание Русской Освободительной Армии. Власов считал это единственной возможностью спасти Россию от гнета большевиков. Однако свободная Россия не входила в планы Гитлера.

В июле 43-го генерал-майор Малышкин, сподвижник Власова, отправился в Париж, чтобы заручиться поддержкой старой русской эмиграции, тогда еще довольно многочисленной. Но эта эмиграция ненавидела Ленина гораздо больше, чем Сталина... Между тем сам Власов находился на оккупированной немцами советской территории. Он выступал перед населением с речами, пропагандирующими РОА и Освободительное Движение. По словам Андреевой, население встречало Власова восторженно везде, где бы он ни появлялся. Под Лугой толпа народа смяла полицейский кордон и устроила Власову овацию. Русские люди надеялись, что армия Власова освободит их и от большевиков, и от немцев. Вера в немцев как в освободителей уже угасла. Власов понимал, что Россия никогда не смирится с иноземным владычеством, каким бы оно они было. Но он все еще надеялся, что с помощью Германии Россия может свергнуть сталинизм, как когда-то с помощью России сама Германия свергла владычество Наполеона Бонапарта.

Успех выступлений Власова превзошел все ожидания немецких властей - и даже насторожил их. Немудрено, что когда он был в Смоленске и Могилеве, пришел спешный приказ Министерства пропаганды не транслировать его выступлений по радио. В Берлине побаивались усиления русского патриотизма - и не без оснований. Гитлер мыслил одинаково со Сталиным: прежде всего

надо лишить народ возможности иметь лишнюю информацию. Поэтому-то в СССР с первого дня войны было приказано всем сдавать коротковолновые радиоприемники, чтобы не слушать ничего, кроме официальных сводок и сообщений Совинформбюро...

Зажатое между Сталиным и Гитлером, власовское движение было заранее обречено на неудачу. Могло ли оно вообще иметь другой исход? Ведь русским надо было воевать не против Сталина и его банды, а против своих, таких же обыкновенных людей, одетых в красноармейскую форму и зачастую подталкиваемых в спину дулами заградотрядов. Советская пропаганда изображала всех власовцев как предателей и отщепенцев - но разве сами они порой не чувствовали себя такими? Это безвыходное противоречие заставляло многих "перемещенных лиц", оказавшихся после войны за границей, добровольно возвращаться, предпочитая лагеря и ссылку жизни на чужбине.

Власов сам был русским и он не мог не понимать этого. По мнению Андреевой, он мало верил в конечный успех своего дела - при всем своем оптимизме. Но бросить это дело он не мог, иначе он стал бы дважды предателем для поверивших ему людей.

Руководители Русского Освободительного Движения, созданного Власовым, сознавали себя наследниками тех героев русской истории, начиная с Минина и Пожарского (возможно, еще с Дмитрия Донского), что поднимали свой народ на борьбу с иноземным игом. Власов, подчеркивает Андреева, не соглашался с теми, кто включал сюда полководцев Белой армии. В этом вся суть. При советской системе русские люди должны были освободиться не от немцев или поляков, а прежде всего от системы, то есть от самих себя... А что может быть труднее этого?

Решающая встреча Власова с рейхсфюрером СС Гиммлером (с ведома и одобрения самого Гитлера, как замечает Андреева) состоялась 16 сентября 1944 года. Власов был единственным русским на совещании у Гиммлера. По отзывам свидетелей, он вел себя с достоинством и без всякого страха или робости при беседе с всемогущим рейхсфюрером, главой тайной полиции Германии. Война вступала в свою завершающую фазу, и Власов выдвинул предложения, которые, как он считал, могли спасти Германию, а с нею и Россию от торжества сталинского режима. Он говорил с энергией и со знанием дела. Мало кого уважавший Гиммлер остался под впечатлением сильной личности русского генерала. Возможно, что он не до конца доверял ему, но согла-

сился с его предложениями, хотя бы потому, что не видел другого выхода. В ходе беседы Власов неодобрительно отозвался о нацистской трактовке славян как "унтерменшей", которая принесла больше вреда, чем пользы. Рейхсфюрер ответил, что каждая раса имеет своих "недочеловеков"...

С согласия Гиммлера был создан Комитет Освобождения Народов России во главе с Власовым, и Русская Освободительная Армия как вооруженные силы Комитета. Германское правительство обязывалось помочь формированию РОА всем необходимым. До лета 45-го было намечено создать десяток боеспособных дивизий из бывших русских военнопленных и "остарбайтеров". По соглашению от 18 января 45-го года Германия брала на себя финансовую сторону вопроса, рассматривая РОА как официального союзника.

Вслед за тем в Пражском манифесте, выпущенном осенью 44-го, Власов и его соратники обратились ко всем русским людям с декларацией целей своего движения. Это был своего рода призыв к объединенной борьбе против коммунизма, реально угрожающего Западу. Е. Андреева подробно рассматривает манифест в разделе своей книги, названном "Идеалы". Его можно было бы назвать также "Идеализм", ибо шансов на успех у Власова к тому времени уже не было почти никаких. Если бы он выступил со своим манифестом два года назад, сразу же поддержанный немцами, - он бы безусловно победил. Но упущенное время - самая непоправимая оплошность в политике. Теперь Сталин был победителем - его армии стояли у ворот Европы - а победителям прощается все. Народ опять поверил в Сталина и потерял веру в немцев.

В. Штрик-Штрикфельдт вспоминает, что незадолго до конца войны Власов сказал ему: "Джордж Вашингтон и Бенъямин Франклин были предателями в глазах Британской империи. Но они победили в борьбе за свободу. Америка и весь мир чествуют их как героев. Я проиграл, и меня будут звать предателем, пока в России свобода не восторжествует над советским патриотизмом... Но когда-нибудь американцы, англичане, французы, может быть, и немцы будут горько жалеть, что из неверно понятых собственных интересов и равнодушия они задушили надежды русских людей, их стремление к свободе и к общечеловеческим ценностям". Пророческие слова!

Власов и его сообщники остались для массы "изменниками" не только потому, что их неустанно чернила советская пропаганда (как и всех других, неугодных

режиму лиц). Но имя Власова было неразрывно связано с немцами, а Россия слишком тяжело страдала от немецкой оккупации и слишком дорого заплатила за свою победу. Кто был более виноват в этих жертвах - Сталин или Гитлер - об этом мало кто задумывался. Конечно, и власовская армия, как и любая другая, была неоднородна по своему составу. Были там не одни лишь идейные враги большевизма, попадались и просто дезертиры, и уголовные элементы, и вообще "нейтральные" люди, хотевшие лишь выжить в плену.

Есть немало противоречий и в Манифесте Власова, говорящем о расстановке сил на политической арене и о будущем России (А. Андреева отмечает, в частности, явную антианглийскую направленность его, как следствие идей нацизма). Но если Власов действительно считал исконными врагами России не немцев, а англичан, - в этом его беда, а не вина. К тому же... разве не английское военное командование вместе с американцами выдало Сталину всех военнопленных и перемещенных лиц, включая сюда и десятки тысяч казаков, воевавших против СССР? Почти все они были расстреляны на родине или погибли на островах ГУЛАГа. Это позорнейшая страница в истории западной демократии - равно как выдача "союзникам" самого Власова и генерала Краснова, погибших мучительной смертью.

...Первая и вторая дивизии РОА были окончательно сформированы лишь в январе 45-го, и волею судьбы им пришлось защищать не Россию, а Германию. Весной, когда советские войска уже вышли на Одер, 1-я дивизия под командованием ген.-майора Буняченко получила приказ ускоренным маршем идти на гор. Либерозе и выбить красных с занятых ими позиций. Дивизия Буняченко двинулась к Одери и 13 апреля двумя полками пошла в наступление. Это было последнее наступление немецкой (а вернее, частей б. власовской) армии на Восточном фронте. Оно не увенчалось успехом, - да и не могло, - но сковало на несколько дней превосходящие силы противника. После отхода под ураганным огнем генерал Буняченко, нарушая приказ немецкого командования, повел свою дивизию на юг, к Богемскому лесу, где предполагал встретиться с Власовым. Там же находилась делегация чехов, возглавляемая генералом Кульвачером, которая планировала Пражское восстание и просила помощи. 7 мая силами власовской армии Прага была полностью освобождена от немцев, но эту победу, по иронии судьбы, историки приписали Сталину... Поистине, будто злой рок тяготел над Власовым и его соратниками. На переговорах с американцами он

отказался от безоговорочной капитуляции своей армии, понимая, что это значит - советский плен. Отказался Власов и от предложения лететь в зону Германии, уже занятую американскими войсками. Что бы ни грозило ему, он хотел разделить участь своих солдат до конца, даже погибнув под гусеницами советских танков. Но судьба готовила ему худшую участь - 12 мая колонна, где под конвоем американцев ехал пленный генерал Власов, была остановлена советскими войсками, которые увезли Власова и его ближайших сотрудников на восток... (Напомним, что почти так же и в то же самое время в Венгрии был арестован военной разведкой Рауль Валленберг.

По слухам, Власов отказался просить помилования у кремлевского тирана и был повешен на рояльной струне. Впрочем, о казни сохранилось мало достоверных сведений. Говорят, что Власова, как и Валленберга, кто-то видел живым в одной из тюрем уже лет через 20 после окончания войны. Этому трудно поверить, но с другой стороны, в России возможно все, даже самое невозможное. Кто знает - не отразилось ли в этой легенде, рассказанной полупешепотом, хотя бы такое, тайное признание героизма того, кто посмел бросить вызов Сталину.

Ибо, по словам Солженицына, ничего не стоил бы наш народ, если б он упустил возможность хотя бы погрозить винтовкой "отцу родному".

*В. Голицын*

## Пушкин и гравюры Ильи Шенкера

Сравнительно недавно вышел из печати альбом "Пушкин в гравюрах Ильи Шенкера"\* Альбом подготовлен к печати раньше пушкинской годовщины 1987 года, однако, по независящим от художника обстоятельствам, выход альбома задержался, что нередко случается с русскими зарубежными изданиями.

В кратком предисловии к альбому профессор Иллинойского университета Морис Фридберг пишет: "Альбом

---

\* "Итак, я жил тогда в Одессе...". Пушкин в гравюрах Ильи Шенкера. Изд. Ольвия, Нью-Йорк, 1988.



гравюр, посвященных Пушкину и родному городу самого художника, - это впечатляющее свидетельство верности литературной и художественной традициям, которые он привез с собой в Америку примерно десять лет назад. Пушкинская серия гравюр - это полная любви дань поэту, который занимает в русской культуре, в русском языке и литературе такое же место, как Шекспир - в культуре английской.

Другие отзывы об альбоме - благоприятны для Шенкера, хотя некоторые из них - дискуссионные.

Советские искусствоведы находят в гравюрах Ильи Шенкера воздействие иллюстратора "Евгения Онегина" Кузькина. Западные же специалисты полагают, что Илья Шенкер идет по стопам Жана Кокто, который был не только поэтом и драматургом, но еще и талантливым, своеобразным графиком. Некоторое сходство гравюр Шенкера с рисунками Кузькина и Кокто, на первый взгляд - неоспоримо, но только на первый взгляд, ибо сходство объясняется общностью истока, а таким истоком оказались рисунки самого Пушкина на полях его бессмертных творений, а также на полях его статей и писем.

Илья Шенкер подолгу и с любовью изучал рисунки самого Пушкина, но в то же время для него не прошел бесследно опыт Мстислава Добужинского и Александра Бенуа - как иллюстраторов Пушкина. Но Шенкер не подражает им, а скорее преобразует перенятое. Художник также был вдохновляем строками "Евгения Онегина", посвященными Одессе, и поэтическими произведениями, созданными на юге, такими, как поэма "Цыгане" и стихотворения "К морю", "Вчера я отворил темницу воздушной пленницы моей", "Ночь", "Виноград", "Чиновник и поэт", "Нереида" и другими. Так поэзия Пушкина облагородила и возвысила графику Шенкера. Художник долго жил в Одессе и проникся романтикой этого шумного приморского города.

Гравюры, посвященные Одессе в период пребывания в ней Пушкина, пронизаны то веселой живостью, то лирической грустью. Известный пушкинист Борис Викторovich Томашевский говорил, что Пушкин часто изображает природу в движении, наблюдая ее то с конского седла, то из окон кареты, то с борта парусного судна. Эту особенность творчества Пушкина Шенкер сделал постоянным своей графики.

Эпиграфом к своему альбому Илья Шенкер мог бы сделать такие строки Эдурда Багрицкого:



Горячий месяц тлеет на востоке  
над горечью деревьев, трав и скал.  
Здесь он стоял, здесь реял плащ широкий,  
здесь Байрона он нараспев читал.  
Здесь в сизом голубином опереньи  
тоска и море стлались перед ним.  
Тайком-тайком приходит вдохновенье,  
проникнет в сердце и уйдет как дым.  
Тайком-тайком приходит вдохновенье,  
проникнет в сердце и в глазах сверкнет.  
Волна и ночь в размеренном движеньи  
слагают ямб, и этот ямб поет.  
И мне, прохожему, доныне любви  
студеных волн ямбический поход  
и негритянские большие губы  
и скулы, выдвинутые вперед.

Пленительный ритм, живость, лиризм, мысль Пушкина с большим тактом и чуткостью воспроизведены Ильей Шенкером. Читатель, становясь зрителем, видит в Пушкине-человеке Пушкина-поэта.

Альбом "Пушкин в гравюрах Ильи Шенкера" был составлен литературоведами и искусствоведами Серафимой Блох и Владимиром Ройтманом. Они включили в альбом отрывки из воспоминаний о Пушкине и самого Пушкина, а также отрывок из статьи Эдуарда Багрицкого "Пушкин в Одессе". Багрицкий эпиграфом к своей статье взял такие слова современника Пушкина поэта Туманского: "Любезный Пушкин, твое описание Одессы - грамота на бессмертие нашего города". Приведу начало статьи Багрицкого, так как она сильно помогла Шенкеру в его замыслах:

"Еще во время почти трехлетнего пребывания в Кишиневе Пушкин, пользуясь снисходительностью своего начальника Инзова, иногда бывал в Одессе, и этот «уголок Европы», бойкий и пестрый, наряду с азиатчиной бессарабской жизни внушал поэтому симпатию и надежду, надолго переехав в город, облегчить свое изгнание. И, наконец, когда с помощью А. И. Тургенева Пушкин поселился в Одессе, он, благодаря Тургеневу за участие, писал ему, что только сейчас, слушая шум прибоя и блуждая в тихом свете фонарей и звезд, чувствует себя много лучше. «Надобно мне провести три года в душном азиатском заточении, - писал Пушкин, - чтобы почувствовать цену и невольного европейского города». Почти в то же время в письме к Л. С. Пушкину (25 августа 1823 года) поэт говорил: «...оставил мою Молдавию и явился в Европу.

Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и, ей Богу, обновили мне душу... Теперь я опять в Одессе и все еще не могу привыкнуть к европейскому образу жизни: впрочем, я нигде не бываю - кроме в театре»...

Обычно биографические справки принято приводить в начале рецензии - в самом альбоме такая справка дана в конце.

Илья Шенкер родился в 1920 году. Окончил архитектурный факультет Одесского строительного института, где одновременно с учебой занимался в одесском художественном училище, в студии известного живописца и педагога профессора Фраермана. Живописные и графические работы Шенкера неоднократно появлялись на всесоюзных и республиканских выставках.

Над серией линогравюр, как пишут составители альбома, художник работал с 1965 по 1987 гг. Часть этих работ была приобретена музеями Пушкина в Москве и Ленинграде. Линогравюра "В театре" помещена в монографии Е. В. Павловой "Пушкин в портретах". Павлова называет линогравюры И. Шенкера "яркими и темпераментными".

Отметим также, что отрывки из стихотворений Пушкина, имеющие прямое отношение к шенкерским гравюрам, даны в этом альбоме и по-русски, и в переводе на английский, выполненном поэтом и ученым Уолтером Арндтом. В конце альбома помещены также послесловие профессора Фридберга, биографическая справка об Илье Шенкере и отрывки из воспоминаний Пушкина и о Пушкине.

Вот что пишет проф. Фридберг, выдающийся американский славист, об Арндте и его переводах:

"Крупный американский переводчик Уолтер Арндт опубликовал несколько томов с английскими переводами пушкинских стихов, в том числе и поэтический перевод «Евгения Онегина», в котором, кстати сказать, сохранена сложная строфика оригинала. Полная противоположность работе Арндта - перевод «Евгения Онегина», сделанный Владимиром Набоковым. Выполненный в традиции дословного перевода, перевод Набокова принципиально жертвует рифмой и современным словоупотреблением ради того, чтобы точнее выразить на другом языке содержание пушкинского романа в стихах. Poleмика между Набоковым и Арндтом, рагоревшаяся лет двадцать назад, стала литературной сенсацией, в которую были вовлечены и некоторые невинные свидетели, в том числе ныне покойный Эдмунд Уилсон - старейшина американской литературной критики - и даже автор

этих строк, - тогда молодой университетский преподаватель".

Здесь профессор Фридберг несколько смягчает, ибо полемика между Фридбергом и Набоковым была довольно бурной, и тот и другой не скупились на резкости. Так, Фридберг назвал многотомный перевод Набокова "развернутой длинной шпаргалкой". Выведенный из себя Набоков сказал про Фридберга, что это - "болван, которому слон на ухо наступил". Я не беру на себя смелость утверждать, на чьей стороне правда после обмена обоюдострыми "комплиментами" такого рода. Скажу только, что я был свидетелем разговора по поводу этой полемики между писателем и критиком Романом Гулем и переводчиком с русского на английский американским писателем Гаем Даниелем. Гуль горой стоял за Фридберга, а Даниель - за Набокова, хотя последний и не был к нему расположен.

Гуль атаковал снобистское высокомерие Набокова, Даниель же, на мой взгляд, был ближе к самой сути дела. Он сказал, что поэту и переводчику так же необходим абсолютный слух в поэзии, как и музыканту. У Владимира Набокова, по словам Даниеля, абсолютный слух в поэзии. Арндт - крайне добросовестный переводчик, но абсолютного слуха у него - нет, как нет его и у Мориса Фридберга. Ритмику "Евгения Онегина" Владимир Набоков, по мнению Даниеля, чувствует острее и глубже Арндта, несмотря на то, что Набоков в своем переводе отказался от рифмы. Ритм арндтовского перевода при сопоставлении с пушкинским оригиналом несколько тускловат, не такой экспрессивный и выразительный. Арндт переводил Пушкина, но Пушкин у него звучит примерно так же, как Туманский или Кукольник.

Повторяю, я не беру на себя смелость судить, кто прав в этой полемике, но я полностью согласен с теми, кто находит, что этот альбом сильно выиграл бы, если бы одни и те же отрывки из пушкинских творений были даны в двух параллельных переводах - Набокова и Арндта. И пусть бы читатель и зритель сам выносил суждение, чей перевод лучше. Тем более, что не знающие русского языка художники и искусствоведы находят, что линогравюры Шенкера ближе к переводу Набокова, чем к переводу Арндта. Как же они могут так говорить, не зная русского? Очевидно, пушкинский дух, дух оригинала глубже уловлен Набоковым в его переводах, чем Арндтом.

Восстанавливая в памяти беседу русского критика и американского переводчика, я вспомнил, что Гай Да-

ниель сослался на такие слова Ингмара Бергмана: "... ритм - всегда самое главное... и поэтому творческая работа должна быть построена на этом факте. Мы должны постоянно прислушиваться, двигаться к специфическому ритму, к неповторимому ритму оригинала. А это довольно трудно; когда так много работы с переводными текстами... часто случается, что переводчики не улавливают ритмов оригинала". Конкретно И. Бергман имел в виду ритм драматических произведений и киносценариев, но обобщенно эти слова можно применить и к ритму поэтических произведений, как это сделал Гай Даниель.

Илье Шенкеру удался перевод другого типа - на язык изобразительного искусства. В его графике уловлен удивительный и неповторимый ритм пушкинского стиха. Альбом "Пушкин в линогравюрах Ильи Шенкера" - это ценнейший подарок всем, кому дороги русская литература и русское искусство.

*Вячеслав Завалишин*



## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**Б о р о д и н** Леонид Иванович род. 14 апреля 1938 г. в Иркутске в семье учителей. После школы поступил в Иркутский университет, был исключен за участие в студенческом кружке "Свободное слово", также исключен и из комсомола. В 1962 году окончил исторический факультет педагогического института. Работал над диссертацией "Философские взгляды Бердяева". По окончании института был директором средней школы в Серебрянске Ленинградской области.

В 1964 г. создал "Демократическую партию", а в 1965 г. вступил в ряды ВСХСОН - Всероссийского Социал-Христианского Союза Освобождения Народа. Создателем и руководителем этой организации был Игорь Огурцов, проведенный за это в лагерях и ссылках 20 лет.

В 1967 г. ВСХСОН был разгромлен КГБ. Л. Бородин был арестован вместе с другими членами организации. В Мордовских лагерях Л. Бородин принимал участие в борьбе политзаключенных за свои права.

Освободившись в 1973 г., начал сотрудничать в самиздатском журнале "Вече", который до 1974 г. выходил под редакцией В. Осипова. После разрома журнала органами КГБ Бородин начинает издавать самиздатский "Московский сборник", который призван был отражать национально-религиозные проблемы. Ему удалось выпустить три номера этого журнала. В "Гранях" были опубликованы несколько статей из вышедших номеров.

Еще в заключении Л. Бородин начинает писать стихи. Впервые они появляются на Западе в журнале "Грани" (№ 105). Также в "Гранях" (№ 96) опубликованы его публицистическая статья - "О русской интеллигенции", повести "Третья правда" (№ 119) и "Гологор" (№ 124). Эти повести и повесть "Год чуда и печали", а также сборник рассказов "Повесть странного времени" (1978) вышли отдельными книгами в изд. "Посев" и переведены на иностранные языки.

13 мая 1982 г. Л. Бородин был арестован вторично по ст. 70, ч. II. 19 мая 1983 г. Московский городской суд приговорил его к 10 годам лагерей строгого режима и пяти годам ссылки. Уже после его ареста в "Гранях" были напечатаны роман "Расставание" (№№ 131 и 132) и повесть "Правила игры" (№ 140).

В 1987 году в небольшом потоке политзаключенных был выпущен из лагеря по "горбачевской амнистии".

Леонид Бородин - член международного ПЕН-Клуба, лауреат "Премии Свободы" французского ПЕН-клуба за 1983 г. и многих других международных литературных премий.

В последние годы началось возвращение творчества Леонида Бородина русскому читателю.

**В л а д и м и р о в а** Лия (Юлия Владимировна Дубровкина-Хромченко) род. в 1938 году в Москве. Окончила сценарный факультет ВГИКа. Из СССР выехала в 1973 г.

Печаталась в "Гранях", "Континенте", "Время и мы", "22", "Новом журнале", "Новом Русском Слове", "Русской мысли" и других периодических изданиях русского Зарубежья.

В Израиле вышли четыре книги стихов Лии Владимировой, книга прозы и книга переводов ее стихов на иврит. Также известны ее переводы с иврита на русский.

**Г е л ь ф е р и х** Карл (Helfferich Karl. 1872-1924), известный немецкий экономист, государственный деятель и дипломат. Еще задолго до Первой мировой войны он приобрел репутацию крупного экономиста-теоретика. Его труд о деньгах "Das Geld" (1903) часто упоминается с эпитетом "классический". Одновременно он был большим финансистом-практиком. С 1906 года Гельферих один из директоров Анатолийской железной дороги, с 1908 года - директор Немецкого банка. Во время Первой мировой войны - с февраля 1915 года стал одним из влиятельнейших членов правительства - сначала как статс-секретарь в министерстве финансов, затем - как статс-секретарь внутренних дел и вице-канцлер - до ноября 1917 года, когда Гельферих ушел после образования нового правительства во главе с Гертлингом. После этого он руководил еще работами по



подготовке будущих мирных переговоров, а затем закончил свою активную "военную" деятельность летом 1918 года кратковременным пребыванием в роли дипломатического представителя Германии при правительстве РСФСР.

К. Гельферих погиб в железнодорожной катастрофе в апреле 1924 года.

**З а п е ц к и й** Владимир, журналист, живущий в СССР. Небольшие отрывки из публикуемого в этом номере "Граней" очерка "Колпашевский яр" появились в нескольких советских газетах. Здесь очерк публикуется полностью.

**К у б л а н о в с к и й** Юрий Михайлович род. в 1947 году. Окончил искусствоведческое отделение Московского университета. В октябре 1982 года под давлением угрожавшего ему КГБ был вынужден эмигрировать. Автор трех поэтических сборников: "Избранное" (сост. И. Бродский, Ардис, 1981); "С последним солнцем" (La Press Libre, 1983); "Оттиск" (УМСА-Press, 1985). Автор очерков, эссе, критических статей и рецензий, регулярно публикующихся в периодике русского Зарубежья.



**Главный редактор  
Е. А. Брейтбарт-Самсонова**

---

Адрес редакции журнала «Грани»:  
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,  
D 6230 Frankfurt a. M. 80  
Тел. (069) 34 46 71

*Непринятые рукописи не возвращаются.*

---

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

## ЖУРНАЛ "ПОСЕВ"

"Посев" - общественно-политический журнал, выходит за рубежом с 1945 года.

"Посев" участвует во внутрисоссийской политической борьбе за право, свободу и справедливость. Эта задача определяет направленность журнала, который:

поддерживает российское освободительное движение во всех его проявлениях;

стоит на позициях национально-государственных интересов России;

участвует в обсуждении современных и будущих проблем российского государства (политических, экономических, социальных, идеологических, духовных);

стремится к выявлению в России конструктивных сил, осознающих необходимость оздоровительных перемен во всех областях жизни страны и готовых к активному участию в их проведении.

С 1976 года журнал "Посев" выходил также в виде ежеквартального издания, предназначенного специально для переправки в страну и распространения среди советских граждан за рубежом. С 1990 года сливаются два издания - ежемесячный "Посев" и его квартальное издание. "Посев" в новой форме будет выходить каждый второй месяц на 160 страницах.

# Г Р А Н И

## ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Журнал выходит 4 раза в год.  
320 страниц в номере.

Цена отдельного номера:	17,50 нм
Годовая подписка: в издательстве	60 нм
через магазины	70 нм
в СССР	30 руб.
организации:	35 руб.

Московский адрес для подписок:  
105137 МОСКВА  
Измайловский б-р., дом 31/14, кв. 16  
В. Батшев  
тел.: 465-05-05

Расходы по пересылке за счет подписчика

## ПОСЕВ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

(6 выпусков в год)

В розничной продаже:	10 нм
Годовая подписка:	50 нм
В Москве:	3 руб.

Подписную плату следует посылать:  
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG  
D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15